ПЕТР ЕРЕМЕЕВ

ЯРЕМ ГОСПОДЕНЬ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Тема, выбранная писателем, — первые годы существования почитаемого и в наши дни богохранимого центра православия Саровской пустыни. Повествование «Ярем Господень» — это и трудная судьба основателя обители иеросхимонаха Иоанна, что родился в селе Красном Арзамасского уезда. Книга, написана прекрасным русским языком, на какой теперь не очень-то щедра наша словесность. Кроме тщательно выписанной и раскрытой личности подвижника церкви, перед читателем проходят императорствующие персоны, деятели в истории православия и раскола, отечественной истории, известные лица арзамасского прошлого конца XVII — первой половины XVIII века. Книга несет в себе энергию добра, издание ее праведно и честно послужит великому делу духовного возрождения Отечества..

- Пётр Еремеев
  - Слово о книге
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвёртая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
  - Библиография
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55

- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82

Пётр Еремеев
Ярем Господень

Слово о книге

Давно знаком с творчеством талантливого прозаика из Арзамаса Петра Еремеева.

Тема, выбранная писателем, — первые годы существования почитаемого и в наши дни богохранимого центра православия Саровской пустыни — заслуживает самой сердечной поддержки.

Повествование «Ярем Господень» — это и трудная судьба основателя обители иеросхимонаха Иоанна, что родился в селе Красном Арзамасского уезда. Книга, написанная прекрасным русским языком, на какой теперь не очень-то щедра наша словесность, найдет, не сомневаюсь, благодарного читателя. Кроме тщательно выписанной и раскрытой личности подвижника церкви, перед читателем проходят императорствующие персоны, деятели в истории православия и раскола, отечественной истории, известные лица арзамасского прошлого конца XVII — первой половины XVIII века.

Книга несет в себе энергию добра, издание ее праведно и честно послужит великому делу духовного возрождения Отечества.

Ю. Адрианов, председатель Нижегородского фонда культуры.

***

Праведник во веки Живет

Иеросхимонах Иоанн,
первоначальнник и основатель Саровской пустыни.

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА БАЛАХНИНСКОГО,
ВИКАРИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ ИЕРОФЕЯ

Глава первая

1.

Иваша ждал Улиньку. Ждал, чтобы заглянуть в густую синеву её глаз, своими глазами ещё раз спросить о главном, о носимом в себе.

Катенька — сестрица младшая, припала к проталинке в обледеневшем кутнем окошке и в ладошки захлопала, весело закричала:

— Иду-у-ут!

Жёстко заскрипели стылые железные петли калитки, дробно застучали в сенях мёрзлые сапоги, распахнулась низкая дверь в избу, и с высокими завертями резвого морозного воздуха ввалились девки в крытых и нагольных шубейках, в ярких платках набойчатых.

Встали полукружьем, коротко помешкали, пошептались. Заводила — та, что вперед выступила, зачастила высоким, чуть простуженным голосом:

— Дозволь, молодой боярин, коляду пропеть, таусень покликать.

Иваша русой головой тряхнул, руками в поклоне развёл.

— Радуйте!

Девки дружно, весело запели:

Летала же пава по синему морю
— Таусень!
Не летай ты, сокол, высоко
— Таусень!
Не маши крылами далеко
— Таусень!
Много бояров во Москве
— Таусень!
Нет боле крестьян по Русе
— Таусень!
Нет такова молодца
— Таусень!
Как Ивана Федоровича
— Таусень!
Он на добром коне поезживает

— Таусень!
На высокий терем поглядывает
— Таусень!
На высоком тереме
— Таусень!
Сидит девица-душа
— Таусень!
И бела, и румяна, хороша
— Таусень!
Добру молодцу суженая
— Таусень![1]

Кончили девки петь, низко кланялись с выбросом рук, кликать начали:

— Сытости дому!

— Дождя на поле!

— Лад в семье!

— Коровок во двор!

— Будь в работе спор!

… Летели из лёгкой берестяной кошёлки на Ивашу, на скоблёный пол частые золотые брызги овса.

Колядницы смеялись, а Иваша с поклоном раздавал им лесные орешки и загодя купленные в Арзамасе медовые пряники. Особо качнулся перед Улинькой, поймал взгляд её горячих любящих глаз и возрадовался: вот и ответ жданный!

В этой своей радости почти не углядел, как девки с весёлым гомоном опять напустили в избу ядрёного зимнего морозца, как хлопнули тяжёлой замокшей дверью.

Часом или двумя позже приехал из-за Тёши-речки родитель, позвал отмётывать сено.

Троерогими деревянными вилами ворочал один Иваша — отец сидел на деревянном чураке, искоса поглядывал на сына, выросло чадо, во всём наметился статный парнина.

Иваша собрал остатки сена с саней, поставил в конюшне вилы, и тут Фёдор Степанович поманил его.

— Ходи сюда, садись.

Сын, отряхивая с шапки и плеч короткого рыжего чапана сенную труху, присел на край питьевой колоды для скота, смущенно зарделся лицом: знал, догадывался — станет увещевать родитель. Сходил он в дом, а там уж Катенька, эта сорока-белобока, скоро настрекотала о приходе колядниц.

Родитель оминал свою заиндевелую светлую бороду, нарочито хмурился. Начал выговаривать:

— Али тебе не ведом царёв указ?! На моих памятях Алексей Михайлович строго-настрого осудил кликать колядниц и усень, запрет наложил на скоморошество, игрища непотребные, дал в городы и уезды наказ крепкий, чтоб впредь никакова бесчинства, что супротивно христианскому закону. За все эти неистовства быть от царей в великой опале и наказании…

Никакой особой строгости в голосе отца Иваша не слышал и потому отговаривался едва ли не со смешком.

— Не успел упредить девок, за книгой сидел…

— Ульяна их привела — догадываюсь, — теплел глазами Фёдор Степанович. — Добра девка поднимается, слышно, и благонравна. Такую бы залучить в дом — ле-естно!

Иваша открыто заулыбался, хотел своё сказать, но родитель осадил, покрепчал в голосе:

— Ты, паря, возьми всё же в толк, не будь простоумком. А как на мою старую голову падёт та опала, как донесут в Арзамас соборному протопопу. И чево после ждати мне, церковному чтецу, [2] за ослушание твоё? Скажут: не отвращал отрока, попустил бесовскому…

— Да у нас в Красном вроде изветчиков нет, — пытался оправдаться Иваша. — А и сбегает в Арзамас какой подслушник — дядюшка нам крепкой заступой!

— Эт-то ладно, что Михаил у нас священствует, что в согласии он с протопопом и с игуменом Спасского. Всё ж в последний раз упреждаю. А то не посмотрю… косицу надеру!

… Из двора Поповых, от конюшни, хорошо виделась лёгкая шатровая церковь Рождества Христова. На тёмном от летних загаров срубе её вспыхивали сейчас белые крылья голубей, неподалёку в белейшей пышности высокого сугроба стояла в тихой зимней дрёме старая ветла, густо облитая сверкающим серебром инея. Блестели на солнце чистые снега и на низких крышах мужицких изб, кое-где из снежных шапок дразняще проглядывало литое золото обдутой ветром соломы.

— Пошли, пощипыват! — Фёдор Степанович потёр ладонями покрасневший нос, стряхнул с усов и бороды намерзшие сосульки и встал.

— Матушка пирогов морковных напекла, — поддразнил родителя Иваша.

— Пироги — дороги-и! — едва не пропел старший Попов и пошагал к крыльцу.

А Иваша ещё малость постоял у прясла, радуясь этому яркому деньку, радуясь тому, что так славно у него на душе: Улинька-то всё, всё глазами ему сказала. Ах, ластовица милая!

2.

В жданный канун Ивана Купали забегали красносельские девки из калитки в калитку, из ворот в ворота, зашептались, зашушукались — начался сговор, как завтра ладить, в лугах гуляти.

Земля слухом полнится: сказывали преж, что в иных-то местах купальская ночь, а падает она на самую летнюю теплынь растворную, зело шумна, греховна даже. А по обычаю села Красного «купальни» начинаются едва ли не с первого воскресения после Пасхи, как ведро стоит, и продолжаются до остужения речной воды.

Больше-то в светлые летние ночи молодые пели песни за селом у Тёши. До утра какие-то отрешённые ходили — одни большим, другие малым уличным сбором и без устали тянули протяжные проголосные песни. Засидевшиеся допоздна старики на прикалиточных лавочках, бывало, седыми головами качали: это сколько же песен звенит, живёт в народе русском, ведь вот до восхода солнца девьи голоса. Вот тебе и неволя барская, разные там крепости и утеснения. Не-ет, душу-то божью не утеснишь!

Чем дорожило красносельское девьё, что соблюдали со времен дедичей в благодатное летошно время, которое два-то раза в году не цветет… Семик после Пасхи на седьмой неделе, в четверг перед Троицей. В этот день девки судьбу свою пытали: венки плели, вети на берёзах заламывали и загадывали — если к воскресенью, к Троице, завянет та ветка заломанная, замуж в этом году выйдешь…

В Троицын день надевали лучшие сарафаны, а у иных они пошиты из дорогой китайки, тафты, лудани и камки, сходились на лугу, тут составлялся общий хоровод, и пели девки с припевом «ио, ио», а к этому ещё и добавляли «пок, пок, моё сердечко». Расходились по домам опять же на свету.

Где девки, там и парни. В эту «страшную» купальскую ночь, в эту древнюю встречу лета, разжигали они близ Тёши жаркие костры и с дикими глазами прыгали через огонь, а возвращались в село со свистом самодельных липовых дудок.

… Был тайный сговор, где-то среди ночи Улинька крадучись поотстала от подруг-песельниц, да и прибежала к Тёше, к старой раскидистой ветле, что тихо подрёмывала над тёмной парной водой. Тут, на самом бережке, на сухом мелком прутовье, на траве сушёной, где Иваша частенько рыбу удил, они и присели: Улинька, уставшая от долгой ходьбы с девками, а Иваша от тягостного ожидания.

Уже ночь в своей таинственной, завораживающей сутеми на

исходе, уже затеплилось малость на востоке, а они, прильнув друг к другу, почти молча сидели, счастливые, близкие душами, согласные в редких словах. А зачем оно, многословье! Кто истинно любит, тот не бренчит о любви.

Без умолку кричали в приречных лугах — там, за Тёшей, перепела и коростели, а ближе выгонная луговина затягивалась лёгким туманцем и устилалась душевными песнями: песни то взлетали вверх, то стихали, опадали в росные травы, чтобы взорваться смехом, девичьим разноголосьем и весёлыми криками парней, растерявших к утру обычную степенность.

… Он распустил её косу — волна светлых волос рассыпалась и ровно успокоилась на белизне её расшитой рубахи с широкими рукавами.

— Вот так, согрева моя сердечная…

Девушка недоуменно взглянула, а когда Иваша подал ей красивую ярославскую ленту, она вся вспыхнула, благодарная, опять прильнула к его широкому плечу.

— Обавник,[3] сладимый мой…

— Ладушка, сватов пришлю, свадьба чтоб на Казанскую.

— Ждать буду тово денёчка, любый мой…

Её глаза опять вспыхнули открытым счастьем.

А не знали, не ведали в занимавшееся, мягкое светом утро Иваша с Улинькой, что эта купальская ночь после на всю жизнь останется для них особой радостью и печалью. Где-то в августовскую пору, нежданно-негаданно, по слову барина, затребован был кузнец Олекся Железнов всем домом в подмосковную усадьбу, где и определили его к тому же ковальному ремеслу. Приказано было ехать немешкотно.

Увезли Улиньку, отняли у Иваши ластовицу весёлую.

Не выпало и попрощаться, может, зарок дать. Красносельские мужики накануне снарядили обоз с кошмовальным товаром на Макарьевскую ярмонку и уже не в первый раз тот товар доверили грамотному, бывалому причетнику сельской церкви Фёдору Попову. Он принимал от нижегородского скупщика расчёт, а по приезде, глядя в записи, кто сколько отправлял кошем — рассчитывался с шабрами.

Надо же, напросился Иваша с родителем. Давно наслушался от него о Макарьевском монастыре, о самой ярмонке, о Новеграде, древнем кремле каменном, об Оке с Волгою, что сошлись у Дятловых гор, и упросил отца взять с собой.

Съездили ладно, а вернулись в село — молча подала мать расшитое полотенце и заплакала.

— Как Ульянушка вот тут, на лавке, убивалась, как слезами, горюша, уливалась… Сидим, обе ревьмя ревём. Это она тебе

утиральник к свадьбе приготовила, расшит-от как…

Ушёл Иваша в сенник едва не со слезой. После, тёплой ночью, объявился у старой приречной ветлы и горько поплакался о потере желанной и самому себе, и всему миру… Занемел с той поры паренёк. Как-то разом осунулся и ходил с нездешними глазами, говорил с родителями мало. Только больше стал усердствовать в домашней и уличной работе, да в сельской церкви.

Всё ждал весточки от Улиньки — год ждал! Дождался. Приехал однажды из подмосковного села барина староста и между прочим объявил Фёдору Степановичу: волею господина выдана Ульяна за барского кучера…

Как-то родитель выравнивал скобелем новое окосево, а Иваша топор точил. Кончив работу, сели на крыльцо. Вытирая рукавом холщовой рубахи пот с лица, отец твёрдо сказал:

— Знать, не суждено тебе. Не кручинься шибко-то, смиряйся… Всякую долю Бог посылает испытанием. Прими это и не стенай: грех! Эх, волюшка, долюшка ты мужицкая!

И тяжко вздохнул Фёдор Степанович.

3.

Поворот лестницы, жёсткий зимний скрип ступеней — легко, окрылённо взбежал наверх. Голуби, что сидели на перилах последнего пролёта, поначалу дружно поворчали, но тут же узнали, успокоенно зауркали, ближний сизарь поморгал оранжевым глазом и вытянул шею: не принёс ли звонарь сухих хлебных крошек, а то плотной крупки…

Голуби, как всегда, шумно взлетели, Иваша перекрестился, взялся за верёвку большого колокола, упёрся левой ногой в шершавую, избитую сапогами половицу и начал раскачивать язык. Тот послушно, всё ближе прикачивался к округлому отвесу колокольной меди и наконец коротко и сильно ударил. И тотчас густым навальным звоном властно распёрло этот верхний застоявшийся холод, паренька обдало ледяной волной, и следом над засинелыми снегами поплыл на все четыре стороны света мягкий вечерний благовест.

Здесь, на колокольне, Иваша всегда чувствовал себя каким-то особенным, вознесенным, свободным от многого земного. И в студеный ли зимний день, в час ли бурного обвального весеннего дождя, а то в томительно тёплый летний час, наконец в ненастное осеннее утро или вечер — всегда его манила высота, эта

необъятная дорога вверх к мыслимой святости…

Кончил звонить, привычно оглядел далёкие, смутные сейчас очертания зимних лесов на северо-востоке, ближе более чётко проступала Высокая гора с плотной щетиной черного липняка, а еще ближе, над извивами заледеневшей Тёши тянули вверх раскидистые сучья старые ветлы. Он повернулся. Направо открылось осевшее в снега село, чёрные строчки огородных прясел. Зыбнуло сердце: на глаза попался чёрный провал створа распахнутой кузни Алексея Железнова. Где ты там под Москвой, дядя Лёша, и как-то живётся-можется на чужбине дочушке твоей Улиньке. Помнит ли она своего первого обавника Ивашу?

Плотный, ровный ветер не унимался, тут, на высоте, поддувал под короткую шубейку, гнал вниз. Иваша постоял ещё, теперь вслушиваясь в непрерывный, тихий погуд мерзлых колоколов.

Медленно, медленно спускался с колокольни: земное, грустное тяготило. Зачем он поднимает в себе прошлое? Ничего же такого и не было между ними, только разок и посидели уединённо в ту купальскую ночь на бережке Тёши. Ну попустил он малость себе тогда в чувствах возле горячего девичьего плечика — только-то! Не казнись, не томи сердца — отринь от себя то, что не сбылось, чему не суждено повториться…

Вечерняя служба в Красносельской церкви кончилась, прихожане расходились по домам.

Ему надо прибрать в церкви. Иваша любил именно этот вот час, когда старая деревянная церковь ещё полна живого человеческого тепла, запаха воска и аромата ладана, когда стены её ещё держат затихающее неясное уже пенье, возгласы священника, да и его чистый голос — голос чтеца. Нынче он опять прислуживал вместо родителя, что-то Фёдор Степанович занедужил.

…Истаивали перед иконами жёлтые медвяные свечи, Иваша собрал в деревянную чашку огарки, и тут вышел из ризницы священник, одетый в простенькую длиннополую шубу и чёрные валяные сапоги — бородатый, с уставшим, задумчивым лицом.

Запахивая шубу, отец Михаил вскинул голову.

— Добре нынче читал и служил — усердствуй и далее. Приходи после — книгу привёз из Арзамаса, у Спасского игумена выпросил.

— Приду, дядюшка! — радостно отозвался Иваша.

Он скоро управился в церкви, потушил последний, у притвора, напольный светец и вышел на паперть. Увидел на дороге священника в окружении старух и, любя его, пожалел: ноги стали слабки у батюшки, ходит натужно, с батогом. Отец-

причетник всегда на слово скуп, для сторонних и вовсе молчун, а вот дядя говорун со всеми, а потом и книжник. Сколько он Иваше порассказывал из библейских времён, из отчих преданий и даже о тех царствах, что подпирают русскую землю с юга и запада.

Как-то трактовал и о родных местах:

— Нашева села Краснова зачин таков: во времена оны два мордвина тут сукна валяли и красили в красный цвет. Подали они царю челобитье, просили дозволить брать в мастеровые разных прибылых, набеглых. Дал государь позволение с той оговоркой, что браты воспримут свет православия и поставят храм Божий. Вот так и наросло село. А что касаемо озера нашева, вода-то в нем кармазинная,[4] так это от той же краски суконной, а потом и подземные протоки к нам из болот…

Дома наскоро поужинал и пошёл к дяде — всего-то уличную дорогу наискось перейти.

Старый священник не любил с племянником праздных разговоров, всякий раз, прозревая будущее родича, готовил его к службе в храме.[5] В горенке батюшки они сиживали всегда одни, света не зажигали. Дядя и сейчас почти закрывал собою окно. С улицы лунный свет высвечивал окрайки его головы, и потому редкие волосы старика казались легким серебряным венцом…

— Дядя Миша, — ласкается голосом Иваша. — Вот часто слышу: страх Господень. Как учено понять? Разве страх не един?

Священник молчит недолго.

— Человеку ведом страх живота своево. А страх божий — это уж начало мудрости нашей, глядение в себя. Нет-нет, Ивашенька. Не боязнь Бога, а скорее всево боязнь отпасть от Него. Ну, что ещё сюда прикладом: страх этот двояк — один является к нам от угрозы наказания. Уж коли боимся, то и побуждаем себя к воздержанию, терпению, упованию на Всевышнева. Ну, а другой страх, как думаю, сопряжён с любовью к Богу, естество благоговения перед Ним…

— Севодня родитель мой перед службой научал соседа нашева: иди и покайся. Всяк ведает: покаяться в душе или священнику за недоброе слово и дело. А как это опять же изъяснить по-книжному рассуждению?

— Можно, племяш, и учёным штилем. Покаяние — это ведь сердцевина духовной жизни, это, проще сказать, перемена к лучшему — вот суть покаяния. Очищение совести нашей. Ефрем Сириянин глаголал, что Бог более радуется об одном кающемся грешнике, нежели о девяносто девяти праведниках.

Луна уплывала из окна — Иваша заторопился, священник уходил на покой рано.

— Последнее, дядь Миша. Что, опять же учено, думать о

молитве?

Старик порадовался вопросу племянника. Глубинное познание взыскует — молодцом!

Мягкий шелест слов не кидает в дрёму: племянник весь внимание, память готова воспринять услышанное.

— В молитве мы открываем Бога! Молитва — дыхание духовное. — Отец Михаил минутно помолчал, подбирая нужные слова. — Молиться нужно чаще, чаще благодарить Всевышнего. За что… Да вот хоша бы и за наступление ночи. Бог освобождает нас от дневных трудов, даёт отдохнуть, даёт силу. Молитвой мы приближаемся к Богу… Отсюда проистекает надобность чаще молиться. Ну, довольно! Поразмысли о моих ответах, утверди узнанное. А утвердится в голове, как сойдёмся, поспрошаешь о новом…

Крепчал мороз, хрустел под валенками снег. Ярко сияли звезды на синем пологе неба. Хорошо думалось о дядюшке: недаром за книгами сидеть любит. А берёт он их то у арзамасского протопопа, то в Спасском монастыре, — там всяких книг, сказывают, довольно. Вот бы самому попасть к игумену!

Он нёс завернутый в холстину список жития Преподобного Сергия Радонежского — дядя Михаил достал в Арзамасе, не в Спасском ли…

Подавая свёрток, батюшка поднял голос:

— Поучайся от святова! Сергий — столп церкви Христовой. Он молитвами и назиданием поднесь питает народ наш. Стал Игуменом всея Руси, величают его и возбранным воеводою отчей земли, ибо это он, Сергий, благословил воинство Дмитрия Донского на одоление злобного Мамая триста лет тому назад. Воспряла после победы Россия…

После со списком жития Сергия сын Фёдора Степановича не расставался почти до конца своей жизни. Стало для него житие святого настольной книгой и учило главному — тому многому, что определено угоднику Божию.

4.

Этот сон виделся таким ярким, таким необычным и так взволновал, что Иваша проснулся с сильным биением сердца.

Уже малость светало, проступил из тёплой кисловатой темени избы оконный проём. Он лежал тихо, в каком-то странном трепете и бережно перебирал увиденное, пережитое во сне. Невольно подумалось: сон-то не вещий ли выпал?

Сходили к заутрене, хотелось Иваше тут же рассказать своим о ночном видении, но умолчал пока, оберёг тот сон и только вечером одной матери доверился:

— Чуден сон мне наслан…

Агафья сидела за прялкой — за верчением то падающего вниз, то резко взлетающего веретена зорко следил рыжий котёнок, порывался поймать его лапкой.

— Мало ли, сынок…

— Нет, матушка, похоже такое неспроста. Такова преж не снилось.

— Сказывай!

— А вот… — Иваша отложил книгу и заговорил. — Зрю икону Пресвятой Богородицы. Стоит она на воздухе, как бы сходит на храм, а ликом своим светлым ко мне обращена и призывает к себе.

— Так что же?

— Смотрел с умилением, плакал и обещался.

— Что тут вещева? Люб ты Пресвятой Матери и высит Она тебя. В храме угождаешь, родителю на службах пособником…

Прошло мало, прошло много дней — запамятовала о сыновьем признании Агафья, а Иваша-то бережно держал в себе виденное, не забывал. Рассудил так: Господь с Пречистой Матерью зовут его к подвигу в иноческом образе. Сама душа такое подсказывала.

Рабочая весна наступила — позвало поле, потом в череде дней другие дела и заботы захватили: конюшню перебирали с отцом, а после глиной её в пазах обмазывали, веснодельные дрова возили и пилили.

Но, чем бы ни был занят Иваша, все же чувствовал, что несвободен, и нет-нет, да и вскинется в нём укорное. И однажды вечером, когда за Гнедком с уздечкой ходил к Тёше, прорвалось в этот тихий вечерний час: почему так малодушен, живёшь с упряткой того, что объявить надо.

Не сразу и заметил, что заговорил вслух:

— Время тебе о душе помыслить! — Он услышал свой и не свой голос и затаился в шаге, похолодел от напряжения, от ожидания дальнейших своих слов. И они сказались, опять же вслух:

— Время исполнить обещание!

Да, да, он же обещал… И опять Иваша ощутил какую-то особую боязнь и особую радость.

Слабость, робость юности ещё владела юношей. Пугался он будущего, к которому призывался свыше, к которому подвигал себя сам.

С нетерпением ждал ещё знака, перста указующего. И удостоен был в этом своём смятении вторым видением.

… Дома он. Видит оголовок лавки, что некогда в мальстве выщербил ножом. В переднем, красном углу киот с иконами, и видит себя у стола. Стоит он, подперев голову ладонью, и думает о неисполненном своем обещании. Не заметил, как вошли с улицы иноки в чёрном. Слышит голос иеромонаха: «Мы пришли постричь тебя по твоему желанию». Клонит Иваша голову, а иеромонах, взявши ножницы, начинает пострижение волос крест-накрест…[6]

Иваша и на этот раз рассказал матери о своем видении.

Агафья тут же загорюнилась. Всего-то восемнадцать сыночку. Всем взял… Когда чадо выросло и не углядела, как не заметила и канувших своих молодых годочков. Едва парень поднялся, теперь бы только радоваться. Всё-то тешила себя нехитрым раскладом: оженим, сноха в дому помощницей, а там внуки пойдут. Постареет Фёдор Степанович — сынок на его место в храме заступит. Дьячком хоть сейчас, но может и до священника подняться, в научении искателен, на все церковное памятлив. Духовное звание почитаемо, прокормление надежное. Ах, сына, сына!.. Цветущие годочки сокрыть в келье!

Вечером, когда Иваша ушёл по двору убираться, передала Агафья мужу взволнованный сыновий рассказ.

Фёдор Степанович неспешно готовился в церковь, только что вымыл руки и теперь вытирал их холщовым утиральником. Выслушал сбивчивые слова жены и тихо объявил:

— Так давно род наш в храме служит — родитель мой священником… Сказано же: один сын — Богу, второй — царю, а третий родителям кормильцем. Вот первова и отдадим Всевышнему. Не станем перечить Ивану, пусть грехи наши замаливает, да и себе уготовляет царствие небесное. Монастырь скоро душу выправит, мир же соблазнит её и развратит…

Шло время, родители не отвращали сына от его желания, но и не торопили с уходом из дома.

Долгонько ждал родитель, когда сын сам откроется в задуманном, как скоро окажет свою крепость.

Ехали на Гнедке из рощи — нарубили берёзовых ветей для банных веников. День стоял душным, морило с утра, коня донимали пауты, и он без понукания шёл ходко, бесперечь обмахивал свои потные бока длинным хвостом.

Иваша теребил в пальцах тонкий прут, признался:

— Велено мне свыше в монастырь идти. Благословишь ли, батюшка?

— Вижу, ты душой-то уже отошёл от нас, — почти скорбно

отозвался Фёдор Степанович. — Сведал я о твоих снах, передала мать. Что ж, не перечу Богородице, быть по Ее произволению! Но кто мне дома, в поле помощью…

— Так, братец меньшой подрастает, Катенька на выросте…

Сын осторожно спросил, в какой монастырь ему напроситься. Родитель пожал плечами, лениво перебирал вожжи.

— Конешно, всё едино, в какой обители Богу служить, а всё же… В Арзамасский Троицкий не ходи, там в особном[7] как-то нестройно. Там каждый из братии жильё, брашно[8] имеет из своего кошта — там и до греховных распрей недалеко. Благословляю тебя во Введенский, игумен там добрейший и впрямь ангельского чину. Монастырёк бедный, зато на площади городской, на украсе. Попервости будем видеться в базарные дни. Я тебе, сын, признаюсь: как останусь один ежели — тож в Введенский уйду. Тамо и будем обретаться вместе. Тамо и глаза мне закроешь… Что ещё? Земли в Введенском нет, надрыва тебе на поле не будет…

— На самом бою монастырь-от, — засомневался Иваша. — Вокруг ограды с утра до ночи суета сует…

— Да это… — Фёдор Степанович попридержал побежливого коня при спуске с луговой горушки. — Ежели укрепится в тебе духовная ограда, то все мирские напасти, все льстивые соблазны всечасно сдержит.

Сын кивал, соглашался.

На том и порешили: в Введенский Иваше.

Родитель вспомнил:

— Любомудрием я не награжден. Сходи к игумену Спасского, Афанасию. Испытает, наставит и благословит. Он меня давненько знает, нет-нет, да и видимся. Скажешь, чей ты родом. И ещё: мать излишне не терзай разговорами об уходе, ей всё это в тугу.[9] И без тово унывными охами и вздохами томится.

5.

Русичи — оратаи, ремесленники, купцы и воины создали свой обособленный, свой дивный мир, о котором в XIII веке сказалось во всеуслышание: «О светло светлая и украсно украшенная земля русская». Несмотря на все тяжкие повороты своей истории, русский человек всегда следовал велениям своей православной души, которую заботливо формовала святая Церковь Христова. В сознании русских православие принимается как чистая жизнь во Христе. В этом виделся идеал Святой Руси.

XVII век… Под началом своих духовных пастырей — это яркое время стремления большинства простого народа выстроить своё обитание на высоких основах святости православия.

Претерпев в начале века страшное бремя Смуты, вдоволь познав голод, телесные немочи, ужасы междоусобных браней, иноземного разбоя, насилия и наконец церковного раскола, многие из соотичей в городах и сёлах ожидали суровой Божьей кары за личные и мирские грехи тяжкие. Более того, ожидали кончины мира, которая, по предположениям фанатичных книжников, совпадала с 1666 годом.[10]

Всё это создавало особо тревожное напряжение в народе. В вере, в церкви духовно окормляющей, в нравственных исканиях люди хотели обречь спасение. И потому уход в монашество почитался — монашество виделось ангельским житием, приуготовлением к переходу к райской жизни после земной юдоли.

В этот XVII век в России быстро умножалось число церквей и монастырей. Если большая часть духовенства пополнялась из народных низов, то в монашество шли и дворяне, бояре, князья. Рост числа церквей и монашеских обителей хорошо виден и на примере Арзамасского уезда. За сто с небольшим лет со дня основания Арзамаса в городе и за его чертой насчитывалось 186 храмов и восемь монастырей.

… Уже прихватывало, подмораживало землю в октябре. Почернели леса за Тёшей, сумрачные поля ждали снежных покровов, на пажити с поздней отавой сиротливо стояли кой-где ещё не вывезенные стожки побуревшего сена.

Всё реже оказывало себя прощальное осеннее тепло. Далёко по утрам давали знать о себе соседние абрамовские мужики — бондари. Эвонде на дороге, почти и не видимы, а кади, бочата, что везут в Арзамас, гремят на всю округу. Торопитесь, не мешкайте люди, вот-вот рубка капусты — на посуду у многих спрос.

Родитель сидел в передке телеги, не торопил Гнедка и по обыкновению молчал. А и хорошо: подъезжали к Выездной слободе и охотно смотрелось по сторонам.

За церковью Смоленской Божией Матери Арзамас открылся широко, вольно. На высоком гребне горы, что поднялась над тихоструйной Тёшей, бросилось в глаза чёрное дубовое опоясье крепости с тремя западными башнями. Над ровной линией крепостной стены весело выглядывала маковка соборного храма во имя Воскресения Христова — дубовая клеть, верх шатром, паперти на стрелах…

Проехали насыпь, деревянный мост через речку и стали подниматься по взвозу к срединной Настасьинской башне, коя, по преданию, была названа так при закладке крепости самим Иоанном Грозным летом 1552 года, когда он шёл воевать Казань. Знать, крепко любил свою супругу Анастасию Романовну молодой царь, знать, частенько вспоминал её имечко в долгой разлуке…

Над башней — православный крест, в нише башни — тёмный лик иконы. Перекрестились.

Фёдор Степанович кивнул знакомым седоусым воротникам, и Гнедко легко вынес телегу на главную Арзамасскую площадь. Слева встала лёгкая высь соборного храма, справа, в среднем Малом остроге, стояли две церкви Николаевского женского монастыря, а напротив его, в каких-нибудь двадцати-тридцати саженях к востоку дремотными окнами гляделась маленькая церковка Введенской мужской обители.

Очередные хозяйские заботы увели родителя к купцу Масленкову, а Иваша привязал Гнедка к длинной площадной коновязи и пошагал к Спасскому через восточные Кузнечные ворота.

По отлогому склону спустился в овраг с узенькой речкой Сорокой. Тут, на затоптанной крохотной полянке, остановился — на взъеме другого берега оврага поднималась большая Благовещенская церковь, а уж за нею, на холме и белел каменный пятиглавый Спасский собор Спасо-Преображенского мужского монастыря. Некогда возведение его на возвышенном месте, конечно, приличествовало воспоминанию монахов о Преображении Господня на Фаворе, во имя которого и был посвящён храм.

Спасский уже начал обноситься каменною зубчатою оградой, за которой высилась красивая белокаменная шатровая колокольня.

В покои игумена проводил молодой послушник.

Афанасий вышел в простенькой рясе, благословил, протянул худенькую руку для лобызания и вернулся в своему столу, покрытому тяжёлой тёмной тканью, которая спускалась почти до самого пола.

— Что так заробел? — игумен заговорил почти ласково, не по возрасту молодые глаза его весело сияли. — Садись и не таись! Знаю, по слову родителя, грамоту разумеешь, прислуживаешь в церкви. Верно ли, что метишь принять ангельский чин?

— Так, святой отче.

Афанасий потёр свои маленькие руки, воззрился на Ивашу с открытым торжеством. Горденек ликом вьюноша, сейчас его и осадить…

— Нут-ка, для размину памяти твоя, поспрошаю. Как сказано о Святой Троице в священном писании?

Иваша вспомнил — дядюшка Михаил давненько просил затвердить.

— Апостол Матфей, глава двадцать восьмая, стих девятнадцатый: «Шедше убо научите все языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Еще от Иоанна — глава пятая стих седьмый: «Три суть свидетельствующи на небеси, Отец, Слово и Святой Дух, и Сии триедино суть».

— Ну-ну… — крякнул от удивления игумен. — А что есть таинство церковное?

— Священное действо есть, когда на человека обращается благодать или спасительная сила Божия.

— Ладно! Сколько таинств у нашей матери-церкви?

— Седьм! Суть: крещение, миропомазание, причащение, покаяние, священство, брак, елеосвящение.

— Быстр ты разумом! — умилялся Афанасий. — Вспомни-ка, что сказано у святова Иоанна о молитве?

— Глава четырнадцатая, стих тринадцатый: «Еще аще что просите, сказал Христос, от Отца Моего во имя Мое, то сотворю да прославится Отец в Сыне».

— А чево нет в «Часослове»?

Иваша удивился легкости вопрошения.

— В «Часослове» — вседневные службы, окромя литургии.

— Ну и что касаемо самой службы… На вечерне после первого возгласа священника перед престолом, что поет хор?

— Хор-то у нас в Красном тово, не архирейский…

— Да уж вестимо! — коротко хихикнул игумен.

— А поёт хор псалом о сотворении мира, прославляем премудрость Божию: «Благослови душе моя, Господи! Благослови еси, Господи! Господи, Боже мой, возвеличился еси зело, все премудростию сотворил еси. Дивна дела Твои Господи! Слава Ти, Господи, сотворившему вся!»

Спасский игумен осторожно потёр перстом широкую переносицу, поднял глаза и не скрыл под жёсткими усами простодушной улыбки.

— Зело памятлив и научен, сын мой! Да тебя и сейчас не зазорно видеть в попех! Давно ты в храме родителю помогой? А сколь те годков?

— С отроча в церкви. А лета мои — восемнадцать.

— Изрядно! Во-о-от! От добра корня — доброе древо растёт и цветёт. Так ты нарядился в монастырь… Ведомо ли тебе, что иноческая жизнь, монашество — удел немногих. Ты всецело отдаёшь себя служению Богу. Помни: свет инокам — ангелы, свет

мирянам — иноки. И ещё помни слова Нила Росанского, тот сказывал: «Монах есть ангел, дело же его есть милость, мир и жертва хваления». Ты воньми, Иван, возьмёшь на себя добровольное мученичество, самоотречение, жизнь вдали от мира… Вот что советую: иди и паки и паки обмышляй ещё, попугай себя монашеством, чтобы после не хулил меня и не травил свою душу — никто тебя силком за монастырскую ограду не тянет. А ежели укрепишься в желании принять постриг — приходи, отправлю тебя на послушание в Введенский, там потруднее во всём, чем у меня…

— Я и помышлял о Введенском! — не сдержался Иваша.

— Похвально!

Афанасий встал из-за стола и явил милость: проводил до выходных дверей. Легонько приобнял парня за плечи, признался со вздохом:

— Веселю себя душой, но и плачу…

— Что так? — растерялся Иваша.

Игумен потупил глаза.

— После, когда состаришься — поймешь…

Иваша вышел из монастыря с недоумением: о чём это игумен?

Он поднимался от Сороки к тем же Кузнечным воротам крепости. Слева весёлым перезвоном наковален переговаривалось с десяток закопчённых кузниц. В тёмной глубине их, за дверными распахами, то гасли, то вспыхивали огненные зраки, дергались красные потные лица, оголённые руки, кожаные рукавицы…

Может, этот азартный, такой разнобойный и весёлый перезвон в кузницах и поднял Ивашу. А, может, высокое солнце, что дохнуло теплом. В нём поднялось что-то даже и озорное. А! Скоро в затвор монастырский, пока же, детинушка, твоя воля, твоя винушка! До вины Иваша не додумался, а вот налетной охотке потачку дал.

Отца у площадной коновязи не оказалось, Гнедко стоял в ленивой дрёме — нежил свои полные боки на щедром солнышке, косился на шумных воробьёв, что путались под ногами. Иваша сыпанул коню овсеца в торбу и оглядел площадь. Базар кончался, расторговались, однако, не все и потому крику-гомону ещё хватало.

Прислушался, различал призывные голоса:

— Подходи-и… Пышки горячие!

— Пироги с вязигой!

Мордвин-бортник уверял прохожих возле своих кадушек:

— Да ты понюхай медку мово — с понюху сыт будешь!

От ворот Николаевского монастыря неслось:

— Калачи, калачи из горячей печи!

Ложечник, весь обвешанный расписными ложками, с утра-то уже охрип от крику и теперь надрывался:

— Ложки точёные-золочёные. Рот не дерут — все их берут!

«Ой не все… — пожалел ложкаря Иваша. — Коль скоро ты с Нижнего базара, из щепного ряда сюда наверх притопал…»

Обрадовался старому знакомому. Почти у самых ворот Введенского бахвалился Прошка Шубин, сбитенщик. Охотников пить в конце базара не находилось, и постояли, поболтали друг с другом.

— Наш красносел всегда весел! — хитровато щурил свой серенький глаз Прошка. — Давай я тебе налью сбитню, так просто. Из остатков. Остатки — сладки…

— Я заплачу!

Заплатил, простился с парнишкой и пошёл искать пироги с визигой: любил, когда на зубах хрумтела крошеная спинная хрящевина из стерлядей.

Сыскались пироги, купил пару. Завернутые в чистый капустный лист, они еще ласково грели пальцы.

Пошёл к Гнедку. Вслед неслось зазывное Прошки:

Сбитень сладок,

Кто падок?!

«Что в миру соблазнов-то всяких!» — вдруг ужаснулся Иваша, дожевывая пирог. Он упал на солому в передке телеги, да так молча, пластом и пролежал до прихода отца.

— Что-о с тобой… — потревожился Фёдор Степанович, дотрагиваясь до плеча сына.

— Душа моя над бездной соблазнов человечьих мучилась, стало так-то не по себе… — глухо отозвался Иваша и тихо заплакал.

Больше родитель до самого дома не тревожил своего старшего.

6.

Провожая в монастырь, хоша и грешно, но крадучись, оплакала мать сына — он навсегда уходил, отрешался от родителей и от всего мирского.

Угрюмо молчал всю дорогу отец, пока отвозил свое чадо в Арзамас, и только перед самым уж расставанием не сдержался, неловко, судорожно, крепко прижал к себе и повлажнел глазами.

Не сразу послушник удостоился облачиться в суровые

одежды монаха.

Не скоро, но настал день желанного пострижения.

Обряд свершили во время литургии. Перед началом — малый звон. Его тихого, послушного старец привёл в храм. Стали посредине, поклонились, подошли к настоятелю Тихону и приняли благословение. Положили три земных поклона у царских врат, приложились к иконам, снова склонились в земном поклоне противу царских врат… Вернулись в притвор церкви, где Иваша снял верхнюю мирскую одежду, сапоги, облачился во власяницу и там стоял начало литургии.

После пения монахами обычных антифонов[11] и малого входа, после пения дневных тропарей братия дружно подняла голосами тропарь восьмого гласа… В это время все монахи вышли в притвор и вернулись в храм вместе с Ивашей, который в одной власянице, неопоясанный, босой, с непокрытой головой, сложив на груди руки, шёл позади всех между своим старцем и священником.

При самом входе в церковь его встретил Тихон в облачении, с крестом в руках и возгласил:

— Христос невидимо присутствует здесь, призывая, спрашивает: «Кто хочет идти за Мною?»

Иваша знал, что ответить:

— «Вот я, Господи, хочу идти за Тобою и желаю исполнить Твою волю, но позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего и проститься с домашними моими…»

Игумен объявил:

— «Христос, призывая, повелевает: предоставить мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди за Мною, благовествуя Царство Божие, ибо, никто, возложивший свою руку на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для царства Божия».

И опять Иваша вспомнил что сказать:

— «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое воздать Тебе обеты мои пред всем народом Твоим, Ты же, Боже, поспеши на помощь мне и прими меня, как жертву непорочную, с любовью приносящуюся Тебе».

Еще возглашал Тихон и опять заученно отзывался постригаемый:

— «Твой я, Господи, спаси меня и ради имени твоего води меня и управляй мною, а я, всякий день исполняя обеты мои, буду вечно воспевать Твое имя».

… Пошёл игумен к алтарю, братия запела тропарь. Иваша дошёл с Тихоном до царских врат, трижды распростёрся перед ними. Лежал лицом вниз, втайне молясь о прощении грехов и о принятии в число кающихся.

А рядом уже всё приготовлено для его пострига…

Опять говорил Тихон добрые слова, затем склонился над лежащим Ивашей, взял его за правую руку и поднял.

Начались долгие вопрошения:

— «Зачем пришел ты, брат, припадая перед святым жертвенником и перед этим Христовым воинством?»

Поклонился ищущий ангельского чина.

— «Желаю подвижнической жизни, святой отец».

— «Желаешь ли ты удостоитися ангельского образа и присоединиться к числу монашествующих»?

— «Желаю, с Божьей помощью, святой отец».

И ещё десять раз обращался Тихон к испытуемому и на всё получал твёрдый ответ.

Затем началось долгое наставление, которое игумен читал Иваше, после чего возложил ему на голову святую книгу — молился, просил Господа оградить последовавшего за ним от дьявольской силы.

Иваша старательно слушал Тихона. Но были мгновения — они ему казались долгими, когда голос иеромонаха вдруг затихал, почти не слышался. И в ладанной пахучей тишине всей душой своей он ощущал особую наполненность храма святостью. В страхе и трепете, вроде бы не глядя по сторонам, встречал он ответные взгляды живых иконных ликов, ободряющую ласку больших глаз Богородицы и ее Сына. Он, давно-давно привыкший к церковным службам, посвященный в таинства этих служб, сейчас полнился особой высшей радостью своего общения с Богом, который явно пребывал в монастырском храме и благословлял обряд его пострижения…

Дьякон положил на Евангелие ножницы, Тихон опять обратился к Богу о приеме «раба твоего Исаакия»… «оставившего мирские страсти и себя и принесшего Тебе, Владыке, живую и угодную Тебе жертву…»

Игумен простёр руку к Евангелию и заговорил особенно мягко:

— «Вот Христос невидимо стоит здесь! Смотри, чадо, ибо тебя никто не принуждает к монашеской жизни, смотри, как ты добровольно принимаешь обручение великого ангельского образа».

— Да, святой отец, своею охотою!

Тихон трижды брал ножницы с Евангелия и бросал их на пол со словами:

— Возьми ножницы и подай их мне!

Трижды поднимал постригаемый их, целуя руку игумена. Когда Тихон последний раз принял ножницы, то произнес:

— «Вот ты принимаешь их из руки Христовой, смотри к Кому ты приступаешь, Кому обещаешься и от Кого и от чего отрекаешься. Благословен Бог, желающий, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Благословен Он во веки веков!»

— Аминь! — пропела братия.

Игумен крестообразно постриг волосы на голове и дал Иваше новое имя.

Торжественно заканчивал обряд Тихон:

— Брат наш Исаакий постригает волосы головы своей в знак отречения от мира, от всего мирского, отличной воли и от всех плотских влечений — во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Воззовем все о нем: «Господи, помилуй!»

Братия трижды стройно пропела «Господи, помилуй».

Исаакию с благословением передали монашеские одежды. Облачился он в рясу, опоясался кожаным ремнем, закрепил на себе мантию, на голову ему воздели клобук, он обул сандалии, вручили ему чётки, ручной крест. И наконец подали в руки зажжённую свечу, и опять игумен говорил, твердел голосом:

— Возьми, брат Исаакий, эту свечу, что отныне своею чистотою, добродетельною жизнию и благонравием ты должен быть светом для мира, как сказал Господь: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»…

Выходили из монастырской церкви, старец Варлаам — духовный отец новоявленного монаха, тихонько объявил:

— На пять дней ты, брат, свободен от всех дел в обители, но будешь пребывать и в храме, в молитве.

— Исполню! — готовно ответил Исаакий и тут же увидел отца. Не знал, что Фёдор Степанович наблюдал обряд пострижения сына. Родитель увлёк за ворота монастыря. У ограды в чёрной, запорошенной снегом шубе стояла мать.

Агафья кинулась на грудь сына — молодого монаха.

— Ангел мой! — и заплакала.

Родитель мягко отстранил её от Исаакия.

— Жено — ребро ты моё любимое, пазушное. Богу сын отдан, радуйся! Ну, а ты, Исаакий, прохождай иноческий искус…

… Он лег рано в своей прохладной келье. А до этого долго сидел впотьмах, перебирал в руках чётки, вспоминал, что говорил Тихон, когда передавал их ему:

— Прими, брате, меч духовный, иже есть глагол Божий, его же нося во устах твоих, уме же и сердце, глаголи непрестанно: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».

Главная площадь города затихала поздно. Слабо, но донесся с

улицы смех, резкие голоса и опять рыкающий басистый смех… «О чём это они там?» — недоумевал Исаакий. Как-то не принималось, что в этот день, в этот вот вечер кто-то со стороны может так громко, вызывно смеяться. Ну, люди!

А день был февраля шестой года от Рождества Христова 1689-й.[12]

Исаакию ещё не исполнилось и девятнадцати лет.[13]

Глава вторая

1.

Он почти не спал в эту первую ночь после пострижения, слишком уж пережил случившееся и это начальное, ещё не глубинное осознание того, что навсегда отрешён от мира, в котором ему так тепло жилось у родителей. Давно ли загадывал иметь вседневную кормлю в родном селе. Мужики знали о его усердии в храме и могли отличить, поставить своим священником, как дядя Миша уйдет на покой. И пошла бы до самого смертного часа тихая жизнь с матушкой, детьми, как и у любого сельского батюшки…

После обедни и трапезы позвал к себе Тихон. Старый, со слезящими глазами игумен излился признанием:

— Вот и отошёл ты в прямые слуги Божьи. Чреват я годами и немощен. Скоро Всевышний призовёт меня к себе, и, прозреваю, тебе приять начало над обителью. Обретёшь священство, станешь служить в нашем храме. Мы тут числом вмале, да и старичье — усердствуй, тебе светит!

Иоанн видел, что иеромонах плох, и пожалел его:

— Все в руце Божьей! — укрепил он словом старика.

Игумен поправил седые прядки волос, выбившиеся из-под скуфейки, запахнул на себе легкую заячью шубу, накинутую на подрясник, и опять признался:

— Одного не успел — каменного храма вознести, но радуюсь тому, что вам, молодым, честью выпадет эта работа. Конешно, оно бы и мне исполнить, да беден наш монастырёк. Ты ж видел: священные сосуды у нас оловянные, кресты напрестольные древяны, а в ризнице… облачения, что киндяшные, что камчатые — ветхи, уж светятся. А тут дьяк Яков Соловцов данью двор наш обложил, в патриаршую казну четыре деньги и гривну за въезд с нас тягали. Возовопили мы, кой-как услышали наши вопли и отъяли поборы.

Иоанн, опять словами родителя, ободрил Тихона:

— Всё Богом по некоторому прошествию времени управится, святой отец.

— Ладно! — игумен внезапно вспомнил: — А ты чево в монастыре сидишь?

— Варлаам — духовный мой, молиться велел…

— Экой ты робкой… Скажу я старцу — успеешь поклоны бить.

Ступай за ворота! Арзамас — довольно храмами Божьими украшен, изрядно строен — поди, разомни молодые косточки, пусть посадские девицы пожалеют: экова добра молодца упустили!

… Почти прытью пустился вдоль низкой монастырской ограды, да увидел себя в чёрном, длиннополом одеянии монаха и тотчас утишился в желании — умерил вскинувшуюся прыть, зашагал тихо, степенно.

Оказалось, что идти-то некуда. В этот будний день Арзамасская площадь почти безлюдна. Ветошный ряд возле монастыря пуст, на другой стороне площади, ближе к Сальниковой улице, у коновязи толпилось несколько мужиков — хрустел там под лаптями крепко подмороженный, уже слежавшийся снег. А ещё напротив Введенского — у ворот Никольской обители две монахини широко махали метлами, взбивали легкую снежную пыль.

Иоанн вспомнил: многажды бывал он в Арзамасе, да всё как-то в базарной сутолочи, всё-то с родителем на крикливом торгу. Давно хотелось увидеть весь город сверху, охватить его одним взглядом с высоты колокольни. И вот теперь это можно, никто не остановит его, не схватит за руку.

По шатким, избитым ступеням тихо поднялся на невысокую монастырскую колоколенку с шатровым верхом.

Его испугала стая потревоженных голубей, сухой треск их крыльев. Один тёмный турман в широких штанцах сидел тихо, не слетел с ребровины оградительной балясины пролета, воркуя, смело поглядывал на молодого монаха, ждал кормли, но зёрнышек у Иоанна не случилось, и он развёл руками: забыл, но уж в другой-то раз с пустым карманом не явится…

Первое, что бросилось в глаза — широкое чёрное опоясье крепостной стены вокруг города и неоглядная белизна окрестных снегов.

Деревянный городок просматривался с колокольни весь. Очертание треуголья крепости повторяло явленное природой. Не случайно это треуголье высокой горной земли между Тёшей и глубоким оврагом облюбовали государевы городельцы для возведения крепости. Только северная напольная её сторона могла быть опасно уязвлена наскочившим недругом. Но тут выкопали глубокий ров с валом. Из ближней северной башни на животинный выпуск выбегала из ворот темная сейчас, зимой, лента широкой дороги в Нижний.

После узнает Иоанн в случайном разговоре, что длина

крепостных стен укладывалась в тысячу шестьдесят шесть сажен.

Где-то всполошно вскричали мужские голоса, Иоанн догадался, да и увидел: напротив, в створе проезда Настасьинской башни, угрозно махая кнутовищами, ругались два деревенских мужика возле встречных дровен — там же тонко взвизгивала напугавшая лошадей чёрная собачонка.

Правей Настасьинской, за Воскресенским собором, толстым обрубком на высокой клети стояла недоброй славы городская пыточная башня. Маленькие чёрные окончины в нижнем срубе её пугали горожан разными ужасами пыточного застенка.

Неподалеку от башни, ближе к крепостной стене, на лобовом украсе, развалисто разметался воеводский дом с резным гребнем по коньку крыши. Бочковые покрытья теремов, холодных повалуш, длинные выносные крылечные спуски — гульбища, небольшие оконца верхних хором со слюдяными вставками в частые рамные переплеты — всегда воеводский дом недоступен для простых посадских, неизменно дивит он внешней красотой, но и не знамо чем пугает.

Противу воеводского двора, справа, стоял высокий дьячий двор, или земская изба, тоже на высокой клети. За ней, за длинной коновязью, угадывался сейчас замёрзший пруд, по пологому скату его берегов каталась на салазках малая ребятня.

Сверху хорошо просматривались главные улицы. Тремя неровными рукавами они исходили от собора. Первая повторяла довольно ровную западную стену крепости, тянулась она на север, с конца её и начинался Нижегородский тракт. Называлась она Прогонной. Вторая — Стрелецкая, проходила близ первой. А третья улица — Сальниковская — пролегла неподалеку от юго-восточной стены крепости.

Город уже давно перешёл за свои крепостные грани. Так Пушкарская слобода прижилась на северо-западе за крепостью, за Тёшей, рядышком с Выездной казачьей слободой.

На юге, за Кузнечной башней, чернела всегда звонкая Кузнечная слободка.

На востоке, в напольной части — это уже за оврагом Сорокой, вольно разбросались домишки Ильинской слободы, а правее её, под Киселёвой горой, на низинном месте крепко осела вокруг малой речки Шамки Кожевенная слобода. Широкая луговая пойма этой речки на юге обрезалась ровным взъёмом Ивановских бугров, на бровке которых лениво махали крыльями чёрные столбики ветряных мельниц.

… Старый зипун грел плохо, стала зябнуть спина. Иоанн, запорошенный снежком, поглядывал на чёрные росчерки троп в снегах, на унавоженные полосы разбежливых дорог в городе, и за

ним на редких прохожих, на резвые дымы из труб и волоковых окон, и его не покидало какое-то смутное беспокойство. Не сразу понял он, что у него это от черного цвета города и дорог, от неосмысленного еще неприятия Арзамаса.

Эта первая городская колокольня, на которую он поднялся, не вызвала знакомого, желанного ощущения высоты, того душевного позыва в светлую высь неба, которую он испытывал на колокольне родного села. Иоанн даже испугался этого, и ему разом стало тоскливо.

Прежде чем спуститься вниз, поискал глазами в Кожевенной слободе дом купца Масленкова. Родитель давно в добрых связях с Иваном Васильевичем. Не раз, когда сырую кожу отвозил в город, брал отец с собой и Ивашу. Как-то припозднились в Арзамасе, а вечером такой буран поднялся, что хозяева не отпустили со двора на ночь-то глядя: долго ли заплутать в поле! Вот и удивил тогда он, парнишечка, купчину умением читать Псалтирь.

А что-то не углядел, не опознал по домовой крыше обиталища Масленковых — ужо наведаться бы надо, сказаться, что вот теперь он в новом чёрном одеянии, в монашеском чине…

Поздно в келье, в одиночестве, внутренне взбудораженный, а чем — этого Иоанн и сам не знал, присел к столу, к свече, открыл Псалтирь и прочёл:

«Сердце мое, говорит от тебя: ищите лица Моего», «И я буду искать лица Твоего, Господи!»

«Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего».

Эго читались те самые слова, которых он целый день ждал, пытался вспомнить их и не мог.

«Мне это сейчас выпало исцелением!» — обрадовался Иоанн, закрыл книгу и поцеловал тисненое её название на коже.

Успокоенный, укреплённый, он уснул крепким молодым сном.

2.

Видно, по смотрению Божию пришел в Введенский монах Филарет из Санаксарского монастыря, что близ города Темникова в Тамбовских пределах.

Это молодость свела Иоанна с пришедшим иноком. Как-то в тишине крохотной кельи признались братски друг другу на высоком взлёте словесном, что души их просятся в уединение.

Сидели по разным сторонам маленького грубого стола, в

низкое оконце сеялась весёлая вечерняя заря апреля. Дни стояли уже тёплые, и в келье держалось тепло.

Иоанн глядел в оконце на редких прохожих по площади и говорил о думанном-передуманном.

— На самом торговом бою монастырёк наш, брате Филарет. Сутолока, площадь криком кричит… Бывает, встанешь на ночное правило, а в окошко рёв иного кутилки. А потом: родня почасту стучит, прошлым тревожит…

— Воистину! — готовно соглашался Филарет и опускал долу своё кроткое лицо с голубыми пугливыми глазами в светлой опушке густых ресниц. — Мы — ломти отрезанные, нам и своих кровных надлежит чураться. Сокрыться от всего людского, оно хорошо бы… Слушай, друже, что открою. Шёл я в Арзамас путём дальним, дремучими лесами темниковскими. Между речками Сатисом и Саровой полное безлюдье — нежиль! Сказывают, допрежь, за несколько лет перед сим, подвизались в той пустыни отшельники Феодосий и Герасим, а ныне там пусто.

— Где же старцы?

— Не выдержали туги одиночества…

— Вот сходить бы туда, а?! — помечталось вслух Иоанну.

Филарет сознался:

— Мы с Савватием однова разу намерились келью поставить, да ушли — страх прогнал. Одно, что тати разбойные мерещились, а потом и зверьё. Но такая там молитвенная тишина!

Крепко засела думка о дальней пустыни в Иоанне, и уже виделась она желанным пристанищем. Не выдержал однажды и пошёл признаться Тихону.

— Вижу, вижу, что тебя снедает — проветриться захотел, взыскуешь об уединённой молитве Господу… Похвально сие, но по силам, по разуму ли загад о подвиге пустынножительства? Молоденёк ты, сын мой… — Игумен опять прихварывал — осунулся лицом, только тёмные глаза свежо поблескивали. — Я смолоду тож поревновал было к подвигам киевских старцев, о пещерном их житии, да не далось… Не спрашивай, не тащи чужой слабости в свою память, она тож заразительна. Не выпал мне подвиг вершить смолоду, а теперь уж куда-а! Вскоре падет мне последняя дорога, для которой и посоха не надобно…

— Только место огляжу, воспримет ли душа, — осторожно просил отпуск Иоанн.

— Ладно, дам я тебе благословение! — пообещал Тихон и махнул вялой старческой рукой. — Ступай, мне ещё помолиться надо.

Только через две седьмицы игумен вспомнил о просьбе Иоанна. После утренней трапезы поманил своим длинным сухим

перстом, увёл к себе в покой. Ходил он в добром настрое, поглядывал весело.

— На перво число у нас ведь Еремей-запрягальник. Бывало, родитель начинал сеять и вспоминал: овёс сея — моли Еремея… Ну, что ж — теплынь растворена, дороги подсохли — да, теперь по каждой дорожке побежливы ножки… Гляжу вот в окно и печалюсь: старые огарки, доживаем тут неисходно. А ты, милёнушка, пока ноги молоды, носят — ходи, гляди на чуден мир Божий, — исполнен он красоты неизреченной… Ступайте с Филаретушкой.

Получили молодые монахи благословение, заспинные мешки-котомки вскинули и сошли со двора монастырского.

Уже огромило землю, но дождь ещё не падал…

Как ярко горели за Выездной слободой под теплым солнышком зеленя, как жаворонки заливались в голубом поднебесье! Легко шагалось просохшей дорогой — радовались чернецы, что чисты их души и помыслы, что дадена им воля, что не довлеет над ними строгий монастырский распорядок, вседневное послушание старцам.

Справа проглянули крыши Красного. Встретился знакомый мужик в телеге, кивнул головой, чей-то бычишка выскочил на дорогу и начал игриво взлягивать — как всё знакомо! Весело смотрится барский дом на горушке, родной храм с высокой колокольней, а там неподалёку и родительский двор. Вон в старом шугайчике и матушка близ огородной грядки. Вскинула ладонь над глазами — узнала… Прибавили шагу.

Пока Филарет дрова в охотку на дворе колол, Агафья вымыла руки, увлекла в горницу и, волнуясь как девчонка, зашептала:

— Ульянушка-то твоя любая… Приехал тут мужик из подмосковного села барина — поклон передала тебе, не знала, что ты постриг принял. А ещё и плат памятной. Вот…

Агафья торопилась, кинулась к ящику — полыхнуло в руках голубое, и у Иоанна зыбнуло сердце: платок этот он своей ладушке подарил в ту незабывную купальскую ночь…

— Может, не возьмёшь теперь, может, Катюшке малой… — пытливо заглянула в лицо своего большого сына взволнованная мать.

— Возьму… — еле слышно отозвался Иоанн. Он бережно сложил платок и упрятал в свою котомку.

Прожили монахи у Поповых сутки: мать пекла хлебы, заботливо снаряжала иноков в путь.

Уже у калитки стояли… Родительница коротко всплакнула.

— Не похотел ты, Иванушко, вкрасне походить на миру, в чёрное приоблекся…

— Не надо, матушка, — тихо попросил Иоанн.

Федор Степанович возился возле мешков чернецов: укладывал топоры, лопату без черена. Принес увесистый кус вяленого мяса, сразу выставил свой резон: в лесу никто ничево не подаст, успеешь, монах, будешь еще постником. В кожаном мешочке подал новое кресало и трут.

— Вот вам первый дружечка в лесу — берегите!

Провожал до околицы. Обнял сына, порывисто припал к плечу.

— Благослови вас Бог! В обрат пойдете — ждать будем. Лихих людей стерегитесь. На-ка!

И подал свой увесистый батог.

Тамбовским трактом, Дивеевской, Темниковской, а прежде Посольской дорогой, по которой в Казань и в Москву ездили, шагали без останову монахи. Встречались пешие, встречались конные, догоняли в телегах, просили садиться, но иноки только отмахивались: негоже нам беречи себя!

За Дивеевом — большим базарным селом, места начались глухоманные, все лесом да лесом.

У мельницы, что стояла при Темниковской дороге близ села Кременки, остановились воды испить: лица давно испарина пробила, во рту сушь.

Мельник узнал Филарета: бывал у него монашек, когда ходил в Арзамас. Сошел с крыльца своего дома, просил гостевать. Иоанн, оглядывая мельницу, добротные дворовые постройки, поластил хозяину душу:

— Мельник шумом богат…

— Шумит меленка…

Присели на лавочку у сеней дома — Онисим радовался людям, скучал по ним на своем отшибе.

— Не в Санаксарский ли путь держите, братия?

— Думаем с тобой соседиться, — отозвался Филарет. — Пришли вот показаться боровине. Это постриженник Арзамасского Введенского… Ты, дядя Онисим, скажи нам о местах здешних, я-то наслышан, а вот брат мой слушать охоч. Ему тут все в новину.

Мельник упер руки в колени засаленных холщовых портов.

— Вам старины здешние в интерес… Везут ко мне хлебушко на помол, везут и были-небыли. Там, на горе, гнездовал татарский князь Бахмет. Построил город Сараклыч, по нашенски-то, толмач сказывал — Золотая сабля… Долгонько здешним улусом правили татарские ханы, русов в полон приводили, мордву утесняли. Но и века не минуло, как кануло тут ханство после Куликовского побоища, когда князь московский Дмитрий

разбил Мамая. Бежал из своего улуса правитель Бехан и запустел Сараклыч, разбежалась остатняя татаровя. С той поры у мордвы это место прозывается Старое городище…

— Сторонних насельников не помнишь?

Онисим ждал этого вопрошения.

— Видно, много было загублено в Сараклыче православных, видно, вопиет это место о молитве. То и тянет сюда монахов. Феодосий — это уж и я помню, тут спасался. Он пришед из Новеграда, с Волги… Этот Феодосий одинова разу видел в ноши, как небо раскрылось тут над горой и падал с горних высот свет необыкновенный. Сказывал еще монах, что из земельной тверди не единожды гул некий исходил, слышался как бы колокольный звон… Признавался Феодосий о некоем смотрении Божьем. То знамения были, дескать, месту сему уготована большая слава.

— А где теперь обретается Феодосий?

— Будто бы ушел в Предтечев монастырь, в Пензу. Братия тамошняя слезно просила быть у них игуменом… Постойте-ка… Герасим из Краснослободского монастыря тут зачинал житие, да тоже и ево завернули к себе чернецы. Лет пять назад… Сказывал мне, что и ему тож знамения открывались…

— Оле,[14] Господи! — Иоанна поразил рассказ мельника, он тут же присмирел, стал задумчив.

Вечерело. Мельничиха вышла на крыльцо, позвала за стол.

После ужина хозяин отвел монахов в рабочую избу.

— Полати и лавки у меня широки… Как же, народ во все дни. Снимайте со спиц шубы и ложитесь.

Иоанн долго не мог заснуть. Ночь скоро загустела тишиной, где-то неподалеку тихо, тонко позванивало конское ботало. И вспоминалось родное Красное, притешные луга, костерок в ночном, гаснущие звезды к сырому утру…

3.

— Да тут все величит Господа! — воскликнул Иоанн, когда они углубились в треуголье земли между речками Сатисом и Саровой.

— Да, благотишное место… — соглашался Филарет.

Старые литые сосны со смолистой позолотой стволов легко держали на густой зелени своей хвои голубой свод неба. Сумрачно, влажно внизу на толстом настиле палых игл. А в тальниках у Сатиса гремело с утра такое веселое птичье разноголосье, что монахи невольно заслушались.

… Едва заметная тропа то показывалась, то пропадала в чистом брусничнике, вела куда-то вверх. Лес несколько поредел, стал смешанным, и уже по этому угадывалось, что тут некогда жили люди. Встречались высокие замшелые пни, старые затеси на деревьях, в густых зарослях орешника проглянул изорванный, давно почерневший лапоть с птичьим гнездышком…

Стороной медленно прошел, громко хрустя валежником, непуганый лось. Почуял людей, насторожился, мотнул рогатой головой и густой тенью пал в приречные лозняки, тяжело захлюпал там на мелководье.

Странное чувство испытывал Иоанн: впервые он шагал лесной глухоманью. Да, случалось быть на Высокой горе под Арзамасом, что так густо заросла вековым липняком, не раз бывал и в том реденьком сосняке, что приписан к родному селу за Тешей. Там всякий сушняк, палочье заботливо забирали на дрова, а тут вот не в каждом чащобном месте и продерешься сквозь завали старых дерев, трухлявых уже валежин и густого соснового подроста.

Они поднялись на середину лобовины горы. Да не горы, а довольно высокого взъема земли между тихими речками.

— Эх, возняться бы еще повыше! — опять невольно вырвалось у Иоанна.

Филарет, вытирая рукавом потное лицо, плутовски улыбнулся.

— Не одново тебя, брате, небушко-то, высь-то поднебесная манит. Айда-ка сюда… — И едва не потащил Иоанна за собой. — Во-ота!

И как это Филарет удозорил, а он мимо почти прошел и не заметил…

За кустом орешника стояла старая сторожа. Почти на вершине старого, сохнущего теперь дуба на развилье двух толстых сучьев лежали столешницей три колотые деревины. На стволе дуба увиделись набитые железные скобы. По ним-то с опаской Иоанн и поднялся наверх.

Дух захватывало от высоты, от увиденного. Во все стороны бесконечное коврище дымно-синей сосновой хвои. И — небо. И — облака, белые-белые…

Вершинная бесконечность соснового бора, это слепящее небо, причудливые громады облаков странным образом умалили его, Иоанна, как-то принизили в собственных глазах, но подумал-то он в смятении не о себе: как же жалки, мелки людишки вот перед этим бескрайним Божьим миром…

Он медленно слез с дуба тихий, подавленный тем неохватным, что открылось его глазам.

Филарет что-то искал в цветущей майской траве, выглядывал совсем как малой парнишка… Великоватая ряса смешно топорщилась на нем.

Сели под дубом, уперлись спинами в его широкий шершавый ствол. Иоанн набрал старых желудей, поиграл ими в ладони. Филарет старательно отмахивался от комаров.

Иоанн не сразу и заметил, что заговорил вслух:

— Читал я о египетских пустынях, о подвигах первых христиан. Авва Антоний Великий там подвизался… Что тамошние пустыни! Там — голо, там редкого зверя за версты узрить можно, да какие тамо звери, а вот зде… — Он поймал себя на слове — этак запугает Филарета… — Помолимся, брате! — И осторожно вынул из котомки завернутую в чистое, еще не стираное полотенце икону.

Монахи опустились на колени.

Еще в Арзамасе договорились освятить пустыню крестом.

— Ну, снимай вретище своя и берись за топор! — повеселел Иоанн. Он тоже снял рясу. — Лопату насади…

Высокий крест поставили на вершине горы. Вкопали, хорошо утоптали землю вокруг него, отошли посмотреть.

— Повыше бы поднять!

Филарет удивился:

— Да уж куда выше…

— А и правда, — тихо согласился Иоанн. — В душе надлежит нам поднимать крест Христов, в душе!

— Водицы бы испить…

Филарет порадовал:

— Пока ты у мельника в красном углу на иконы глядел, мельничиха мне квасу туес налила. Мастерица она квас варить — я уж пробовал. А ты не пивал мордовского, сыченова медом, пива? Пуре называют. Хмеля в это пиво не кладут — это, говорят они, шайтаново произрастание… Аз, доброе пиво!

Филарет развязал котомку, достал туес, открыл деревянную крышку.

— Нако-сь, пригуби…

Посидели у креста довольно. Филарет сбросил с себя лапотки, развязал онучи, грел на солнышке белые ступни, удивлялся:

— Ты брат, какой… Я ж тебе не сказывал, а ты место для креста будто преж высмотрел, будто кто тебя натакал. Будто перст указующий вел… Ты погляди-ка во-он туда, пониже… Бугры тамо да ямы — знай: местные мужики клады искали. Сказывали, что тут татаровя богатые схороны упрятали.

— Нашли чево?

— Мельник сказывал: кресты каменные обрели. Шесть крестов отрыли да один медный с выемом для святых мощей…

— Откуда ж в басурманском обиталище кресты?

— Мельник-то сказывал: много сюда полонян из православных приводили. Татаровя сгинули, а наше — кресты отдались русским мужикам…

Жар спадал. Откуда-то снизу, от речек, поднималась тяжелая вечерняя сырость. В лесу стихало, стали ярче, сочнее краски, стволы сосен тяжело бронзовели.

Филарет озаботился:

— Брате, нам бы к мельнику…

— Это у креста-то тебе боязно, ай-ай! — укорил Иоанн.

— Давай костерок запалим да дымокур воскурим… На огонь зверь нейдет — таскай прутовье сухое!

…Огнистое солнце сгорело в жарких стволах сосен, в лесу сразу стало темно и давящая тишина навалилась на молодых монахов.

Иоанн прочитал молитву и просидел у костра до рассвета. Никакой боязни не чувствовал: страх одиночества — его ведь тоже нажить, укрепить в себе надо…

Утром Филарет благодарил:

— Ты меня своей одежиной ночью укрыл… Хоша и на хвойке, да на своей вольке!

Обутрело, а потом скоро и потеплело.

Иоанн попросил Филарета:

— Давай-ка еще походим по горушке, приглядеться хочу.

— Запала в душу?

— Запала! Посмотрю, где келью поставить.

— Ты что, летовать?..

— А ты?

— И не знаю… — робко улыбнулся Филарет и виновато опустил глаза. — Боюсь, прости ты меня. Мы ж пришли сюда на погляд.

— Ладно, шагай!

И опять они шли и царственное величие девственного леса поражало их. Иоанн не сдержался, вскинул руки.

— Тут только Богу молиться!

— Тут вольгота-а… — по-детски открыто радовался Филарет.

4.

Только неделю — малость поболе, не были иноки в Арзамасе,

а как же соскучились по городу и по родной обители! Иоанн недоумевал: вроде их ничуть не тяготит знакомое многолюдье, эта извечная суета сует. И, торопливо поддавшись всему мирскому — навязчивому, они захотели за монастырские ворота в первый же базарный день: в Арзамас пришел сергачский ходебщик.

Северное, нижегородское Поволжье издавна прослыло на Руси вожатыми ученых медведей. Веселый промысел обжился в Сергачской округе, одно время являлся едва ли не для большинства тамошних мужиков основным занятием. Здешнюю выучку медведей неизменно хвалили.

Обычно выход на промысел из родных мест начинался с августа и длился до Петрова, а то и до Ильина дня следующего года. Медвежатники уходили на заработки далеко — дорога приводила их до отдаленных городов, даже до Польши.

… Игумен Тихон выслушал сбивчивую просьбу Иоанна и неожиданно помолодел своими усталыми стариковскими глазами.

— Ах, чады мои! Как падки вы на мирские соблазны… Мне бы вас остужать в праздных желаниях, а я потаковничаю, прости Господи. Ступайте! И аз, грешный, когда-то вот также дивовался на хожатова с медведем, хоша царь Алексей Михайлович отдал крепкий указ, чтоб в городах и уездах никакова шумства и верчения бесовскова… Кто же станет ослушником, — упреждал царь, — тово ждет жесточь государская. А-а! Распустил язык с вами… Идите, чево носы повесили? Филаретушка-то, вижу, инда взмок. Чадца мои, монаси-и… власы для прилику подберите…

— Так, нынеча впервой, святой отец! К нам, в Темников, медвежатники не заходят, не упомню… — признавался Филарет.

Хозяин зверя шел обратно в свои сергачские пределы. Почитай, долгий год вдали от дома, радовался мужик скорой явке к родному семейству и потому в последние дни радостен, шумен и скор в представлениях.

Сенная площадь — она в Арзамасе вне крепости, близ моста через Тешу, гомонила больше обычного.

Алексей Михайлович — всея Руси самодержец, почил в 1676 году, и строгий указ его стал забываться, да и как народ оградить от самородного! Скоморошества и прочих веселых уличных затей точно поубавилось, но любимая в миру медвежья потеха оставалась.

Ходебщику прибытка ради хотелось показать своего медведя в деле на главной площади, но — базарный день! Да и протопоп Воскресенского собора не дозволил бы осудительного, как-никак, действа. Вот и пришлось охочим до зрелищ бежать в нижнюю

часть города.

Прытко, едва ли не резвой рысцой, молоденькие иноки ринулись за посадскими, не сразу, но протолкались к стене длинного сенного сарая. Лежали тут запасенные бревнышки, удалось встать на них, чуток подняться над живым пестрым полукружьем из мужиков, любопытствующих молодок, говорливых парней и вездесущей ребятни. Заметил Иоанн, что подивиться на ученого зверя дружно пришли кузнецы-силачи…

Вожатый вывел из ворот ближнего к сараю дома медведя, повел его кругом, и толпа, ахнув, разом отпрянула от сарая, дала сергачским гостям простора.

Рослый мужик с яркой рыжей бородой и веснушчатым лицом одет в потертый, но чистый армяк, перехваченный в поясе широким кожаным ремнем с частым набором блестящих медных бляшек. В ремень этот вшито кольцо, довольно длинная цепь от него тянулась к медведю, к железному ошейнику. В правой руке медвежатник держал увесистую орясину, а левой постоянно подергивал цепь — давал знак зверю к действу.

Медведь оказался не так уж и большим и вовсе не страховидным, только маленькие круглые глазки его с красноватыми белками посверкивали сердито. Он натужно сопел и поначалу противился хозяину. Подобрел зверь после того, как на легком косолапом бегу сглотнул что-то лакомое от мужика.

Ходебщик торопил — разминал медведя. Весело покрикивал:

— А ну, Мишенька-дружок, так и этак повернись, арзамасцам покажись!

Медведь задержался, вскинул вверх лапы, шагнул к толпе, рыкнул — показал спиленные зубы и начал неуклюже кланяться, хватал себя лапами за вислые бока.

Толпа не сдержалась, ответила шумной похвалой.

И тут откуда-то из-за спины мужика вынырнул пёстро одетый парнишка с бубном на ремне, застучал по сухой коже крепкими палочками.

Вожатый опять дернул блестящую цепь, насторожил медведя, закричал высоким сипловатым голосом:

— Покланяйся, покланяйся, Михайло, честному народу. Подходите богатые-тароватые, зрите посадские — люди хватские, красны девицы, сударушки-молодицы… А ты, Мишенька, не озирайся назад, народ не зря похотел собраться, на тебя, умника, полюбоваться…

Медведь, слегка взбодренный орясиной, и в самом деле заважничал, вскинул голову, а потом церемонно, поясно поклонился.

Иоанн с Филаретом и не заметили, как пособник ходебщика,

оставив бубен в сторонке, вытащил из заплечной торбы широкий мешок, просунул в него голову и явился арзамасцам «козой»: козья морда у него на голове с бородой из разноцветных лоскутков, а деревянные рога, закрепленные на деревянном бруске, малый держал в руках.

Что-то закричал мужик, тотчас громко, с вызовом заблеяла, протяжно замекала «коза», и, сплетывая ноги в худых сапожнишках, парнишка начал назойливо наступать с «рогами» на медведя, бодать его лохматые бока. Медведь отступал, закрывал морду лапами, коротко взбрыкивал ногами, отгонял от себя нахальную «козу», норовил ухватить её за рога.

Толпа ахала, глядя на дерзости «козы», взвизгивали от страха две пышнотелые молодайки, незнамо как оказавшиеся впереди других, восторженный рёв возносили над толпой бойкие ребятишки.

Ходебщик поднял руку, толпа поутихла. Начал приказывать:

— Покажь, Мишенька-дружечка, как наши бабы сергачские в баню ходили, крутые боки тёрли, как на полок залезали, берёзовым веничком мягки места ублажали…

Медведь банную картину так похоже представил, что толпа рёвом ревела.

И снова своим высоким, протяжным голосом вопрошал медвежатник:

— А как красны девицы студёной водой умываются, на миру себя показать собираются… Белятся, румянятся, в зеркало дивуются, собой любуются…

Медведь не без удовольствия начал отирать морду лапами, «повязывать платок», поворачиваться и облизываться перед зеркалом…

Дружный хохот опять взмыл над Сенной площадью.

— Мишенька, родной, показуй, как казаки на службу вершне едут?

Пособник ходебщика подал медведю палку, и тот, пройдясь лапой «по усам», «поскакал» на ней.

Мужик вытер большим-большим красным платком свое потное лицо.

— А ну… Стрельцы московские, ребята таковские… Хлеб мирской, денежки государевы, порох да сума набила бока, артикул ружейный выкидывали, пищаль с руки на руку перекладывали…

Ходебщик кинул свою орясину медведю, и тот с видимой охотой показывал артикулы.

Арзамасцы дружно плескали руками, ахали — ну, выучка!

— И напоследок, Мишенька… Как детушки-малолетушки

горох у бабки Анисьи воровали. А после, где скачком, где ползком удирали с огорода…

И медведь, озираясь и глухо ворча, «рвал-драл» горох, а потом трусливо убегал от бабки Анисьи…

Иоанн и Филарет, забыв о своем духовном звании, хохотали до слез.

Медвежья потеха кончилась тем, что зверь опять выдержал наскок «козы», а после вместе они проворно прошлись по кругу, причем «коза» задорила:

— Уж ты, Миша, попляши, у тя ножки хороши, приобуйся в сапожки, я возьму тебя в дружки…

Хозяин укоротил цепь, пошел рядом с медведем по кругу собирать доброхотное подаяние. Шапку держал медведь на вытянутой лапе. Дивно, никто вроде и не пугался зверя. Ходебщик заученно-сказово выпевал:

— Подаде, люди добрые, на прокормленье, на ваше и впредь удивленье, через год жди ты нас, любый сосед Арзамас!

Позвякивало в шапке…

5.

Усердны арзамасцы в делах богоугодных.

В 1651 году противу соборного храма Воскресения Христова выстроили деревянную церковь во имя Введения в храм Пресвятые Богородицы с двумя приделами архидьякона Стефана и преподобно-мученицы Евдокии. Вскоре близ новоявленной церкви появились кельи, и объявился пятый счетом мужской монастырь в уезде.

Начальное забылось, и скоро стали недоумевать горожане: почему это стольник князь Самойла Никитич Шайсупов, будучи у них воеводой, да и духовная декастерия разрешили стать-быть обители почти в центре главной торговой площади. Более приличествовало бы обжиться пристанищу чернецов где-нибудь за городской чертой в уединенном месте. И приходило на ум: знать, по велению стольного града Москвы указано место «царского богомолья».

Кабы тогда, при начале, загляд вперед… Пахотной земли у монастыря нет, ругой — денежным пособием[15] не награжден, единственный доход у братии — милостыня благочестивых вкладчиков да взимание мзды за хранение купеческих товаров в подклети церковной. Ну и добавляют отцу казначею в мошну доброхотные подаяния арзамасских и прочих базарников.

Два дня в неделю торг. Храпят и ржут лошади, скрип телег, звон и стук разной посуды, людское разноголосье, эти корыстные торговые страсти окатывают обитель с раннего-раннего утра.

Ко всему, у южной стены Введенского — бабий тряпичный развал. Какого носильного старья, всякой другой домовой мелочи тут нет! Грешен, засматривался иной раз Иоанн здесь на молодок: тряпичные куклы берут для малых детонек, а сами-то, самим-то впору садиться да играть.

Вот так-та-ак…В глазах-то девицы да молодицы. Ай, да монашенек…

Почасту простаивал Иоанн у низенькой монастырской ограды, смотрел на яривший торг, на шумных людей и все больше и больше смелел в мыслях, что следует надолго уйти из монастыря туда, где молитвенная тишина и где он будет далек от людских страстей. Потому и вспоминал о Старом Городище — славно там, никаких тебе лишних помышлений, никаких окаянных соблазнов.

Но подъемлет ли он тяжкий труд отшельника? Не выше ли труд этот его сил?!

Назойливо лезли в голову разные уклонения: уготовит себе разлуку с родителями. А как там с кормлей? Но поднималось в молодом монахе и другое: он же отрекся от родных, когда принимал постриг. И медведь страшится человека… А с брашным — деревни недалече. Что самой первой опаской: едва сокроется в пустыню, как следом явится лукавый со своими злокознями, соблазнять примется. Потому, как сказывают, многие и бывалые вроде бы монахи не возмогли перенести своего уединения.

Последней зимой Иоанн читал святого Исаака Сириянина об отшельничестве и безмолвии, задумывался над словами преподобного Иоанна Лествичника, который упреждал: «Горе единому в пустыне, если впадет в уныние, некому ободрить его».

Но Сергий-то Радонежский в юные лета преодолел начальный дух уныния, малодушия, не попустил страху одиночества…

В Саровы места душа наряжалась.

Из своих, введенских, звать с собой некого. Одни — стары, другие и помоложе, да в тепле монастырском пригрелись, обыкли в городу. Написал в Санаксарский Филарету, открылся: крест водружали вместе — крест ждет поклонения…

А в мир опять шла дружная, шумная весна.

Скоро на Воскресенской горе и площади тепло растворожило снег, поломало коросту затоптанного черного льда, избитого конскими подковами, изрезанного санными полозьями, по колеям побежали мутные ручьи в горнило осевшей Кузнечной башни — волокли за собой набухшее от воды ледяное крошево, ошметы

залежавшегося снега, сенные клочья, раскисший навоз и всякую прочую непотребную мелочь…

Ярче засияло белое железо и медь луковиц глав церквей, на синем небе посвежели белые стены Спасского монастыря, а в ближней Ореховской слободе ожили вездесущие крикливые воробьи, и так азартно купались в воздухе над городом веселые голуби.

В покое игумена всегдашняя тишина, устойчивый запах лампадного масла и свеч. Непокрытый стол, толстые книги в темных кожаных переплетах с медными застежками по обрезу, в углу большой киот с мерцанием окладов икон, приставленные скамьи для приходящей братии обтянуты давно вышорканным черным сукном. Пол у стола застлан валяным войлочным ковром с красной каймой и розанами по углам.

Тихон в свободный час услаждал себя чтением. Смолоду он читал и писал стоя за специальным столиком с наклонной столешницей, а теперь, когда старость ноги ослабила и глаза, занимался за столом. Читаемая книга лежала на крепкой деревянной же подставке.

Старик с треском перевернул прочитанную иссохшую страницу, опустил на нее тканую из цветных шерстей закладку и, оглядевши Иоанна, остался недоволен иноком.

— Ты чево пасмурен в такой-от день?! С какой докукой? А ить я ждал тебя, вижу, к ограде ты монастырской зачастил, а лучше бы на колоколенку — все подале… Провижу, что тебя снедает. Трудно молодость в себе умирять, ох, трудно… Но потому и долженствует духовный подвиг вершить именно смолоду. Ты ведь в пустынь опять похотел — померяться силами…

— В пустыню, святой отец. Я Филарету-единомысленнику в Санаксарский грамотку написал.

— В Саровы дебри…

— Туда, отче.

— Слышал я от санаксарских же. А что, баско там?

— Место украсное!

— Нуда, как же мир без красы… — игумен пожевал своими сморщенными стариковскими губами, — останемся мы тут одни, старые огарки. Без молоди догорать невесело…

— Есть же и в силах братья.

— Есть-то есть…

— Я Введенский не оставлю, — тихо признался Иоанн.

— Коли такой наметок — славно, порадовал! — Тихон вспомнил:

— Ты же пришел с просьбенным словом. Вот подсоха укрепит дорогу и благословлю — испытай себя, тяготы человека крепят.

Но прежде — не теперь, сходишь к Спасскому игумену: любит Афанасий наставлять молодых, слово его учительно. А теперь, оно бы мне самому дойти, попроведать Ивана Васильева Масленкова… Скажешь купчине, что заплошал, мол, игумен. Я и впрямь нутром маюсь, а Масленков несумнительный хлебосол…

— Знаю я Ивана Васильевича.

— Откуда тебе ведом?

— Батюшка дружество с ним водит — кожу скупает в Красном для Масленкова.

— Эвона-а… Ну, так тебе в приятство показаться знакомцу. Поди, отдышись от свечного духа!

— Что передать, с какой нуждой-то к купцу, — вставая со скамьи, спросил Иоанн.

— Передаст Иван Васильев кошелек от своих щедрот — давно сулил. Вчера через работника своево напомнил, что ждет. Тори, тори дорогу к богатым, сын мой, учись бить поклоны. Тебе со временем быти строителем в монастыре, так загодя обретай дружество, угадывай богатых вкладчиков, ублажай их словом простым, но и окормляй Божьим.

Иоанн поцеловал сухую жилистую руку Тихона и вышел из игуменского покоя.

… Масленковы жили за Спасским монастырем, на «низу», в приходе Рождества.

Купеческие деревянные хоромы поднимались на высоком подклете. Горниц, по-арзамасски «упокоев», в доме довольно.

Калитку открыл седой воротный сиделец. Увидел монаха, долго расспрашивать не стал.

— Дома наш кормилец, только немочью одержим.

Иван Васильевич лежал в покойце на высокой перине. Крепкое лицо его в ободье густой седоватой бороды резко выделялось на белом холсте большой подушки.

Купец узнал, приподнялся и сел, упершись спиной в высокую спинку кровати, обласкал темными живыми глазами.

— Садись на стул… Я тут заплошал, и что меня опять заподхватывало? Ноги стужены-перестужены смолоду, помню, в Саранск ездили с родителем весной — такая мокреть… Признал тебя, Ивашенька. Эк ты в плечах раздался, да и вытянулся зело. Тебе бы, как преж, на заставу богатырскую с мечом булатным. У меня предок охранял же проезжи ворота в Шатковских засеках — налетали татаровя, беспокоили ногайцы. Спасибо на посещении…

— Так, благо ходити в дом плача, нежели пира…

— Соломоновы слова помню! Но не клич плача, Иваша. Ужо оклемаюсь. Ты теперь Господу служишь — хвалю! Тем мы и живы на Руси, что много среди нас истовых богомольцев.

Благодарствуем черной братии — жить охотите. Как родитель, Федор Степанов, Аграфенушка как?

— Живы-здравы.

— Тебя Тихон послал?

— Тихон.

— Точию обещал я ему на будущий каменный храм. Уважь, принеси-ка укладку, левая ноженька-то у меня… Да вон она, в переднем углу, под крашениной…

Иоанн откинул цветную холстину, принес на постель окованный полосной медью сундучок со скошенным верхом.

Масленков откинул крышку, достал и подал увесистый кожаный кошелек, стянутый кожаным же шнурком.

— На-ка…

— Тянет руку… Спасибо, что попекся о нас, братье.

Иван Васильевич слабо улыбнулся.

— Не масли ты меня, монашек. Доживу, чай, до освящения храма, тогда спасибовать будет в пору.

— Летом кирпич обжигать начнем.

— Вот и славненько. Ступай, не держу. Кланяйся Тихону и заходи, приказую бывать!

6.

Пришел из Санаксарского Филарет, и Тихон благословил иноков на путь-дорогу.

… Вековечный сосновый бор, приречные чистовины праздновали очередную весну и начало благодатного лета. Это шумное зеленое празднество с веселым птичьим гомоном, эти нежные скромные первоцветы у речных протоков захватили Иоанна: ему двадцать два года, он полон молодых сил, весна чарует его и бодрит.

На первое время поставили лубочный шалаш поближе к источнику — он под горой, ближе к Сарове. Наложили на землю пахучих еловых лап, сверху смягчили их сухой прошлогодней травой — вот и есть логовище и от непогоды какое-никакое убежище.

Днями ронили лес для кельи.

Иоанн бодрил Филарета словом, а в себе-то пугался: не ушел бы инок, ибо скоро стал тих, внутренне беспокоен, нет-нет, да и выдавал себя то словом, то взглядом, то ленцой в работе. Смущается дух брата, растерялся молодешенек в лесу.

А Иоанну по-первости каждый день в радость. Он оценил,

принял ту свободу, которой не хватало для молодого в монастыре. В обители что: затхлая зимой стесненность кельи, твердый суточный распоряд во всем. Там постоянная оглядка на других, на старших, на келаря, на игумена. Горит вечером на столе свеча, и помни, что сальных свеч всегда в обрез. Одни только церковные службы не тяготили: с детства, с возрастной рани жила в нем любовь к Господу и служение Ему перед алтарем принималось вседневно праздничным.

… Во всем, что глазам внимательным открывается, что чуткие уши слышат, что быстрый ум и трепетная душа объемлет — во всем сущем Бог! На каждом шагу и здесь, в боровине, видел юный монах Промысел Всевышнего, Его чудное произволение. Что-то из этих проявлений Божиих, как и прежде, постигалось случайными приглядками, иное внезапным озарением, третье — долгими размышлениями о воочию видимом и о том сокрытом, что было несомненно главным, сокровенным.

Одно омрачало в лесу — комары. Как же они донимают!

Он и в этот раз не удержался, взобрался на сторожу — какой широкий огляд до самого окоема! И никакого прогалу в твердой щетине сосновых вершин. Что-то вдруг захотелось босичком пробежаться по той вершней щетине — вот бы славно! Ребячество, ей-ей!

Скоро заметил Иоанн переменчивость леса тут, на Старом Городище, где бор заметно прорежен — вот и они рубят себе на потребу… Безветрие, солнечно, и лес манит к себе, обволакивает, сладко дурманит голову запахом стволовой сахаристой смолки, душной пахучей теплынью прогретой хвои, жесткого брусничника и прелью лежалых колодин… Но вот дохнул откуда-то ветер, небо затянуло тучами, разом встревожился бор, разлохматились лозняки у Сатиса, потемнела, почужела боровина, и уже охватывает непонятная тревога.

А ночью у костерка все чудится, что кто-то большой, неповоротливый шевелится, натужно кряхтит в буреломах, неловко продирается сквозь чащу, идет на мягких лапах к людям и наконец, оказавшись рядом, совсем близко — тяжело дышит едва ли не в самый затылок… Страшно! Что у монахов заступой: только просьбенное слово к Богу. Топоры — рядом, но тот, кто так пугает из живой, мятущейся темноты, тот вовсе не боится острых лезвий. Путаются боязливые мысли, кто же там за спиной… Оглядка не концом ли, не последней ли минутой…

Нелегко стать лесным человеком, на это уходят годы. А пока вот — нежить или постыдное смятение души… Но мало ли россказней и про то, как тот же медведь валит, заламывает человека в лесных дебрях…

А Филарету едва ли не каждую ночь чудились разбойники. Иоанн, как мог, отводил этот страх: какая корысть лихим людям нападать на монахов, какую поживу найдут? Нет и нет, Филаретушка, разбойники фартовые пути-дороги сторожат да богатые усадья…

Угнетала Филарета и скудость брашная. Что было посытнее, языку милей, скоро съели: велики ли заплечные мешки! Пришло время, только сохлый хлеб да крупы в медном котле у монахов, а время-то мясоеда! Днем — тяжкая работа топорная, и вот кричит уставшее молодое тело ввечеру, скорбеет в истощении. И надо же, пора-то какая, пока ни ягод в лесу, ни грибов. И рыба еще клюет плохо. Вот только комарье с каждым днем лютей. Нажгут за день, за вечер так, что до полуночи скоблись пятерней.

Просыпался в поту и жажде Филарет — страх, какое-то грудное удушье захватывало, все чаще в мыслях гнало туда, на степной или луговой простор, к людям.

Настал день и час — походя, как-то легко, вызывно даже объявил инок, что уходит он в свой Санаксарский, что сие невозбранно, вольному — воля…

Невесело Иоанну. Впервые понял слышанное от Тихона, от старцев, что пустынножительство — это особый подвиг. Однажды и он склонился к мысли, что не снесет одиночества. И ругал себя: родитель навяливал денег, а он в пустой гордыне не взял. Какой однако чревоугодник Филарет. Кабы сытость, авось бы светлей ликом ходил…

Шли дни. Как-то с утра посеялся мелкий обложной дождь, они сидели в своем шалаше едва не промокшие, жалкие. Спасали заплечные мешки из грубой холстины. Первым Иоанн сложил свой куколем на голове и прикрыл спину. Нарочито бодро спросил:

— Раскиселился… Ты чево, друже?!

Филарет лениво потянулся за своим мешком. Тоже прикрыл голову и спину, нахохлился и не отозвался.

Иоанн видел, что сдал его подруг. Узкое лицо с молодой жиденькой бородкой похудело, заострился нос, и заметно выперли высокие скулы. И с каждым днем угасали у инока серые глаза — хлипким вышел на поверку!

Они сварили к вечеру кашу, дождь кончался, неторопливо хлебали ее из медного котла. Каша вышла невкусной: постное масло кончилось почти неделю назад.

Иоанн все еще пытался ободрить младшего собрата:

— Стезя наша — стезя терпения. Мужествуй крепко! Надо претерпеть тугу одиночества, голода и холода — все, что определено для человека. Не боле тово! Да какое одиночество!

Сказал же Иисус: где вас двое, трое, там и Я…

Филарет открыто пожалобился:

— Живот кричит! Родитель сказывал, что в здоровом теле обиталище здорового духа.

— Куда ж ты пойдешь?

— В Темников, в Санаксарский! И тебя зову. Угодничать Богу можно и в обительских стенах…

— Угодничать-то можно, а вот подвиг вершить. Вставай, брате, помолимся! Укрепляйся, говори «Отче наш». И подумай после, а завтра объявишь. Утро вечера мудренее.

Всю ночь опять стучал в берестяную крышу шалаша тихий дождь. Лес притих, ночь дышала тяжелой сыростью.

Филарет скоро уснул, а Иоанн все ворочался, — лезли в голову разные мысли: лес заготовили, игумен Тихон отпускных дней не оговорил. Идти обратно в Введенский не хочется, как он старцам покажется — подумают, осудят. — вот оно молодо-зелено… А что если с Филаретом в Санаксарский?

Давненько уж звали Иоанна дороги. Не худо бы походить по родной земле, по святым местам и обителям, приглядеться к монашеству, поклониться святыням православным, приять от мудрых мудрости… Этим и тешил себя до утра, а когда поели, сказал:

— Ну, воздохни — шагаем в Темников!

Уходили со Старого Городища тихими, пристыженными, с мыслями о своих слабостях: смалодушничали…

Филарет ушел, Иоанн навалил на вход в шалаш тяжелых сучьев, елового лапнику, прислонил толстую слегу, постоял, молча покаялся: «Господи, как же человек слаб и как жалок в своем естестве… Но я еще вернусь сюда!» — почти клятвенно сказал вслух Иоанн и начал спускаться к Сатису.

Филарет стоял с полным туесом воды.

— Вот, набрал…

— Ну, пойдем благословясь!

Им предстояло шагать тридцать пять верст.

… Санаксарский монастырь, объявившийся у тихой реки Мокши, открыли повелением Иоанна Грозного, как и Кадомский, как многие другие для крещения мордвы после третьего победоносного похода царя на Казань. Его чаще называли в народе Сенаксарским — рядом по летам зеленели обширные богатые луга, что приписали к обители.

Знавал Иоанн бедные арзамасские монастыри — свой, Введенский, «особный» Троицкий, но Санаксарский удивлял на каждом шагу видимой, неприглядной бедностью. Когда арзамасец пришел в него, у чернецов имелся один сносный кафтан, его

надевал тот, кто отправлялся в уездный городок по случившейся нужде. Службу в храме правили чаще в лаптях.

Подивил Иоанна и не очень-то обременительный общежительный устав обители. Однажды он сказал об этом игумену, тот погрозил пришельцу сухим перстом, упредил жесткой правдой:

— В чужой монастырь со своим уставом не ходи!

— Я смуту не затеваю, — поторопился успокоить старика Иоанн. — В смирении явился к вам…

Неожиданно в обители оказались книги, завещанные неким помещиком, и Иоанн много читал. Может, поэтому братия и выделила арзамасца. Внезапно умер иеромонах — лишились умудренного в церковной службе старца, и игумен решил отправить Иоанна в Москву на принятие священнического сана.

Кончалась Рождественская неделя 1692 года.

— Я, перво, к батюшке на глаза… Как раз оказия — обоз идет в Арзамас. Тулупа нет, и сапоги мои истоптались. А потом, сказывают, Москва денежку любит…

— Без денег везде человек худенек… Ладно, слетай в свою отчину. Эк, ты какой торопкой! Челобитье-то наше забери, вот. Не смять бы…

— У меня большая сума кожаная.

Игумен подал свернутую в трубку бумагу и тут же благословил на дальнюю дорогу.

Глава третья

1.

Фёдор Степанович, сухонький, легкий, проворно выскочил из-за стола, обнял и, едва Иоанн на иконы в красном углу перекрестился, едва снял с себя верхнюю одежину и теплые с печи валенки надернул, потащил сына за стол.

— Слава Богу-свету, поставил ты свою пяту на родные стогны. С дороги, с устатку согрейся с нами…

— А матушка где же?

— К родне пошла, попадья звала проведать. А мы вот тут с Нилушкой попустили себе малость…

Из-за стола поднялся пожилой грузный монах с широким красным лицом, черными, как смоль, волосами и громадной бородой с нитями первой седины. Иоанн помнил чернеца из Нижнего, рождением-то он из ближнего села Веригина, доводился отцу дальним родичем. Случалось, иногда встречались вот так, когда Нил оказывался на отчей земле.

… Над столом витали сладковатые воспарения крепкого вареного меда.

Иоанн охотно с дороги хлебал наваристые щи, признался, что послан Санаксарскими монахами в Москву для рукоположения в священнический сан.

Федор Степанович как-то разом засуетился: подливал щец, подкладывал сыну ломти ржаного хлеба, наложил упревшей в печи каши, с молоком торопился… Так же суетливо налил меду гостю и себе. От второй чарки Иоанн отказался.

— Эт-то, сыне мой… Эт-то опять же честью для нашева рода…

Нил выпил первым, басовито крякнул, вытер свои яркие губы полотенцем и, кинув короткий взгляд на Иоанна, скорей для себя сказал:

— По лбу широкому — видно, что умом ты, роденька, награжден, а по глазам светлым — чистотой душевной. Дерзай! — И с горечью признался: — А я вот такой облый многова не вместил. Знать, не всем дано…

Он подвинулся ближе к Иоанну, вскинул мясистую ладонь: — Но смотри — та-ам вашева брата видали. — Нил помолчал и ленивым сытым голосом начал пугать и хозяина дома, и его

сына. — Упреждаю! Ты, Федор, собери рубликов на протори. Сказывали, что иные архиреи московские нескоро на белое крыльцо дома свово пускают священства ищущих.

— Так ведь и недостойные осаждают, не без тово! — бойко заслонил словами сына Федор Степанович. — Дают те архиреи кой-кому опамятоваться и вострить лыжи назад…

— Бывает, бывает, притязают и не навыкшие служить в храме. И время у владык крадут попусту — я о другом. — Нил запокашливал, что-то огурец соленый не пошел. — Виновна самохотная и дерзостная подручная архирейская — это она увесистых гостинцев ждет. А иному беззаступному священнику добиться тово же перевода из одново прихода в другой — да за это митрополичья челядь однова разу пятнадцать рублев просила! Тут, из Лукояновской округи жалобился мне поп: в Москве он тоской был снедаем несколько недель, прежде чем переход-то в другое село разрешили. Стенал: жена и дети без нево в скудости пропитания искали во дворах селян — во как!

Федор Степанович вздыхал, глядел куда-то в окно — там, в улице, кружили белые веселые завихри поднявшейся метели. Сказал с надеждой:

— Ништо! Мой сын церковную службу знает, хоть сейчас править ее готов. Да и в мирском слове навычен — не робок!

— Ну, тогда-а… — развел руками Нил. — Сем-ка налей, аз бывальщину скажу, во Флорищевой пустыни слышал. Тамошнева основателя Илариона в иеромонахи посвящал сам патриарх Никон,[16] это вроде в прошлом пятьдесят четвертом году. Он, Никон, горденек, исполнен был царского величия… Самолично испытывал каждова, кто искал священства. А надо сказать, патриарх повелевал, чтоб искатель грамоте умел, смирением отличался и церковному правилу искусен был, и от божественных книг сказителен. Ну вот явился Иларион на высокие очи — Никон заставил его прочитать из Евангелия и, когда тот стал чести мерно, учительно, в меру громогласно… Слово Божие из уст его потекло аки река пресладкая… Никон умилился и якобы сказал: сей инок есть отрасль от благова кореня и ветвь от благоплодного древа… Посвятил патриарх в сан достойного искателя, после Иларион Флорищеву пустынь высоко поднял, был в высокой чести у царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича, митрополитом Суждальским игумена вознесли…

Рано смеркалось. Федор Степанович с Нилом засобирались посидеть у шабров, а Иоанн пошел в хлев задать сенца скотине. Уставший за дорогу, спать лег рано.

На полатях, на овчине тепло, разморно. Вспомнилось давнее — тихие игры на этих вот полатях зимними днями, материнские

сказки и всякое бывалошное… Взбудоражили слова Нила об архирейской челяди, и потому вдруг защемила тоска: а как замнется он там, в Москве, перед владыкой, как начнет путаться в ответах на вопрошения, окажет себя незнаем. Рассердится архирей, и как возвращаться ему в Санаксарский…

Но тут спасительно вспомнил про чудное видение — он уже привычно вспоминал его в очередной трудный час, в минуты смятения и внезапной растерянности… Сошла мать Пресвятая Богородица с небес, стояла на воздухе, а потом медленно, легко нисходила вниз и призывала его к себе, к храму!

Медленно, в полусне сладком, повторил монах чуден глас второго видения, глас горний: «Время тебе о душе, время тебе обращения и исполнения твоего обещания… Господь во всем благом будет тебе помощник…»

И тотчас стало спокойно, и сон скоро смежил его веки.

… Бумага игумена Арзамасского Спасского мужского монастыря к архимандриту Новоспасского монастыря в Москве скоро все начальное управила: бытовать Иоанна определили тут же в Московском — в братском корпусе имелось несколько свободных келий для прибылых монахов.

Основанный в XIII веке в Московском Кремле как женский, после 1462 года — в год избавления от татар при Иване III, монастырь стал мужским и перенесен с Кремлевского бору на Таганку. С этого времени он и стал называться Новоспасским. С конца XV века — усыпальница родственников царского дома.

У Арзамасского Спасского и московского давние добрые связи. Новоспасский надзирал за собратом на мордовской земле. В Москве получили арзамасцы план каменного собора, а в минувшем 1638 году старец Ипполит — резных дел мастер из Новоспасского, изготовил иконостас для монастырского храма в Арзамасе, связывало обители и то, что арзамасская церковная десятина входила в состав Патриаршей области с появления первого патриарха Иова в 1589 году по 1700 включительно. Более того, арзамасского игумена Иону в 1638 году взяли управлять московским Новоспасским.

На первые два-три дня к Иоанну приставили молодого монаха Сергия. Тот сразу успокоил:

— Отдохни с дороги. А после повожу тебя по святым местам, попадешь ли еще когда в Москву! Рукоположение будет в самом конце января, а то и в начале февраля, не раньше. Что глазами-то опал, не бойся, своих патриарших тут долго не держат, расспросы коротки, так, обще…

В первый день, когда Сергий по первопрестольной водил, Иоанн едва успевал голову поворачивать по сторонам: все-то в

интерес, в диковинку, все в похвалу и сколь много древних святынь в Кремле! Далее Иоанн ходил уже один по Москве, без поводыря и толмача, ходил неспешно и все-то ахал и восхищался: чем только не овладел, чего только не достиг русский человек и в украшении града своего!

Вечерами в келейку заглядывал тот же Сергий и готов был похваляться всем московским хоть до утра. Говорил он громко, запальчиво, даже и с радостным захлебом, махал руками.

— Да наш, Новоспасский… Но я из началу… Три монастыря в Москве знаменуют свержение ига татарсково: Симонов — позорище Мамая после Куликовского побоища, Крутицкий — упадок орды, а наш, Новоспасский, — полное уж освобождение от татаровя. А святыней у нас нерукотворенный образ Спаса Хлыновского, передан в 1647 году из Вятки…

— Я сразу-то не поспрошал… — Иоанну в долгие зимние вечера не хотелось расставаться со словоохотливым Сергием. — На основании столпов-то паперти собора кто же изображены, непохоже что православные, не иконные лики…

— А-а! — Сергий закивал головой. — Про этих спрос частый — мужи греческой земли: Омир, Орфей и Платон-любомудр.

— Как же они сюда попали? — удивился Иоанн.

— Жили до рождения Христова, большую память о себе оставили. Тут так… Наши деды, что собор созидали, выразили сим, что вся мудрость языческая не восходила выше нижних ступеней христианского храма!

— Вона что-о… Гордо мыслили наши предки!

Монах не торопился уходить, еще и еще напоминал:

— Ты осмотри завтра гробницы собора — там родословие Романовых. Там покоится великая инокиня Марфа — посестрия патриарха Филарета. Что ты так на меня воззрился? Посестрия — бывшая супруга боярина Федора Никитича Романова, родителя царя Михаила.[17] Царь Алексей Михайлович добре прилежал к собору. Что еще… Попытай попасть в патриаршу ризницу. Что в ней драгоценного пребывает, и исчислить невозможно: книги древние, что Никон собирал, облачения, утварь патриархов, кресты дивно украшенные, а саккос, что принес митрополит Фотий из Царьграда, унизан семьюдесятью тысячами жемчужных зерен — диво, чудо вселенское!

Митрополит Сарский и Подонский Евфимий внимательно и строго посмотрел на Иоанна и коротким взмахом руки оправил свою ухоженную бороду.

— Давно в монашестве?

— На девятнадцатом году постригся, ваше преосвященство. Теперь мне двадцать два.

— Пишет братия Санаксарского в челобитной о твоем монашеском достоинстве — вельми похвально. Просят рукоположить во священники…

— Тако, ваше преосвященство.

— Так ты арзамасец, нашей патриаршей десятины…

— Подгороднева села Краснова уроженец. Родитель, дедове, дядя — все в храме служащие.

— Порядок службы церковной знаешь, грамотен?

— Читать отрочем начал, довольно навычен. А вседневные службы с мальства затверживал, частенько за родителя чтецом в церкви Рождества.

— Похвально! А скажи-ка слово об обеднице?

— Её в иные дни вместо литургии отправляют. Кроме часов, читается псалом сто второй и сто сороковой и «Единородный Сыне, блаженны…»

— Из Катехизиса — что есть священство?

— Священство есть Таинство, в котором дух Святой правильно избранного, через рукоположение Святительское, поставляет совершать Таинства и пасти стадо Христово.

— Вот ты мних… Нут-ка, за что чтим святого подвижника Савватия? Что показует тебе его земная жизнь?

— Во времена Василия Темного подвизался Савватий, кончил дни своя по следованной Псалтири в деревне Сороке, а год-от шел шестьдесят второй… Поставил в лопи дикой на Соловецком острову обитель, да захирела после она. Но восстановил ее святой Зосима…

— Добре так! И еще испитую! Почему установлен праздник трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустова, ведаешь ли?

— Читал предание. Распрю, мирские споры о том, кто из этих святителей боголюбезнее, погасили сами святые. Явились они к Иоанну епископу Евхаитскому и сказавше: «Мы имеем одно достоинство перед Господом».

— Э, брат, да ты книжен, насыщен, высоце глаголал! А теперь перейдем к должности священнической…

Евфимий спрашивал-таки долгонько, Иоанн уж кой-где и сбиваться в слове начал. А митрополит хотел продлить свое удовольствие, слушая, как умно говорит этот молодой монах.

— Более чем довольно! Скажи от меня родителю и дяде благодарность за научение. Поболе бы нам таких выученников. Грамоту тебе о священстве справят скоро, сам тут потороплю. Буди на тебе Божия милость!

Иоанн подошел под благословение, степенно поцеловал руку святителю.

… Подписал грамоту арзамасцу Патриарх Московский и всея Руси Адриан, что после и еще окажет добрые знаки внимания Саровскому пустыннику.

Радостным вышел с Патриаршего двора Иоанн, вышел иеромонахом — черным священником.

В Москве пустынно, вьюжило, на перекрестках улиц и бесчисленных переулков выплясывали белые снежные круговерти.

Было 2 февраля 1692 года.

2.

Снова потянули ветра южные, опять солнце яро снега топило — пришла весна-красна мир Божий украсить, а людям дать хлеб насущный посеяти.

И опять душа Иоанна потянулась на Старое Городище: монах, оказывается, оставил в боровине что-то от себя в прошлое пребывание, и то, оставленное, жило там на облюбованной горушке и вот настойчиво звало к себе.

Всех в Санаксарском знал, всех поспрошал не раз, но ни един не отозвался из братии разделить пустыннические труды с ним — откуда такая боязнь? Неужто все так пригрелись в этом маленьком убогом монастырьке?

Братия Санаксарского жила скудно, на мирские подаяния. Старость, она не радость: руки, что крюки стали, где уж земельку ворочать! Как и в арзамасском Введенском, чернецы темниковского надеялись, что молодой иеромонах станет опорой обители, и быть бы ему игуменом, да вишь взыскует подвигов духовных — как такого держать, пусть дерзает во славу православного монашества!

Перед уходом Иоанн одним только и утешался, что свято место пусто не бывает: сыщут себе санаксарцы черного священника.

Нужен собрат для пустыни! Мало ли что, вдруг хвороба напастью повалит, и кто ковш воды подаст, кто обогреет огоньком камелька, кто добрым словом смятенную душу поддержит.

… Одни из монахов упрашивали остаться, другие отрешенно помалкивали, третьи — хожалые-бывалые, вроде осудительное шептали. Уже перед самым уходом в задворье монастыря под шумными весенними березами, запахиваясь в ветхий армяк, седой, сильно исхудавший за долгий предпасхальный пост старик как бы нечаянно вспомнил:

— Еще Стоглавый Собор, а потом и соборы последних годех

вразумляли: прячутся-де в лесах иные монаси своекорыстно, чтобы приять летучу славу подвижника. Таковая слава, она ведь впрок — хлебная! Посидит, посидит пустынник, обретет о себе известие в народе и вот начинает скитаться по градам и весям и безбедное пропитание имеет от набожных человецей…

Иоанн понял намек. Не смутился, ответил прямо:

— Этова не ищу. Других не сужу… А о себе… Я лишним ртом у родителей не был, когда молодешенек постригся. И не ради славы, а из любви к Господу. Прилепился, видно, к Сарову, в пустыни и впредь себя вижу…

— Прости ты нас, Иоанн! — старец бесперечь вытирал слезящиеся на ветру глаза. — Я тебя не стужаю и не стыжу. Братия наша — простецы сущи. А дурное слово прилипчиво, вот кой-кто и шептует о тебе зрятину. Подаде тебе Всевышний! Иди на духовный подвиг, пока молод. Исполать тебе!

Каждому из монастырских поклонился поясно, поспасибовал за братский приют, пожелал всем здравия… котомку за плечи, дубец в молодые крепкие руки и айда версты считать.

Иоанн возвращался в Арзамас…

На голове поношенный гречушник — продувно еще в скуфье, рыженький пошорканный армяк, новые лапотки своего плетения — легко дышится на воле, легко шагается молодому.

Зашел на Старое Городище, ночь провел в своем шалаше. После показался мельнику Онисиму, мельничиха налила своего квасу в бурачок.

Мужики еще пахали кой-где, следом за сохой по черному взъему земли вышагивали зоркие черные птицы. А небо с высоты звенело жаворонками. Иоанн вскидывал голову — где они там, певуны родные?

Кажется, со всех сторон бела света неслось веселое:

— Тюр-ли! Тир-лю-лю! Тир-лю-ю…

А в придорожных кустах, будто и не слыша жаворонков, тонко тенькали беспечные пеночки…

Благодатью земной была полна грудь, и Иоанн опробовал голос, запел духовный псалом:

Бодрствуй духом да крепися
Сердце верой к небеси,
Что понесть тебе случится,
Все с терпением неси.
Будь уверен в той надежде:
Кто понес крест тяжкий прежде,
Тот и твой крест понесет,
Он управит и спасет…

Арзамас открылся вёрст за шесть в лёгкой голубой дымке. Эта весенняя дымка, это завораживающее марево казалось издали лёгким водным поясом, и так чётко сверху обрезалось оно густой синевой крепостных стен города с его приземистыми островерхими башнями. Ближе той неспокойной, какой-то текучей над землёй дымки узким парусом высоко белела каменная шатровая колокольня Смоленской церкви Выездной слободы.

Ах, казачья Выездная слобода… Поселена ты прежде велением Иоанна Грозного для охраны новой русской крепости на восточных рубежах России. Пятьсот донцов да арзамасские стрельцы с пушками и затинными пищалями — так и не дерзнули степняки на осаду новоявленного города. А в недавних годах, как родитель сказывал, царь Михаил Федорович пожаловал укрепившихся на земле казачков в вотчину боярину Борису Салтыкову за верную его службу противу польских, литовских и немецких людей. И вот теперь уж не казаки в слободе, а мужички подъяремные. И судит-рядит их не царь, а ненавистный псарь… Казацкие сердца еще не усмирены. Потому-то в воинстве удалого Степана Разина и появилась монахиня из Выездной, Алена прозванием. Крепко билась она с царевыми стрельцами в мордовских гранях, тысяч шесть у нее мужиков под началом… Но выдали после боя Алену со товарищи князю Юрию Алексеевичу Долгорукому, и пожег он Аленушку в срубе, яко еретицу, что лечила раненых кореньями и заговорами. В Темникове лютую смерть приняла Алена — много о ней сказывали Иоанну в Санаксарском монастыре.

Свернул на узкую проселочную дорогу в Красное. Она угадывалась по знакомой колокольне.

Как же хорошо в родном дому, как славно, что он есть в миру! Три косящих окошка на теплой лицевой стене, слюдяные вставки промыты недавним дождем, за прутяным плетешком ярко поблескивает листва сирени — расцвела, голубушка… Чтой-то преж не замечал, что дом-от уже с поклоном в улицу. И крыша из драни потрескалась и задралась местами — стареет родитель, не за всем уже успевает. Скорей бы подрастал меньшой братец!

Уж как Агафья была рада своему «детоньке». Молодо сновала между печью и столом — угощала лучше гостя званого, и все-то в глаза «большаку» заглядывала, нет ли в них чего пугающего, недоброго, мила ли ему жизнь монастырская? Кстати вспомнила: ныне в сане священника, поднялся над монахами, поди-ка, полегчало во всем…

Привычно пошел на колокольню звонить к вечерне. Легко зашел на верх. Колокола признали знакомым тихим погудом. А над колокольней чистая весенняя синь неба, царственно плывут белые облака туда, к темниковским лесам, и зовут, зовут ввысь. Иоанн удивился тому, что вот и теперь жива в нем тяга в эту теплую, ласковую голубизну.

Родитель, открыто гордый за своего сына, не знал, как и чем угодить ему. Одарил новыми, хорошо смазанными дегтем сапогами, загодя уложил в котомку заплечную баранью безрукавку, крытую легким сукном. Иоанн, было, воспротивился, но отец как отрезал: служи Богу здоровым, батюшка… А ежели в хворях, в неможах — какой ты служитель!

В Арзамасе, в Введенском, игумен Тихон обрадовался своему любимцу:

— Миленушко! Да ты совсем возмужал! То было лицо отроча, босое, а ныне уж и усы, борода густо пробилась — мужание зрим! И уж ты теперь в священстве — вельми рад сему. Много ли нудил митрополит перед посвящением?

— Да не-ет… Прочел я из Служебника — чтение мое испытал, а после та-ак… Спросил о заповедях Христовых с толкованием, по памяти сказал я из литургии Иоанна Златоуста — подивился тут архирей. А я говорю без запинки, с мальства же в церкви… Похвалил. Так что никакой мне проволочки с патриаршей грамотой на служение.

— Славно, славно, миленушко!

Тихон потирал свои старые зябнущие руки и спросил, спросил с грустью, заранее зная ответ любимца.

— Теперь куда свои ноженьки направишь? Отойдешь от нас…

— В Саров, святый отче… Разреши поговорить с Палладием. Может, похочет со мной в пустыню?

— Не хитро дело — отпустить. Ты же видел: храм выкладывать начали, молодые-то руки на-адобны! Хотя… От мирян отбою нет: многие идут свой кирпич положить.

— Так я тож свои кирпичи положу!

Седьмицу отработал Иоанн на возведении церкви. Только разохотился, только размялся, а тут Тихон с укором:

— Иди-ка ты в Спасский, мы ж все монахи под началом Спасскова. Игумен-то ждет, сведал, что ты в городу. Он, Афанасий, до всяких вестей уж больно охоч, ты не где-то, а в первопрестольной побывал…

Точно, игумен больше спрашивал о московских новостях.

— Что юный царь Пётр Алексеевич?

— Сказывают, из конюхов и прочих потешное воинство завел. Немцы — офицерами.

— А царевна?

— Софья Алексеевна в явной опале. Шакловитый казнен. Сильвестр Медведев, дружок-то его, соумышленник, пал. Кинулся было в Польшу, да схвачен и расстрижен.

— Ево-то в чем же обвинили?

— Во многих винах открыт. Правительница Софья Алексеевна будто бы склонялась выйти замуж за Василия Голицына — любимца своево, а Сильвестра метила возвести в Патриархи, он же ее доверенным был. Оказалось и другое: черниговский мастер Тарасевич отпечатал парсуну — Софья Алексеевна на той парсуне в короне с державою и скипетром изображена, титул ее дан, а внизу листа помещались вирши Медведева: хвалены милости Софьи, ставилась она в ряд древних цариц…

— Эвона что-о… Это ж на престол прямое притязание!

— И то еще Сильвестру в вину вменили: ересь латинскую. Он же написал, что пресуществление совершается при произнесении слов Христа «примите, ядите», с чем патриарх Иоаким не согласился и обвинил ево в ереси «хлебопоклонной»…

Афанасий, до этого сидевший, чуть не вскочил со стула.

— Скажи, как навалились… — игумен быстро заходил по своему покою. — Как явится в Москву ученый киевлянин, так и норовит хоть что-нибудь от латинства нам навязать. Вот и выходит: ученость не по разуму!

— Об этом я там, в Москве, наслышался. Царевна тому же Медведеву повелевала открыть в Москве славяно-греко-латинскую академию…

— Не знаю, не знаю… Греки — униаты. Ныне уж не те греки. Латинством попорчены… Кабы нам в чужие сети накрепко не попасть… — Игумен тяжело вздохнул, опять опустился на стул за рабочим столом.

Наконец Иоанн заговорил и о своем:

— Межень настала — сухи дороги. В пустынь душа просится. Единомысленник мне нужен. А потом и другие руки. Келью ставить, как без подсобника!

— А ведь я тебе, одначе, помогу, — готовно откликнулся Афанасий. — Дам бельца — Андреем кличут, недавно прибился к нам. Пусть-ка укрепится топором. Сейчас с ним поговоришь?

— Тороплюсь к Ивану Масленкову. Я завтра к вам…

— С Масленковым не порывай. Доброхотством таких людей многие живы. Иди, не держу!

3.

Проезжий рукав Рождественской улицы «на низу» укреплен деревянной гатью, засыпан крошевом мелкого камня и песком, хорошо пешими и конными притоптан, так что даже и в самые слякотные дни иди в лапотках без всякой опаски.

Ивана Васильевича застал в ограде — купчина ждал, когда конюший запряжет каурого конька в легкую тележку. Увидев вошедшего монаха в скуфье, в длиннополой черной рясе с кожаным ремнем и в смазных сапогах, широко пошел навстречу, обхватил руками и замкнул их на спине. Легонько потряс гостя, отступил малость и почтительно склонил голову.

— Ожидал тебя из белокаменной священнослужителем…

— Аз есмь черный поп!

— Тогда благослови, отче!

Иоанн, насупив прямые брови, благословил.

Масленков сиял своим смугловатым лицом.

— Вот уж и чин в двадцать два года… Хорошо, друже, пошел. Родители, небось, рады-радешеньки. Особливо дядя Михаил, это ж он научал тебя в храме и по книгам… Всем мой поклон. Слушай, садись-ка в тележку, я тебя, кажется, не катал по городу. А после, свята душа, посидим, друг на друга поглядим…

Кучера пытливый купец не взял с умыслом: едва съехали со двора, начал спрашивать о Москве, как там да что.

— Шумит Москва, бахвалится! Слезам мирским не верит, а слезы льются.

— Стрелецких матерей и жен! — едва не крикнул догадливый Иван Васильевич.

— Так-так! Царевну Софью на запор в Девичий монастырь… На троне теперь два брата Иван да Пётр — трон у них двойной.

— Гли-ка!

Каурый конек вынес на Мостовую улицу, что продолжалась за городом уже большой Саратовской дорогой.

— Далеко ли ты меня помчал, муж честен? Не на страшное ли место. Никогда тут не бывал.

— На Ивановских буграх… А мы тут еще ребятишками все облазили. Да, в честь Ивана Грозного: донеслось и до нас, что шатер его тут стоял, когда на Казань шел с войском. Тешу переходили, как же! Ночлежничали, а заутра разговор с мордвой о построе крепости… Да, было-было да быльем поросло. Везу тебя к сыночку на мельницу — откупил у города на годок ветрянку для пробы. Наведать вот захотелось чадо — молодешенек совсем.

За мосточком через Шамку Масленков намеренно остановил нетерпеливого конька: хотелось с глазу на глаз тут, на луговом просторе, еще поспрошать монаха.

— Про Ивана-то царевича наслышаны — недалек головой,

тих, а как Петро…

Иоанн охотно говорил: сторонних-то нет.

— Сказывал мне Московского Новоспасского монах же… Немецкая слобода завертела юнова государя. Добра от немцев ждать неча — не по своей охоте, за сребрецо, за злато к нам понаехали и царя к себе залучают не из единой любезности. Монах сказывал: всякий сброд в этой Немецкой, а у нас все они в чинах, все у хлебных мест. Ворчат бояре… Уж теперь, в юношестве, государь на все наше косится, а как заматереет… Так и шепчутся по Москве: новая метла учнет так махать, что многие взвоют. А сейчас Пётр Алексеевич на Плещеевом озере нептуновым потехам предается… Да и я не знал! Нептуновые — это на корабле всякие там службы и плавания…

Иван Васильевич, как бы в забытье, перебирал вожжи, хмурился.

— У царей размахи широки. Кабы эти потехи Петровы до нашева купецкова кармана не дотянулись. А как разойдется, распотешится царь не на шутку… Не слыхал, в Москве велик ли спрос на кожу?

— В Китай-городе кожевенный товар только давай. Теперь у нас солдаты вместо стрельцов — большают цены на ходовое.

— Это — ладно! Ну, покатим дале?

Дорога стала подниматься по скату Ивановских бугров. Налево открылись убогие домишки Бутырок, а справа, за обширной луговиной, по темной осоке угадывалась Теша. На бровке бугров, опять же на правой руке — лениво махали крыльями семь или восемь ветряных мельниц.

Купец недолго толковал с сыном, велел работнику при мельнице положить в тележку мешок муки.

— Уж коли ты тут впервой — пройдемся малость — о бывалошном скажу. Вон там, за рощей березовой — село Ивановское, вотчина нашева Спасскова монастыря. Мужики село в память о Грозном назвали…

Медленно прошли на самый мыс бугров, что обрезался с крутым спадом к реке. Отсюда, с высоты, хорошо просматривалась Теша, слева за нею Выездная слобода, а далее мягко синела Высокая гора, левее ее чуть-чуть угадывалось Красное…

Тут, на сухом голом мысу, на ямистом скате к городу, Масленков и обратил внимание своего приятеля:

— Видишь, какая тут красная глина?

— И что?

— Конешно, выдумки нам, ребятне, говорили… Оттово она красная, что тут много разинцев в недавнем семидесятом

казнили. Много, много пролилось мужицкой кровушки… Я уж женатым ходил. В октябре-ноябре — осень долго сухой стояла. Страшно было смотреть: сажали на колья, вешали буйны головушки, рубили — дымилась от крови земля…

Они вернулись к мельнице тихие, молча. Иоанн едва и верил, что окрест Арзамаса полегло едва ли не десять-одиннадцать тысяч разинцев. И вымолвить страшно…

Каурый застоялся, Иван Васильевич сильно хлестнул его вожжой, конек мелко задрожал чуткой кожей и от обиды пустился крупной рысью по накатанной дороге вниз к городу.

— Ходи-и, голуба-а… — любовался своим любимцем Масленков, радостными глазами поглядывая на Иоанна. — Как идет?

— Борзо-о-о!

Дома в верхнем покое хозяина стол уже уставили холодными закусками, на скатерти стояли две бутылки с цветными плодовыми водками. День был не мясопустный, и после комнатная девка внесла в ставце бараний бок с кашей.

От медного рукомоя сразу перешли к столу.

— Давай, батюшка! — весело шумел купчина. — Чару пити — здраву быти.

В меру выпили и закусили, во время сказали друг другу всякие приятности.

Иван Васильевич жалковал:

— Родителя твоего, Федора Степановича, нет за столом — давно с ним не сиживал. Передай просьбицу: пусть не забывает, заглядывает. Нет уж нет, рано тебе восвояси. Погоди, я тебя сейчас мирским словом окачу, — плутовато сверкнул своими черными глазами Масленков и хитро вскинул левую бровь. — Увеселись на минутку.

— Твои байки ведомы — зубоскальство площадное!

— Опять укоризна. А хоша бы и так! Отчево не посмеяться над слабостями человечьими. Вот послушай-ка о барской спеси. Я тут одному дворянчику служилому рассказал, так он губы надул, как тот Федул…

— Ну-ну, а то сидят-сидят, да и ходят…

Купец хохотнул.

— От меня скоро не уходят! Ладно… Шествует одинова разу некий господин-сковородин по скорбному месту со слугой и видит несколько черепьев у ветхих могил. Родительские-то места у нас возле церквей — теснота на погостах, нет-нет, да и разрываются древние могилы. Дворянчик молодой скудоумен, научает деревенсково своево служку: «Гляди, Федорка, чем разнятся эти черепа: эти вот дворянские — кость бела, а черные

— мужичьи». Отмолчался слуга. Вдругорядь в Семик случилось им быть возле убогих домов — увидели они белых черепов куда более, нежели черных. Федорка тут и приступил с расспросами: ваше благородие, у Божьих домиков хоронях тех, кто не своей смертью жизнь кончал — бездомных, кто руки на себя наложил, утопших… Так что, это все дворянские головы, белая кость?! Отмолчался барин, только зубами скрипнул. Глянул на слугу, а тот стоит и ржет в кулак… И подзатыльник ему дать рука не поднимается… Вот такая молвка!

— Притча мудрость показует…

— А ты, поп, слушать не хотел! — ухмылялся Иван Васильевич. Прощались. Чуть не силком Масленков заставил принять кошелек с деньгами. Говорил тепло:

— Я ведь не простец, не сорю деньгой. Просто доволю душеньку добрым делом. Ты сказывал, что рядом с пустынью село Кременки — сгодится на прокорм моя дача. А мука в тележке — это родителю с поклоном от меня. Пусть Агафьюшка ублажает Федора Степановича блинками да оладушками. Я наказал работнику — заедет сейчас с тобою в Спасский, заберешь, как говорил, тово бельца и покатите до Красного.

Масленков открыл створку окна, оглядел широкий двор, крикнул:

— Григорий, к выезду!

И к Иоанну:

— Ты теперь у нас поп глазами не хлоп… Иногда и на лошадке прокатиться не грех. Ну, не постави, Господи, рабу твоему Иоанну во грех чарку водочки! Будь здоров, друже!

4.

Так забилось сердце, так возрадовался, когда опять увидел на Старом Городище высоко вознесенный крест. «Он-то меня и звал сюда», — догадливо уверял себя Иоанн.

Скоро поправили осевший шалаш и начали валить сосны — прошлогодней заготовки на сруб, как прикинули, оказалось маловато.

Раскопали земельку близ Сатиса и посадили маленький огородик — мельничиха помогла семенами и разными добрыми наставлениями.

За хлебом и прочим ходил в Кременки и ближние деревни Андрей. Однажды, взяв деньги и заплечный мешок, ушел белец и назад не вернулся. В тревоге Иоанн обошел все ближние поселья

— никто Андрея не видел. С оказией послал запросы в Санаксарский, в Арзамасский Спасский монастыри — нет, и там не объявлялся послушник, как в воду канул! Ну, как жив где — Бог с ним! А как нет… Ой, не хотелось и думать, что безвестно сгинул подросток — сам всегда напрашивался ходить в мир, бывать на людях…

Погоревал Иоанн, но твердо решил обживать пустыню. Начал читать жития святых — древних пустынников. Книги звали к размышлению — задумывался даже и о смерти. Более того, стал готовиться к ней. И, поднимая в душе плач и о грехах человечьих, принялся копать в горе пещеру, как символ своего гроба. Так поступали все отшельники в далеком и недавнем прошлом.

Человек помышляет, а Бог сотворяет. Ободрил Всевышний молодого иеромонаха. Однажды, когда уснул в зеленой куще, увидел сон.

… Стоит он близ Киева около Печерского монастыря Преподобных Антония и Феодосия на какой-то чудной поляне, окруженной славным лесом. Стоит не один, толпятся тут незнакомые, и все ждут прихода кого-то. Вдруг слышит Иоанн переговор людской: архирей Иларион грядет! Все обратились к востоку и увидели архирея в мантии с жезлом. Окружили его монахи и бельцы. Подошел Иларион к Иоанну и благословил его. Принял благословение молодой пустынник — умирился душой и проснулся в радости.

А после засомневался: тот ли Иларион ему приснился, что выкопал около Киева первую пещеру в две сажени, в которой после, по прибытию с Афонской горы, поселился преподобный Антоний. Так был ли тот Иларион архиереем?

Раскрыл книгу — во-от, был Иларион митрополитом в Киеве!

Еще усердней Иоанн копал пещеру — помнил, кто благословил его на этот труд, полный для монаха особого сокровенного смысла.

В эти трудные дни явился на Старое Городище Палладий из Введенского.

… Поднялся из подгорья, встал на зеленой травушке тоненьким черным столбиком — молодое лицо потное с дороги, но веселое.

— Палладьюшко, подруг, да ты ли это?!

— Я есмь…

Палладий подошел, перевел дух, присел на деревянный чурак.

— Так и есть, совесть зазрила. Да, стыдоба меня доняла, не отозвался я на зов твой. Все из Введенского кланяются тебе. А Тихон вот просфору прислал да рублевый ефимок на

прокормление.

— Вот спасибо игумену — заботник, что отец родной!

Пообедали у костра. Иоанн отослал Палладия в шалаш.

— Отдышись, поспи на хвойке, а уж завтра я тебя в работы — лес для кельи роню. Ну-ну! Двоим-то способней…

… Зима укладывалась большими снегами. Оцепенела таежная глухомань, и такая наступила тишина, что и сомнение иной раз брало: да есть ли где тот шумный человеческий мир. Безмолвие, часом, подавляло настолько, что они начинали говорить вполголоса, какой-либо крик казался немыслимым, монахи боялись его.

Почти целые дни сидели в пещерке, что выкопал Иоанн, и мучились от тесноты — не повернешься! Иоанну стало жаль Палладия, да и себя тоже. Однажды предложил:

— Ближе к нам Санаксарский в Темникове. Но там от бедности братия не всегда спокойна, грехами нам с тобой обрастать по той причине не след. Пойдем, подруг, во Флорищеву, давно мне в интерес.

Палладий готов был шагать куда угодно, абы к людям. Отозвался чуть ли не криком:

— Наслышан я о Флорищевой лестнова — пойдем!

… Обитель укрывалась в глубине вековых лесов Гороховецкого уезда владимирских пределов.

О Флорищевой Иоанн сведал давно от Нила, что бывал почти ежегодно в родительском доме. Обитель стала известной, когда обрела чудотворную икону Успения Божией Матери с частицею мошей архидьякона Стефана — первого христианского мученика за Христа, одного из семидесяти апостолов. А к тому храм Флорищевой монахи освятили и образом Владимирской Божией Матери, особо чтимой русскими людьми.

От Гороховца отшагали тридцать четыре версты. Шли мрачными хвойными лесами. Вековые сосны и ели подступали к самой дороге, стряхивали на путников снежную искристую пыль. Иоанн то и дело бодрил Палладия: зима — медведи в спячке, а лоси пугливы, обходят человека. Кто еще — волки, но волки в таких местах не водятся, какая им тут пожива?! Забудь и про лихих людей, по зимам они в такую таежину не торопятся. Шагай, шагай!!

Едва-едва добрели до монастыря.

Переночевали, помолились, поклонились святыням благолепного храма, а потом, после трапезы, сидели в келье у келаря, и тот, среди прочего, припомнил то, что сильно взволновало Иоанна:

— Старец Мефодий первым поселился тут, на берегу Духа. Был он свят житием и потому слышал звон колоколов из-под земли, видел свет неземной в знак будущей славы обители, что будет тут поставлена. Это и подвигнуло Мефодия на труды, решился он храм поднять…

Внутренне Иоанн ликовал: такое предреченье в житиях святых встречалось. Еще простыми чернецами зачинали они свои монастыри, которые после и становились святостью для народа. И особо радовался иеромонах, что до его прихода на Старое Городище первые насельники в рясах слышали тут колокольный звон и свет неземной с небес падал…

— Мнози начинали жительство уединенное тут, на Флорищевых горах, но только в прошедшем пятьдесят втором году века нашего старец Мефодий церковь тут построил.

— А Иларион?[18]

— Святитель годом позже пострижен, двадцати одного года.

Во Флорищевой кормили всех приходящих наравне с братией, давали ночной приют. Но прожили арзамасские монахи тут недолго, с попутными обозниками пошли обратно.

Сразу принялись за работу: стали расширять пещеру в горе — углубили ее до пяти сажен и кой-как перемогли морозы.

Весна ободрила, стали рубить наконец келью. Место для нее облюбовали на горе. Только стены подняли, потолочные слеги положили и скоро радоваться бы обретенным жильем, да Палладий остудил радость. Сидели вечером у костра, в котле зверобой парился. Палладий не ложно признался:

— Боле тебе, Иоанн, не подпорой — изнеможе я…

Уже знакомое слышал Иоанн. Едва ли не словами Филарета говорил молодой чернец.

— Ну, что… Истяжен ты мной — испытан в деле. — Иоанн нагнулся над котлом — улеглось в нем, не булькотило — полный распар доброй травке… Он снял котел с тагана, поставил его в траву и прикрыл досочкой. — Что ж, брате, волен ты. Оселом держать не стану… — Иоанн поясно поклонился Палладию. — Спасибо и на содеянном, скрасил ты мне зиму. Ты в Арзамас, одначе. Завтра накладу тебе вяленой рыбы — отнесешь гостинцем братии в Введенский.

Сон в эту короткую летнюю ночь так и не смежил глаз. Иоанн слышал, как мягко похрапывал Палладий, и всё говорил и говорил сам с собой: «Проснусь прежде, вот также похрапывает подруг в своём углу, так-то спокойно на душе: не един, как перст! Но вот снова остаюсь один-одинёшенек…»

5.

Вскоре ещё один ищущий уединения богомолец предстал перед Иоанном. Пришел, прежде знаемый, монах Спиридон, постриженник Санаксарского, уже успевший пожить и в Арзамасском Введенском. Металась душа этого черноризца. Узнал от Тихона, что в Саровской пустыни спасается Иоанн, и вот пришёл испытать себя. Построил себе шалаш, но одиночества не снес, через три недели вернулся в монастырь. На другой год снова оказал себя на Старом Городище, но и на этот раз не вытерпел, не сказавшись, покинул боровину.

А до Спиридона являлся в пустынь монах Герасим, постриженник Спасского монастыря, что на Кезе, в Заволжье Семеновском, Скоро понял Иоанн, что этот чернец тяготится своим монашеством. Часто уходил он в ближние села и деревни, возвращался с нехорошими глазами, суетный, места себе в пустыни не находил, каялся перед Иоанном-священником, молился в своей келье, кричал «великое рыданье», обещал жить в пустыни неисходно, но проходили дни, он опять исчезал в миру и вновь, знать, погрязал в разных грехах. В последний раз с болью в душе Иоанн начал увещевать монаха:

— Знаю, брате, кто не грешен перед Богом, кто не виновен пред царем — выправляйся! Ну, что ты, как тот челн без руля и без ветрил в бурном море. Мира суетного ты в себе еще не победил. Смири себя, а то погинешь. Одно простое знай: Бог воздает заслуженным…

В тот вечер Иоанн у себя в келье долго молился в прискорбии: как же слаб человек, как тяжки его падения в греховное, вот и монахи не все стоят чистой молитвенной свечой…

Однажды объявил Герасим, что уходит. И ушел, бедняга, навсегда.

Увещал других, а и сам еще далеко не поднялся над собой.

В этом, 1694 году Иоанн опять уходил в Санаксарский: душа отправила к старцам за духовным окормлением.

Стояло еще лето, по высокому берегу Мокши скосили травы, и над луговиной близ монастыря настоялся плотный медвяный запах. Вместе с другими Иоанн ворошил валки — накануне нежданный дождь пал, а нынче вот тянул ветерок и так славно продувал, сушил кошенину. Потом метали сено в стожки. Кончили работу где-то уже к вечеру. Он спустился к речке, скоренько выкупался и уже оделся, когда сверху, с яра, его позвали.

На берегу стоял незнакомый монах с сухим темным лицом

аскета и длинной бородой. Черная, сильно потрепанная в подоле ряса его шита из какой-то иноземной ткани. Берестяная торба за плечами сплетена недавно, еще не ошарпалась, лямки у нее не веревочные, а тканые, цветные, как опояски. Подумалось: «Вроде не здешний».

— Сядем, брате!

— Отчево не сесть! — весело отозвался Иоанн. — За день-то до устали натрудился.

Сели на крепкий козырек яра и ноги свесили.

— Благодать-то тут какая! — вскинул иссохшие руки монах — широкополые рукава рясы обнажили их до локтей. — Не объяти! Поистине, Господь знает, где ставить свои обители. Скажусь, скажусь кто есмь и откуда — не перекуй! Соловецкий, пострижение от Зосимы и Савватия. Иеродиакон, изограф Божией милостью…

Иоанн не знал, что и сказать: из святых мест старец! Слава о Соловецком черном соборе широко разнеслась по Руси, интерес понятен: долгих восемнадцать лет монастырские крепко стояли за старую древлеотеческую веру — обитель стрельцы царские осаждали…

— Тимолаем наречен в постриге… Я ведь из твоей палестины, брат, — неожиданно признался старец. — Угожее там место, осиянное. Поставил там, на горе, крест же, часовенку малую. Надобно храм ставить, провижу быть на твоей обживе знатному монастырю…

Иоанн взволновался: думал он, загадывал уже об обители, втайне услаждал себя будущим.

— Пока не манит моя красная рамень насельников. Придут и уходят, малодушные. Храм… Но возможно ли?

Тимолай усмехнулся, вздернул правую руку вверх.

— Не мне тебе глаголать. Для Бога все возможно!

«Странная встреча!» — после думалось Иоанну. Больше Тимолай почти ничего не сказал, не поспрошал, не наущал, коротко простился перед уходом. «Ну да, монахи, что калики перехожие. Придут, поблагодарят за доброхотное подаяние и также тихо, как и пришли, уйдут, будто их и не бывало».

Иоанн долго на этот раз не зажился в Санаксарском.

Через год, однако, напомнил о себе Тимолай. Летом же пришел знакомый мужик из Кременок, развернул еще не стираное льняное полотенце.

— Это тебе, отче, передать велено…

— Да ты от ково?

— От Тимолая по Москве известново. В первопрестольную меня барин посылал. Там сыскал меня старец и вот отдал.

Иоанн развернул широкий полотенец — образ Иоанна Предтечи. И так искусно написан на жести!

— Еще что?

— Само собой поклон поясной. Предрекал, что быть тут обители. Сказал еще Тимолай, что скоро будет к тебе.

Но Тимолай так и не пришел, никогда более не появлялся в темниковском краю.

«А не посланник ли этот Тимолай ко мне? — мучился первое время Иоанн. — Икона Предтечи — не особым ли знаком? Ведь ежели прозревать, если быть тут, в Сарове, храму — быть и обители! И ты предтечей всему…» — радовался и одновременно пугался он.

Иногда ходил сам не свой. Как-то шел после рыбалки на Сатисе — поднимался в гору и вдруг так явственно увидел зыбкое золото церковных куполов и крестов наверху. Едва не побежал… Почти на самом верху остановился, открыл глаза — горит на солнце желтизна литых сосновых стволов, искристо вспыхивает серебром вершинная хвоя деревьев…

Вскоре пришел и взволновал кременский мужик в чистой рубахе и портах. Назвался Михаилом Семенеевым. Лицо взволнованное, сам не свой.

— Да ты присядь, охолони, милой! — успокоил Иоанн пришельца.

Семенеев торопился, разом и выпалил:

— Иду эт-то по темниковской дороге, повернул голову — что-о такое? Зарево огневое на твоей горе… Испуг опоясал: не пожар ли?! Бегу, чтобы помочь. Подбегаю: стоит твоя келья цела-целехонька, зарево как-то разом поутихло и опало, подошел к дверям, слышу — молишься…

И этот рассказ Михаила прозорливо обмыслил Иоанн и счел, что он не случаен, что указуется ему свыше дело большое, главное.

Незаметно кончилась осень, в одну из ночей посыпал из низких туч снег — такой ласковый, пушистый…

6.

Что такое святость, каков он, святой?

Архимандрит Арзамасского Спасского Павел — теперь он правит мужской обителью, недавно терпеливо изъяснял, что за сим словом понятия: сильный, крепкий, а еще прикладывается светлый, чистый, незапятнанный, почтенный. Святой — это

блистающий светом, блеском.

Блистающий душой!

Но душа-то в грешном слабом теле. И все же она одухотворяет его, не будучи определенной частью тела. Она имеет свой источник в Боге. И засим особенное души: состоит она в единении духовности бессмертия ее, в способности разума, свободы и дара слова…

Все это Павел, бывший ризничий патриарха, знал и толковал глаголами убедительными.

Здесь, в пустыни, в одиночестве, слова просвещённого наставника вспоминались часто, оправдывали пребывание Иоанна в Саровских лесах.

Перебирая в памяти свои дни отшельника, иногда дерзкое приходило в голову: почему так долго противиться тело, отчего оно так часто вопиет и нередко зудливо кричит громче, чем душа о своем?

Приходил и ответ: если блистательное совершенство души созидается не сразу, значит и тело должно как-то переболеть в протяженности времени, чтобы очиститься, стать достойным вместилищем для той же светлой души.

Слова отца, дяди Михаила, Тихона из Введенского, мудрого Павла из Спасского, изречения святых из книг — все согласовывалось в простой истине, но как трудно все это простое обращать ему, Иоанну, в явь жизни?..

… С какой охотой, легкой радостной душой шел впервые в дебри лесные! Как ревновал о подвижничестве, как ждал, жаждал даже всяких лишений, испытаний на кои обречен отшельник.

Шло быстротечное время. Не заметил, не сразу понял, что начал смущаться его дух, угасать начальный восторг пред избранной пустынью, и как-то уж совсем воровски подкралось незванное уныние, а потом все чаще и чаще томила тоска одиночества. Скудость еды расслабляла тело, худость его кричала и охотно поднимала память о сытости в родительском доме, да и в Введенском никто из монахов голодом мучим не был… И не избежал Иоанн совсем уж страшного — нечистый нашептывал: надо ли истязать себя так здесь, на Старом Городище? И горько в минуты просветления осознавалось: оставленный мир и собственная плоть бесконечными соблазнами восстали противу его духовных устремлений, и вот бесовски мучают и гонят его из пустыни…

Плоть — молодая, жаркая, ночами долго мучила Иоанна нехитрыми мужскими желаниями. Он просыпался весь мокрый от пота, какой-то униженный, еще с внутренним криком желания; и слезы лились из его глаз от бессилия, от невозможности

противиться своим ночным налетным соблазнам.

Днями с ожесточением изнурял себя тяжелой работой — тут, в лесу, она вся оказывалась тяжелой с топором, лопатой, пилой или с деревянными ведрами…

Недели, а то и месяцы жил Иоанн в греховном расслаблении духа — на время даже уходил из пустыни в Арзамас или в Санаксарский, но возвращался еще больше расслабленным, угнетаемый страшными укорами совести и той духовной святости, к которой он стремился и на дороге к которой так изнемогал…

Пустынник узнал и бесконечную трусость обыкновенного человека. Лес надолго захватил и угнетал безотчетным страхом. Он мучил особенно в глухие осенние дни, в дни непогоды, в долгие зимние ночи. В Иоанне поднималась щемящая тоска, ощущение затерянности, того же одиночества. Он молился, но так часто находило некое затмение, и слова молитв опадали на пол кельи со стуком сухих кожаных четок.

Теснилось сердце, пустынник задыхался, сидя у позднего вечернего костра, когда чувствовал, как лес придирчиво, насмешливо смотрел на него со всех сторон, душно дышал в затылок, в лицо, и чудилось, что мрак вокруг него густо наполнен некоей враждебной нежитью.

Ко всему по летам до первых заморозков мучил лесной гнус — комар. Сколько раз искусанное лицо его распухало и нестерпимо зудело, когда он ходил за ягодами или сидел с удочками на берегу Сатиса. Спасибо одному мордвину — тот принес накомарник: легонький полмешок с частой волосяной сеткой для лица. Надетый на голову, он прикрывал шею, в нем было душновато, зато спасительно.

Это на Сатисе же навязчиво полезло однажды в голову: не тщеславится ли он перед людьми, теми же монахами, не ради ли пустой мирской славы вседневно мучается тут, в Сарове. Может, хватит томить себя этим одиночеством. Не прав ли тот же простодушный Палладий: и в черном монашеском соборе творится суточная хвала Господу, и в монастырских кельях и храмах сказывается покаянная молитва. Ведь бывала и прежде спокойной твоя душа, в Введенском…

Однажды лес свёл его с медведем.

В дневных и ночных страхах медведь долго-долго мучил Иоанна, все чудилось, что вот-вот войдет он, вломится в келью и большой, лохматый заполнит ее, а то перехватит на таежной тропе и начнет заламывать, безжалостно раздирать его.

Зверь набрел на притомившегося, задремавшего пустынника, когда он, набравши брусники, прилег на мягкий беломошник под

сосной. В том легком мимолетном сне Иоанн проснулся от внутренней всполошной тревоги и сразу уловил близкие шаги зверя, его сопенье. Бежать было поздно. Это мельник Онисим как-то посоветовал, что надо, ежели ты на земле лежишь, замереть, затаить дыхание. Хорошо, что он лежал лицом на брусничнике — медведь медленно подошел, постоял, дохнул смрадом пасти… а потом глухо поворчал, легонько рыкнул надлежащим монахом и… отступил. Иоанн тотчас услышал затихающие шаги зверя, треск сухих сучьев под лапой. Сразу не мог встать: ноги одеревенели, стали непослушными. Его подняло внезапное воспоминание о сергачском ходебщике, его вовсе не страшном медведе. «Что я так рассолодел?» — удивился пустынник и тихо рассмеялся, но тут же подавил в себе короткий смешок: как, однако, далеко ушли люди и звери от первородного. Давно-давно, в начальную первобытность звери видели в человеке Божий лик и поклонялись ему, а человек не обижал соседствующих…

Были уготованы Иоанну и другие тяжкие испытания: его одолевала неведомая хворь. Прежде не знал недомоганий, никогда особо-то не болел, а тут так начало схватывать внутри, что весь он закричал от боли. «Это все постничество мое», — подумал монах, но затяжные боли не проходили и так ослабили его, что пустынник уже подумывал о смерти.

Все подспудное, все глубинное поднялось протестом, ведь «Чаял он Бога спасающего, по словам песнопевца, от малодушия и от бури, когда водворялся в пустыне».

Вражье внушение обернулось страшной мыслью, что Господь оставил его… Иоанн совсем пал духом. К болевым непроходящим схваткам внутри добавилось внешнее, видимое. Вдруг тело там и тут стало покрываться гнойниками, краснотой, струпьями, болезненными коростами. Он не знал, как избавиться от всей этой скверны — срывал ногтями, обнажал красное изъязвленное тело… И опять появлялись коросты — большали, набухали и снова пустыннику кто-то нашептывал, что он оставлен свыше без спасительного попечения.

… В нездоровом сне, в болезненном полубреду, иногда, как казалось ему, некая нежить увлекала его силой куда-то в страшные темные урочища. Летящее существо Иоанна встречно хлестали мохнатые, колющиеся лапы елей, сучья сосен и, пока он страдал в этом неуемном полете над сырью болот, озер и черных горельников, вокруг него все бесновалась некая злая, дико хохочущая сила…

А то находила с утра какая-то вялость, неодолимая сонливость, когда не хотелось вставать, разводить огонь в очаге и готовить нехитрое монашеское хлебово — целыми днями лежал

пустынник, уставившись в потолочину, в какой-нибудь сучок на ней, и запрещал себе думать, вспоминать, что он один-одинешенек в этом глухом лесу.

Бывало для него и хуже. Во время молитвы, перебора четок вдруг нападали сторонние назойливые мысли, видения, и Иоанн уже не улавливал смысла произносимых молитвенных слов, сбивался и путался, терялся совсем — отходил от Бога и так трудно, так не сразу возвращался со своими словами к Нему.

Однажды, в святую четырехдесятницу — время Великого поста, когда Иоанн начал читать часы, вдруг нутро его разом обдало каким-то сильным жаром, его как бы опалило неким жгучим зноем. Он впервые потерял ощущение своего тела. Страх объял его, и в этом страхе, едва ли помня себя, он схватил икону Богоматери, перед которой молился, и с воплем: «О, Господи, помилуй мя в час сей!» выбежал из кельи и долго не мог опомниться.

Едва стало лучше, встав со своей рогозницы, привычно опустился на колени и горячо стал просить о помощи перенести, осилить определенное ему:

«Господи, Боже мой! Или не слышат уши Твои мя к Тебе вопиюща? И во первых отпущения струпов моих греховных просяща, по сих же от обдержащих душу мою нестерпимых скорбей освобождения требующа. Услыши мя, многомилостиве и многоблагоутробне! Сам бо рекл еси, Владыко: просите и дастся вам, стучите и отверзется вам… Помилуй мя, Господи, и избави меня от искушения и горьких болезней и от диавола нападения… О, Господи, Боже мой! Помилуй мя и избави мя от страстей ныне и присно, и вовеки. Аминь!»

Но приступы того внутреннего жара еще повторялись… После отшельник признавался: «Не видел в себе света и радости — куда идти или что истинно творити, но яко кур в отрепьях хождах и во тьме мрачной был, дондеже[19] Бог милостью Своею призре на мое недостоинство и просвети мя светом Своим и все болезни отъял от тела моего и сердца». Это случилось после того, как уж совсем, кажется, изнемог и когда обратился к Богу с теми же словами, с коими когда-то Сергий Радонежский просил молиться о нем игумена Митрофания, который постриг его в монахи: «Пошли, Господи, силы противустать брани плотской и искушениям бесовским, сохрани меня и от лютых зверей среди моих пустынных трудов».

Услышал Всевышний своего страждущего слугу. И началось медленное одоление своих немощей и укрепление духовных и телесных сил.

Нежданно-негаданно пришел из Санаксарского монастыря

чернец. Открыл дверь кельи и попридержал ее, впуская уже теплеющий мартовский воздух. Потянул носом.

— Да у тебя тут, брате, густенько…

Несло от лохани, несло от Иоанна — струпья на теле еще не исчезли, он забыл, когда и мылся. Монах присел на лавку — вечернее солнце било в небольшое окно кельи, высвечивало темную бревенчатую стену и бледное, донельзя исхудавшее лицо Иоанна.

— Да ты в скорбях… Эка храмина твоя телесная изъязвлена, — удивился чернец. — Совсем, совсем, брате, заплошал. И как эт-то Господь попустил, ты же, помню, таким могутным ходил.

— Испытан я… Не терял надежды, в вере укреплялся, страх смерти одолевал, — коротко отозвался Иоанн и, отвернувшись к стене, беззвучно заплакал.

— Я счас, счас! — заторопился монах и принялся убирать в келье. Вымыл грязный, затертый пол, натаскал сухих дров, развел в очаге огонь, повесил с водой котел на железный шкворень.

Вечером, после скудного ужина, монах объявил, что в Санаксарском опять нет иеромонаха — некому вести церковную службу, и братия просит Иоанна…

— А на ноги поднимем, — твердо пообещал чернец, — баньку роздыха тебе нажварим. Феодосий у нас травник знатный. Я завтра в обрат пойду за лошадью, сам-то ты не дойдешь в такой изнемоге.

Санаксарские диву дались: как же нещадно хворь уронила арзамасца — истощен до самых мощей, в крайней худобе. Отмыли, отпарили в бане, Феодосий начал пользоваться разными травными взварами, келарь довольствовал всем лучшим, что было постного в монастыре — скоро пошел пустынник на поправу.

Почти целый год служил Иоанн в обители. Братия теперь зауважала арзамасца: семь лет черный священник отшельничал на Старом Городище. Как же не почитать того, кто исполнил свой трудный обет, на который так много званых, но куда как мало избранных…

Он вернулся в свою палестину и «… прославлял благодарением человеколюбца Бога, яко таковую сотвори мне милость премногую, и доселе сохраняем Его благостию, яко от тех страстей свободен есмь», — так писал впоследствии монах.

В Сарове его встретила целительная тишина.

Здесь, на Старом Городище, Иоанн пережил и еще одно — греховное искушение. К концу его одинокого отшельничества, когда уже обходили стороной многие соблазны и тела, и ума,

однажды ему показалось, что он обрел благодать самой святости. Какое-то время прожил с этим ласкающим измышлением, даже начал, было, свыкаться с ним, но после молитвы ночной озарило Иоанна, что впал он в грех гордыни, прельстился ложным. Несколько дней ходил сам не свой, пока не пришел к спасительной мысли, что надо держать в себе неусыпным стражем вседневное смирение.

Мудрость и смирение рождают стяжение духовного разума, духовного пути… Понять это тоже далось монаху не просто и не сразу.

Позже смирение Иоанн пронес до конца своей иноческой жизни…

Глава четвёртая

1.

Арзамас притих — провожали дружину, собранную по указу царя Петра для похода на Азов.

Допрежь, едва ли не целую неделю вопрошали горожане: где этот Азов? Сперва и воевода-грамотей сомневался, лишь потом вспомнил: на крайнем южном рубеже, в туретчине такая крепость.

Май 1695 года уже облекался в листву. 16 июня царь прибыл в Нижний, чтобы спуститься с полками Волгой до Царицына, а там пеше дойти до городка Паншина на Дону, а уж оттуда плыть до того Азова, что в самом устье Дона.

После службы в Соборе — ратники стояли близ амвона тихие, отрешённые от всего, воевода стольник Емельян Матвеевич Засецкий говорил от имени горожан горячее напутное слово и затем повёл отряд Прогонной улицей к городским крепостным воротам, что выходили на нижегородскую дорогу. Большая толпа провожала своих солдатушек. Не обошлось без слёз и родительских стенаний.

При выходе из собора Иоанн попал на глаза архимандриту Спасского Павлу. Тот лёгким движением руки позвал к себе. Смерил строгим взглядом своих чёрных глаз и сказал коротко:

— Жалуй к обеденной трапезе!

… Всегда на виду Арзамас у православных иерархов.

В 1694 году жители города били челом патриарху Адриану, прося, чтобы он повелел быть в Спасском монастыре вместо игумена архимандриту, поскольку «град Арзамас многочеловечен и Спасский монастырь церквями каменными и утварью церковной и строением монастырским, и оградою каменною украшен, и вотчинами и крестьянами изобилен».

Патриарх отозвался на челобитье и повелел впредь быть в Спасском архимандритам. Вот и стал первым из них посланец из Москвы, патриарший ризничий Павел.

Покои архимандрита подивили Иоанна. Невольно вспомнилось, как просто жил игумен Афанасий. Он и рясу-то чаще носил из мужицкой холщовой крашенинки. А теперь вот в тех же покоях тяжёлые резные стулья с цветной кожей на сиденьях и высоких спинках, большой стол с резными ножками, изразчатая печь отливала синевой диковинных птиц. Иконы в

красном углу с ярким блеском золота на окладах, на столе два богатых, вызолоченных же шандала. И много книг в хороших переплётах. Тотчас подумалось, что бывший патриарший ризничий попривык к московскому злату-серебру и красоте в соборных храмах Кремля, в самой ризнице, да и покоях патриарха.

Иоанн подошёл под благословение.

Павел в дорогой рясе из тяжёлой густо-зелёной ткани вышел из-за стола, взял монаха под локоть и подвёл к маленькому столику в углу покоя. На нём лежало тёплое пятно солнца, высвечивая плотную парчу скатерти.

— Садись, брате, не чинись. Наслышан о тебе довольно, стяжал ты уже и славу, в Введенском чтут тебя гораздо. Тебе который?

— Четверть от веку! — Иоанн удивился простоте обхождения архимандрита с ним.

— А на погляд — старше! Подсох ты в пустыни, изморился. Видно, приходилось питаться и одной молитвой?

— Не без тово!

— Обнаружил ты перед нами душу… Да что я — перед Богом. А чем сейчас угнетён?

— Бабий плач всё ещё в ушах. Кто воротится из-под того Азова домой…

— Пожерты будут многие на приступах. Но что делать, те южные земли к морю Черному были словенскими, время возвращать исконное… Так, говоришь, претерпел… Ты ведь семь лет победно себя одолевал. Когда такие чернецы, как ты, есть — не будет земля наша оставлена без Божьево призрения! Подвиг ты свершил…

— Куда мне! — испугался Иоанн. — Что я… Самим Господом Старое Городище отмечено. Слышали там колокольный звон из недр исходящий, видели неземной свет над горой. Вот сим и укреплялся.

Архимандрит встал со стула, взволнованно заходил по покою.

— Коли так — возрадуйся мир православный! Ещё одно место на земле нашей станет святым. Помышляешь ты об обители?

— Себя-то не всегда в узде держу, а то чернецкий собор!

— Не уничижай себя! Ежели замыслишь монастырь — я тебе пособником. Окажусь в Москве — стану свидетельствовать о тебе у патриарха, да и во дворце — сгодится! Какое помышление, скоро ты в свою пустынь? А то оставайся у нас, покормись, а там восходи от силы в силу!

Приглянулся в Спасском Иоанну монах Филарет. Молод,

послушен, пением украшал службу в соборном храме. Павел готовился представить его к посвящению в иеродиаконы — голос у чернеца силён.

Не раз посидели в тени каменной монастырской стены, переговорили о многом. С удивлением, грустью уловил Иоанн, что Филарет привержен к расколу и трудно ему среди арзамасских монахов.

Однажды Иоанн спросил прямо:

— Разделишь мои труды в пустыни?

Неожиданно Филарет согласился, и монахи с благословения Павла ушли в Саров. Там, на Старом Городище, а чаще его Иоанн уже Саровом называл, молодой чернец, однако, скоро открыто признался:

— Пришатнулся я к тебе напрасно. Не предам старого благоверия, пойду-ка я к своим…

После дошло до Иоанна: вернулся Филарет в Арзамас, оттуда ушёл в Муром в тот монастырь, где некогда принимал постриг. Там, как рассказывали, нёс монах послушание в хлебной. Однажды в исступлении греховном со словами: лучше земный огонь, чем адовый, — бросился Филарет в топившуюся печь и «тако злый зле погибе»…

2.

В жаркую июльскую пору 1698 года под сильным конвоем драгун в Арзамас из Москвы привели восемьдесят два стрельца мятежного полка Ивана Чернова.

Скованные, измученные дальней дорогой, они еле волочили ноги. У иных не по возрасту поседели виски, перепотелые, чёрные от загара и пыли лица пугали своей худобой, стрелецкие кафтаны изорваны, на некоторых виднелись пропитанные кровью холсты. Были ли это следы пыток или боевых ран — ведали лишь сами несчастные.

Толпа горожан скорбно шепталась, а потом тревожно загудела, подступила к конвою, заглядывала в изнуренные лица стрелецкие — громко печаловалась русская душа. За что бы ни судили на Руси человека — не злорадствуют, а страдают свидетели площадного наказания или казни. И потому, в свою очередь, кланяются и просят прощения у всего православного мира обреченные на казнь.

Встречал незваных гостей воевода Иван Карпович Козлов и подьячий Никита Ерофеев.

Стрельцов вели не через главную Настасьинскую башню крепости, а через присядистую Кузнечную. От широкого зева её проходных ворот и до паперти дубового Воскресенского собора открылся узкий коридор в толчее густой толпы. Глухой стук копыт, лязг цепей, скрип седельной кожи да лошадиный храп поднялся над арзамасцами. Они молча ждали, что прокричит москвичам Луконя-юродивый.

Он топтался на паперти один в лохмотьях, гремел веригами, вскидывал иссохшие руки на свою большую голову с седыми космами волос, что-то короткое и злое нашептывал — «поднимал себя».

Капитан Чаплин, возглавлявший драгун, заметно смутился: знал, что блаженные на папертях часто кричат хулу и на князей. И какое бы слово ни кидали в народ эти божьи люди в своем святом исступлении — никто не смей трогать, обижать юродов — так уж повелось издревле.

Горожане всё сужали прогал пустоты, оставленный для стрельцов и конвоя, как бы подталкивали капитана к Луконе.

Вдруг кто-то заметался перед лошадью Чаплина, она испуганно захрапела и встала.

Тут божевольный Луконя дико и взвыл:

— Веселись, православные! Ванька Козлов, что-то у тебя вороньё над городом засполетывало, раскаркалось — не кровушку ли почуяло?! Бабы-бабы, ставьте квашни, пеките блины — поминцы справлять будем! Эй ты, чапля мундирная, глянь: небушко-то створы свои распахнуло — кровушкой мучеников пахнуло… Москали, окаянные, явились губить души православные!

Козлов, встречающий со своей служилой челядью конвой, усердно кышкал на юродивого, но тот распалялся всё больше. Чёрной растрепанной птицей метался он по паперти и надсадно кричал, дико горели на его страшном лице нездешние глаза.

— Труслив Петька-царь! Антихрист, напился крови христианской, поберёг своё царское око, спровадил казнить молодцов далёко, почтил нас — пеки блины Арзамас!

Последнего капитан Чаплин не выдержал. Привстал на стременах, и тяжелая плеть, с протягом, опоясала плечо и спину юродивого. Тот слезно запричитал:

— Миленький, Христа плёточкой достал…

Арзамасцы грозно зашумели, вскинулись здоровенные кулаки слобожан-ковежников.

— Гони-и-и! — истошно закричал Чаплин конвою.

Прапорщик Кочунов заорал на конвойных — замелькали приклады, загремели цепи, колонна стрельцов стала заворачивать

за собор к открытым воротам острога, к земляной тюрьме.

Горожане угрюмо молчали.

… Вечером, уже при свечах, после бани, за хмельным пенником сидел у воеводы в дому капитан Чаплин и выговаривал:

— Что твоя чернь так взыскалась — такое шумство, такая поруга…

— А ты что хотел, чтоб тебя народ с колокольным звоном встречал, яко победителя. Ково победили… Жидковат ты. Чаплин, на юродца вскинулся… Промашка!

— Дорога измучила, — скупо оправдывался капитан. — Все издерганы… Спрашиваешь, что в Москве стряслось. Шумнули полки стрелецкие, к Москве пошли, царевной Софьей посланные. Полк Ивана Чернова от Великих Лук встал у Воскресенского монастыря, а потом противу Большого полка Алексея Шеина оружие поднял. Пушки ударили… Ну, тебе ведомо: бары дерутся, а у холопов чубы трещат. Третий раз московская старинушка — стрельцы, поднялись противу всяких новин Петра. Прискакал царь из-за границы и начал такую жесточь… Софью в монастырь спровадил, Ивашку Чернова в Москве кончили, а ево стрельцов частью сюда вот… Завтра укажь место казни.

Козлов потягивал из высокой серебряной кружки пенник и не хмелел.

— В городе казнить не дам — неча народ булгачить, у нас тут ещё память о разинцах не улеглась. Князь Юрий Алексеевич Долгорукий долго своей лютостью помниться будет. Вот что, капитан. Я тебя пошлю обратно по Московской дороге. За Выездной слободой — тотчас перекрестье дорог, памятное будет место…

— А и ладно! — готовно согласился Чаплин.

Как говорили в народе: еще и ноги казненных остыть в земле не успели, как из Москвы в следующем 1699 году снова в Арзамас пригнали большую партию обречённых стрельцов.

Там, в первопрестольной, вышло какое-то несогласие.

Грамотой из Иноземного приказа вдруг затребовали обратно из Арзамаса тридцать пять человек для повторного, знать, дознания, а сверх того завернули в Москву и сто шестьдесят четыре самых молоденьких стрельцов, ещё не достигших совершеннолетия.

— Зачем же этих-то отрочей гнали-мучили?! — зло вопрошали горожане. — Такие ещё из-под руки старших смотрят, какие они противленцы?!

— Казнить тех, кто в лета не вошёл?! Знать, не боится Алексеич Бога…

— Наладились! Такие вёрсты гонят в Арзамас на казню — что

ближе-то к Москве ай земли нету. Да не всё ли равно мёртвому…

Ранее второго конвоированного отряда стрельцов примчал на своих борзых в родной город Иван Васильевич Масленков.

Архимандрит Павел ждал купца, который взялся купить для монахов Спасского сукна на зимние рясы. Но больше-то архимандрит ждал вестей из первопрестольной: родич служил в стрельцах — жив ли? А потом бывший патриарший ризничий, осведомлённый о многом государственном в прошлом, в Арзамасе тож старался знать, что происходит и в царском дворце, и в патриаршем приказе. Московские вести чаще познавались в местной воеводской канцелярии, но их привозили нередко и купцы города. С Масленковым Павел сошёлся сразу же, как приехал в Спасский монастырь.

Иван Васильевич глубоко чтил учёного архимандрита и, едва отдохнув с дороги, явился в обитель. С утра прошёл дождь, но теперь, к обеду, разъяснило, обветрило, и не хотелось сидеть в комнатах. А на крылечке деревянного домика архимандрита — солнечно, угревно.

Иван Васильевич добавлял к рассказу воеводы Ивана Козлова:

— Царь Пётр стрельцов ведь не залюбил с тех пор, как в Москве Нарышкиных народ побил… Перед отъездом за рубеж повелел разослать виновных по дальним местам, под Азов, а иных стрельцов на западные заставы. В Москве больше «потешные» солдаты оставались. Тут кормовые деньги стрельцам наладились задерживать, они и заропотали, стали искать царские вины. Вспомнили стрельцы и то, что в Азове Лефорт гнал их на убой туркам без ума и жалости. А ему что, немцу, ему православного не жаль, абы перед царем выслужиться. Роптало воинство: много иностранных офицеров-нахлебников стало, русского человека не чтут!

— И что же?

— Ну, что… Сошлись выборные от полков, пошли в Москву со своим челобитьем. Тут бояре испугались, закричали о бунте. Меж тем стрелецкие полки подошли к Новодевичьему, где пребывала царевна Софья. Был бой — побили из пушек стрельцов. И начался скорый розыск. Кой-ково казнили. И уж утихомирилось с обеих сторон, а тут двадцать шестова августа прискакал из-за рубежа царь и начал дикую расправу. До двух тысяч, однако, свезли в день именин Софьи Алексеевны и стали пытать в четырнадцати застенках.

— А что патриарх?

— Пришёл к царю Адриан с иконой, просил о милосердии к стрельцам, только Пётр его вон выставил!

— Это патриарха-а…

— А что от немецкого школяра ждать, патриарх ему не указ! Закуролесил царь в лютой жесточи.

Помолчали, повздыхали: какие неслыханные времена пошли!

— Казни видел?

Иван Васильевич кивнул.

— Ходил, смотрел. Привели первых два ста. У Покровских ворот Кремля объявили вины несчастных… До октября более семисот головушек стрелецких смахнули. Царь-то наш правосудный… Аки дьявол сам рубил головы, бояр заставлял пятнать себя кровью, а тот смерд, Меньшиков, как сказывали, хвальбу распускал, что сам-то он отсёк двадцать голов. А царевне Софье-то братец какую казню иезуитскую придумал: почти двести стрельцов у стен Новодевичьего монастыря повесил, а троих противу окон её кельи — любуйся, сестрица! До чево же пал православный царь… Сам палачествовал, сам боярам бороды ножницами кромсал — чести лишал!

— Дожили! Далеко пойдёт…

И опять тяжёлые вздохи на крылечке, долгое молчание…

Для казни второй партии стрельцов прислали из Москвы в Арзамас стольника Михайлу Арсентьева и подьячего Новикова. К ним подручными определили арзамасских подьячих, стрельцов и даже рассыльщиков.

Опять же за Выездной слободой застучали топоры: ставили виселицы и рубили помост для палаческих трудов.

К месту казни пришли тихие посадские из города, выездновские, кичанзинские, веригинские мужики и бабы. Не отстали от соседей и красносёлы.

… Стрельцы винились перед народом, прощались с миром. Кланялись на все четыре стороны по заведённому обычаю и безропотно шли к виселицам и топору.

А в Москве царь Пётр с великим пьяным размахом праздновал победу.

Вскоре арзамасцы узнали о другом: овеянное славой многих громких военных побед исчезло в Московском государстве славное стрелецкое воинство. По западному образцу царь ввёл бесправную казарменную солдатчину…

В предзимье 1699 года Иоанн пришел в Красное: сторонне передали, что родитель мается хворобою, вроде крепко заплошал.

Недужество и впрямь уложило Фёдора Степановича.

Как ни остерегала Агафья, выпил, будучи в потном разморе, молочка холодненького и — надо же такое: схватило горло, опухло, и вскинулся страшный жар. Этот стойкий жар и обессилил вконец, смял даже и сознание, а когда чуток получше

стало, пришлось признать: вот она, жизнь-то наша, аки свечечка: дунет ветерок — и сгаснет огонёк…

К хвори добавилось и другое. Впервые, однако, так сильно затосковал по сыну-большаку. Эта тоска особо расслабляла. Прямо, без увёрток признался себе, что пришла незваная старость.

Едва Иоанн порог родного дома переступил, едва поклонился родителям, как Агафья, едва ли не со слезой, стала жалобиться:

— Я ли не упреждала! Как можно, Федюша, а он же сам с усам, ему всё нипочём, а сам, гли-ка, сединовцем стал.

Иоанн присел на кровать. Фёдор Степанович ухватился за ладонь сына и долго её не выпускал, счастливыми глазами смотрел на великовозрастного любимца.

Иоанн жалел отца, а боле того мать. Сестра Катенька готовилась к свадьбе, младший брат давно ушёл в чужой дом, детей наплодил. Заметно постарела и родительница, одна рука у нее стала трястись, да и одышкой мается. А как преж, бывало, большие печные горшки ворочала ухватом, как лохани и кадушки в её сильных руках вертелись — любота!

Посидел у изголовья родителя. Фёдор Степанович принялся бодрить сына:

— Я тут что-о… Я на Агафьиной заботе, а вот ты за долгие-то годы натерпелся в одиночестве. Присылку твою о болезни читал.

— Не потаюсь — претерпел многая. Но и то сказать: слабости человеческие изживал в пустыни. Крепок ваш постав во мне…

— А дух-то твой мало ли томился. Не без тово!

— Богу служу, Бог и поддерживал над бездной. А было, однажды уж падал в неё, в такой слабости тела доходил, в беспамятстве и себя не помнил…

Отец тихо, торжественно признался:

— В монастырь уйду. В твой, в Введенский. Пора и мне возняться над собой, приготовить стезю ко Господу.

— Ты её всю жизнь усердно готовишь, в храме кажин день. А матушка-то как же?

— Докормят, деток мы народили!

На третий день Фёдор Степанович встал с постели бодрым, радовал своих домашних.

— Агафьюшка, щец поболе!

На четвертый день запряг телегу, положил свежей соломы, два мешка харчей для сына и объявил:

— Сей конь — твой! Молод ещё, горяч, но укротишь, ты теперь в силах. У меня два на дворе, куда нам боле! Хватит тебе мешки на себе таскать-горбиться. С животиной там, в Сарове, легче, всё не един.

До морозов успеешь поставить конюшню, а сена у мужиков купишь.

На Дивеевскую дорогу надо было ехать через Выездную слободу. На околице села, на широкой поляне родитель попридержал конька.

— Пойдем сынок, поклонимся.

Иоанн коротко знал о казнях стрельцов — пустынька-то его близ дороги и в Темников, и в Арзамас. Обозники часто кормят лошадей у мельницы Онисима. Бывай — слушай разные новины, коли в интерес.

Подошли к толстому дубовому столбу — месту захоронения мятежных стрельцов. В деревянном киоте с навесной двускатной крышей стояли старые иконы и медный крест.[20]

Фёдор Степанович, крестясь, горячо шептал:

— Прости им, воинам, Господи, грехи вольные и невольные… И пусть мужичкам земля арзамасская будет пухом!

У телеги перед прощаньем рассказывал:

— Народ сильно печаловался, а стрельцы умирали безмятежно. Опять мы дожили: свой своево казнит… Сколько же греха на себя царь принял, скольких кровью с собой повязал…

— Кабы он помнил о греховности! Патриарху в милосердии отказал, патриарху!

— Ты с этим ходи, да никому не сказывай! — упредил Фёдор Степанович. — Ну, прощевай… С Богом!

И широко перекрестил сына на путь-дорогу!

3.

Семилетний подвиг пустынножительства Иоанна остался втуне для мира, но на трудных путях созидания самого себя монах понял, что испытуется недаром, что приуготовляется он для духовного делания, для пасения других.

До самых крепких морозов работал топором. И думалось: если Саров — богоизбранное место, то надо его ознаменовать — самому поставить часовню уже не только для себя, но для других. Срубил и сказал себе, что поднята она ради моления мимоходящим темниковским путём.

Одни только стены — это ещё не часовня. Сделал крест и поставил его к передней стене, а потом изготовил полотняную хоругвь, красками изобразил на одной стороне Спаса, а на другой образ Богоматери с Предвечным младенцем.

«Так добре!» — сказал себе довольный пустынник и вдруг

честолюбиво подумал: а не падёт ли на гору теперь тот небесный свет, не откроется ли колокольным звоном осенённая крестом земля… Иоанн тут же устыдился, опустился на колени и попросил прощения у Всевышнего: не по самонадеянной охоте человечьей даются Богом особые знаки на земле.

Зачастил Иоанн в свою маленькую часовню. Однажды прошёл чуть дальше до водяной мельницы, что стояла на Сарове, — с мельником Онисимом давно связывало соседское дружество, а потом и муку у него покупал.

На хозяйском дворе увидел незнакомого мужика, густо обсыпанного мукой, и подивился: неужто мельник работника нанял?

Пожалел незнакомца: легонько одет, а ветерок подувает холодный.

— Онисим дома? Здоров ли?

— В Кремёнках. Трудником я у нево.

— А ты вроде не здешний.

— Дальний, из Заволжья, а кличут Ивашкой Корелиным.

Присели в затишке за амбаром, пригляделись друг к другу.

— А мне хозяин сказывал, что тут отшельник спасается — это ты? Я думал — старец, а ты меня молодше.

— С какой нуждой в наши места из такова далека?

— Голод не тётка… С голоду новый век начинаем — худо!

— С чево бы это, голод?

— Сказывали наши, что с казней стрельцов. С охулки старой истинной веры — так царь-от начал, распочал своё царствование единоправное, без патриарха. Старые устои ломает — откуда в миру добру быть! В верхних городах — повальный мор от голоду, народишко в низовые места кинулся, вот и я, грешный, не отстал. Да, за грехи царские наказуемся гладом и мором…

Сидели на широком прикладе брёвен у старого почерневшего на солнце амбара. Рядом плотной стеной стоял молчаливый сосняк. Тихо поплёскивали плицы колеса мельницы. Проглянуло солнце, ярче затеплились стволы дерев, малость пригрело лица, напомнило светило о прошедшем лете.

Видно, расслабленный этим неожиданным теплом, Корелин разговорился:

— Аще Бог благословит, да минет глад в местах наших, и буду жив — уйду опять за Волгу, в леса, к отцам и дедам.

— Так ты из патриарших ослушников, из скитников старого обряда? Конешно, лучше к своим!

Корелина ободрили слова монаха, и он уже не таился:

— Живут у нас в Заволжье люди зело добры, из разных мест пришлые ради спасения душ, от мира, от страха антихристова

спасаются…

— Как же они спасаются? Я вот тоже давно тут обретаюсь.

— Не ведаю как ты… Но ежели с усердием хочеши искать спасения и добродетель наших скитников уведать, то повем тебе истину: несть во всем царстве такой веры лучше яко у нас, и несть людей добродетельней яко за Волгой. Пустыня у нас пространная, давняя, а старцы зело мудры!

Иоанн опять с вопросом. Хвальба старообрядца заинтересовала его.

— Аще ты глаголеши, яко нет добрей веры как за Волгою, в лесу… Поведай, что же это за вера такая?

Корелин говорил сладкоголосо, жмурил свои рыжеватые глаза:

— У нас двуперстное древнее слагание. По старым книгам говорят, читают и поют. По старой вере и добрые дела делают: постятся, в безмолвии пребывают, удаляются от веры антихриста, от никониан, ибо в церквях теперь благодати Святова Духа нет.

Иоанна сердила открытая похвальба Ивана «своей верой», саровец, выставляя себя незнаем, спросил:

— Что же это… Вера у вас старая. А какая же новая. И что есть печать антихристова?

Раскольник задумался, подёргал себя за рыжую бороду, припорошенную мукой, хитровато взглянул на Иоанна, удивляясь простодушию монаха.

— Никон-то ваш — пагубник. А наши стояльцы за старую веру — по старым книгам служат, как святые отцы на соборах уложили. А новая вера — новый архирей и попы старое печатное слово переменили, прибавили новова, а кой-где в книгах убавили. Крестят и венчают — ходят противу солнца, а не по солнцу. Печать же антихристова — на лице своём полагают крест опять же по-новому: тремя персты, щепотью. И вместо осьмиконечнова креста делают ныне четвероконечный крыж латинской и поклоняются ему.

Корелин замолчал, сквозь прищур своих хитроватых глаз победно поглядывал на саровца.

«Экой ты горемычный, как тебя помрачило!» — с грустью подумал Иоанн и ещё раз оглядел старообрядца.

Тут пришёл Онисим, увёл работника в амбар, что-то они там перекладывали. Освободившись, заволжский скитник опять вышел на солнышко с победным лицом.

Снова присели на брёвна. Иоанна давно просветил о расколе дядюшка Михаил, а в Введенском однажды Тихон увещал кого-то из посадских — не Серебряковых ли, что откачнулись от церкви. Спросил скорее для того, чтобы втянуть Корелина в разговор.

— Скажи, Иван, есть ли у ваших церквей священники?

— Нет у нас ни попов, ни церквей. В «Апостоле» что сказано: вы ести церкви Бога живова…

Иоанн возразил:

— Нет, милой, без церкви Христовой, без священства, а оне издревле поставлены — никто не может быть христианином. Без них как же спастись?!

Раскольник и рот раскрыл, его плотные брови поползли куда-то вверх. Он вздохнул.

— А я-то чаял, что ты нашей православной веры… Тайну свою открыл. Никонианин!

Иоанн встал, скоро заходил по утоптанной тропке у амбара. Заговорил негромко, раздельно:

— Человече, да одна у нас вера, един Бог для всех! Ему одному поклоняемся, на Него уповаем. И не возводи ты хулы на других, заповедь-то помни: не суди и не судим будешь!

Корелин заёрзал на бревне, как и ожидал Иоанн, стал распалять себя, зачастил заученными злыми словами:

— Ты меня не утеснишь словом! Вы, попы новой веры — слуги антихристовы, прельщаете нас, гонения с властями учиняете. Не та вера, которая гонит, а та, которую гонят! Знаю, нуждою власть приводит слабых к антихристовой вере, чтобы мучиться вечно в геенне огненной. Мы этова не хотим! Аще и там станете нас мучить, окаянные. Отвергаемся!

— Чад гордыни слепой в тебе не по разуму. Учал ты меня бранить… К чему такое грубство? — Иоанн подошёл к мужику и тихо, кротко сказал: — Друже, по одной ли половице правда ходит? Не чужим крикам внемли, а своему рассудку, учись слушати.

На этом и расстались.

Прежде чем пойти к себе в келью, Иоанн зашёл в часовню и пал на колени перед крестом. Просил горячо:

— О, Господи, Боже святый! Царь безначальный! Пожелай всем людям спастися. Пожалей этова Ивана, избави его от заблуждения, просвети ум ево и очи сердечные, настави на истину. Спаси всех нас, в тебя верующих право и уповающих во имя Твое святое!

Вскоре по первому снегу — тихий, светлый день тянулся, Иоанн опять пришёл на мельницу и пришёл намеренно.

Раскольник заметно обрадовался приходу монаха.

Опять сидели на улице, у амбара, красиво смотрелась пестрота земли этой поры: зелень сосен вершинная, осыпанные снегом ветлы у речки, жёлтые взметы осоки у чёрной воды и пронзительная синева небес.

В Иоанне просыпался проповедник, прежде-то только в Санаксарском иногда говорил с братией с амвона. Сейчас начал с просьбы: не хулить святую церковь, ведь ей более полутора тысяч лет, и Господь не оставил её. И не надо облыжно хулить священство…

— Не Христос ли сказал: дом сей домом молитвы наречется, помнишь ли?

— Ну, помню…

— Так как же ты поносное на храм Божий изрыгать можешь?! Помни, Иване, вера и церковь насаждены в мире Иисусом Христом, есть они и пребудут. Опять же внемли: сказал Иисус, что церковь вратами ада неодолима — то апостол Матфей слова учителя пересказал. Ну и далее. Коли есть, утвержден храм, то как же без священства?! Кто же тогда Захария, благочестивый муж Елизаветы, который служил в храме и которому явился ангел Господень с вестью о рождении Крестителя Иоанна… К этому всему: святой Иоанн Златоуст говорит о церкви: «Аще паче небес укоренилася, вечностью своею продолжится…»

— Тако, тако, — соглашался какой-то тихий в этом своём согласии Корелин.

— То-то и оно, милой, тако, а не инако! Поверь, укрепись и дадеся тебе!

— Вразумляй, отче…

Так начал Иоанн выстраивать в себе защиту «новой веры», так начал понимать он, что в общении со старообрядцами всё достигается терпением и любовью.

4.

Собрался и пошёл в Кремёнки с санками купить огородной солонинки: вседневная каша с постным маслом давненько приелась.

У давних знакомых закупил припас, нарядился в обрат, а тут так завьюжило, что в десяти шагах бела света не видно. Кой-как по вешкам дотянул санки до деревни Балыковой. К удивлению, вьюга стала стихать, опадали крутые снежные заверти, что слепили глаза и забивали бороду.

Свернул, по обыкновению, к знакомому крестьянину, а тот за обеденным столом, споро хлебая с хозяюшкой ши, новость метнул: в деревне пришлые монахини, каким ветром их нанесло…

В зимнюю-то студень… Что же выгнало черниц из тёплых

келий, беда разве какая?

Мужик сходил, вызнал о монахинях: нижегородские сказались, недород погнал на чужбину для прокормления. Игумения у них — Мелания.

Иоанн и сам сразу-то не ответил бы, что подняло его с лавки, что так торопливо оболокаться начал.

— Я — скоро!

На улице ещё малость вьюжило, сметало с крыш в наметы сугробов проворные кудели снега.

Указанный дом стоял у ветел близ замёрзшего пруда. Рванул на себя примёрзшую в притворе дверь. Облако морозного воздуха хлынуло в избу, мягко растеклось и опало по углам.

— Мир дому, православные!

— Входи, божий человек!

Два окна небольшой избы, затянутые очищенными бычьими пузырями не обмёрзли, всё ж свету уличного давали мало, и не сразу Иоанн разглядел, что справа от двери, под низкими полатями плотно сидели у боковины печи молодые чернички, а слева у окна стояла рослая красивая монахиня и открыто улыбалась ему. Чёрные, высоко вскинутые к вискам брови, чёрные глаза и яркий румянец на лёгких выступах скул.

— Жалуйте, жалуйте, — запела вышедшая тут из горницы пожилая хозяйка в крашенинном сарафане и пёстром набойчатом платке. Она узнала монаха, он не раз бывал в Балыкове. — Садись, отче, на лавку. Уж вы тут без меня, ребёнчишко вон гнусит…

Он сел на оголовок широкой лавки у порога, к столу присела монахиня, неторопливо оглядывая Иоанна. Склонила голову в чёрном платке.

— А мне даве хозяйка сказывала, что живёт поблизости, в пустыни монах. Это ты, брат?

— Обретаюсь…

— И святым чином ты награжден?

— Да, сестрица, правлю и службу. А вы издалека ли?

— Теперь из соседней деревни — за хлебом ходим. Буран вот задержал… Меланией наречена…

— Так и я остановлен. В Кремёнки нужда же погнала. Теперь бы в обрат, да дорога уж очень убродная, ночевать тут придётся. С утра, может, кто санный промнёт дорогу. Так, вы из какой обители?

— Зачатьевского, из Нижнего.

Иоанн поймал взгляд игумении, взгляд смущённый. В досаде руками развёл. Сказал с ласковой строгостью:

— Не надо бы так-то, сестрица. Я игумению Зачатьевского

знаю, доводилось видеть в Арзамасе.

Монашенки — чёрные платки в роспуск, в сумраке под полатями услышали разговор у стола и насторожилась. А Мелания зарделась румянцем стыда. Потом подняла глаза в густой опушке ресниц, завиноватилась голосом:

— Нам ложь сия во спасение, прости уж, брат. Мы — заволжские, из малова монастыря. Кабы нас не травили, сирых… Хозяйка сказывала, что свято живёшь. Тебя Иоанном?

… Ветер постукивал деревянной задвижкой волокового окошка в запечье, в избе заметно выстывало, бревенчатые стены дышали дымовой горчинкой.

Иоанн устал на убродной дороге, невольно вспоминалось разморное тепло в доме мужика, где остановился. Он не нашёлся, что сказать, и поднялся с лавки.

— Пойду, однако…

Мелания остановила его.

— Не лишай нас, брате, радости услышати от тебя слова наставления, скажи на пользу душевную, как нам спастися от греховности, полакоми словом…

Вышла из горницы хозяйка, теперь в синей душегрее, вложила новую лучину в расщеп железного напольного светца, пододвинула корытце с водой, чтобы нагар опадал в воду. Игриво сказала, кивнув на Иоанна:

— Такому лику на людях быти да радовати. Окружайте ево, девоньки!

Он сидел необычно взволнованным. Никогда так вот близко не сиживал в кругу молодых черниц — они пододвинули скамью ближе к столу, к свету — сидели совсем рядышком. Все двадцать молодых блестящих глаз смотрели на него с ласковым ожиданием. Ещё бы: молодой, а уж иеромонах и долгое время один в глухой таёжине. Они сами из леса и знают, как тяжело угнетает он одинокого. Значит, этот, что сидит рядом, все искусы одолел, во всем усмирил себя, поднялся над глухоманью, он и впрямь вместилище святости…

А Иоанн такое переживал, что сам себя страшился. Неужто осталось в нём от того давнего. Нет-нет, стыдного из прошлого не тянется, однако ж как взволнован он, что-то тёплое, особенное в нём сейчас вскинулось. И невольно подумалось с жалостью: вам бы, сестрички, в миру пребывать, детей рожать, мужей любить-жаловать, родней величаться…

— Ждём, братец… — Мелания просяще глядела на него, сама явно взволнованная.

Говорил он недолго о греховном теле, о пагубных страстях, что уготованы для молодых, о совестных устрашениях, легком

пути порока и погибели. Но и о том, что душа всегда взыскует о чистоте. Чистые сердцем Бога узрят. И кончил просто, давно выверенным в миру:

— Живите угодно Христу! Молитесь, ибо молитва — вода живая. Любите друг друга, не попускайте злу и в малом!

Мелания намеренно или случайно коснулась руки Иоанна, его тотчас волнительно обдало тем внутренним жаром, какое испытал он один-единственный раз, когда сидел купальской ночью у Тёши с Улинькой. Сейчас удивился: смотри-ка, запомнило плечо, а столько годков отломилось…

— А ты краснослов, Иоанн… — игумения тотчас посерьёзнела. — Слушай, не примешь ли нас под свою защиту духовную, духовный отец нам давно надобен.

— Безмолвия, одиночества ищу… — тотчас загородился словом Иоанн.

Мелания не отступала:

— Есть у нас, в Заволжье, пустынники, да говорят крикливо, чёрство.

— Желательно бы послушать и ваших старцев, однако не ведаю как сыскать их. Бог даст — свидимся!

Мелании сделалось весело, да и чернички заулыбались.

— Будем ждать тово часа! Залучим тебя, коли потшися придти в нашу обитель, проводим к наставникам. Приезжай к Макарью на ярмонку, тамо всё и узнашь…

Уже после насторожило Иоанна это его скорое согласие на встречу с заволжскими скитниками. Подумалось: а не прелесть ли это вражья? Он не знал, что и ответить себе. Он забыл на ту минуту, что как ясно виден город на горе, так и праведник, стоящий на высоте добродетелей, не может долго утаиваться от тех людей, кто ищет духовных высот. Праведника найдут в пустынях, в горах, вертепах и пропастных местах и позовут к высокому служению. Ибо свет везде светит и тьма не объемлет его, куда бы рука Божия ни поставила светильник.

… У хозяина в доме, на полатях, он долго не мог заснуть. Похрапывал в горнице мужик, шуршали в запечье тараканы, а на улице испуганно крякали от крепкого мороза углы старого дома.

Иоанн все ещё думал о пришлых черничках, ловил себя на мысли, что ему хочется пойти в Заволжье.

5.

Онисим обрадовался приходу Иоанна. В рабочей избе

мельник сухо покашлял и разговорился:

— Сильно ты качнул раскольника, так озадачил, что он у меня поутих. Принялся и я звать ево в нашу сторону, одначе упирается быком. Уж я и так, и сяк — кружались, кружались… Скажи, волос у противца долог, а ум короток. Махнул я рукой, да и в отступ. Не дано мне слова по темноте моей!

— Абы сердце доброе! Правду дано говорить всякому. В таком деле лучше лаской, чем таской. Терпением всё победиши.

Мельник соглашался. Вспомнил:

— Ступай в денник, он тамо сено отметыват — беседовайте, приводи ево к церкви.

Иоанн нашёл Корелина возле саней с сеном. Тот перекидывал душистый сухмень под дворовой навес.

Мужик не выказал радости встречи, но и неприязни тоже не оказал на своем тёмном иконном лице.

— Дай-кося вилы и мне — размяться охота!

— А потревожь, монах, косточки. А вилы эвонде стоят, под навесом.

Иоанн сбросил шубу и начал ворочать троерогими вилам так, что у раскольника полый рот задеревенел.

— Эк ты, паря, силён, — протянул он, вытирая потное лицо рукавом армяка.

— Да и ты в силах, из десятка не выкинешь. Навильник за навильником…

— Мы — свышные… Но и ты не забыл!

Кончили отметывать скоро, Корелин напоил выстоявшихся лошадей, задал им корму, и они пошли в рабочую избу.

Иоанн ожидал, что заволжский скитник будет, как и в прошлый раз задирист, неуступчив в слове, минутно даже злобен, но похоже мужик ждал его с иным: услужливо подал квасу из логушка и присел под окошком явно в ожидании разговора. В полосе полуденного солнца золотом просвечивала его негустая чистая борода.

— Качать пришёл, монах?

И вдруг Корелин начал задавать вопросы:

— О церкви ты мне в прошлый раз втолковал изрядно, и согласен: где Бог, там и церковь, где церковь, там и Бог. Ну, а церковь не без священника… Ныне жду слова о имени Исусовом.

Иоанн сидел у другого окна, полный желания говорить и говорить.

— Что же тя смущает, брат. Понеже имя оное с добавленною литерой у нас изображается, так это ведь схоже с греческим, да и с еврейским переводом Писания. На греческом от многих толковников и всех апостолов так показано при написании. Без

всякой перемены мы и пишем. Вот она, главизна: книга Григория Богослова писана за пятьсот лет, а в ней начертается: Исус с титлом! Евангелие, печатное при Иове — патриархе московском, в зачале апостола Матфея опять же напечатано «Иисус Христово Рождество сице бе». А в беседах апостольских евреям в главе одиннадцатой Святой Златоуст о том же глаголет… Перстный человек,[21] ты ж умудрен в чтении — загляни в книги.

— Так ведь Златоуста читал, читал и Евангелие от Матфея, теперь припоминаю!

— То-то же! А ты смущался. Истинное призабыл, а неумудренных своих крикунов праздных слова помнишь…

После молчания как-то робко Корелин обронил:

— Сложение перстов у вас и у нас разнится…

Иоанн ждал этого вопроса — о нехитром пытал раскольник.

— Трехперстие — щепоть по-вашему. Но трехперстия, знамения крестного требует само почитание. Трехперстным сложением изображаем мы Святую Троицу в единстве, в единстве! Ну, а какими перстами то лучше изобразить, как не первыми. Первое лицо в Троице лучше образовать первым перстом, второе — вторым, нежели, скажем, четвертым, а третье — третьим…

— Погодь, погодь… Да разве святая Троица в щепоти?

— Ай-яй! Да не поставляем мы Троицы в пальцах, но ведь нет же Троицы и в вашем двуперстии… Какие вы особники… Зачем своё возносите, а наше поносите. Святая Троица обитает в душе нашей, сложение перстов — трёх, удобнее изображать внешне. Что за противность такая изображать Святую Троицу с благоговением…

Корелин не выдержал, вскочил с лавки и застучал подшитыми валенками по половицам. Остановился, почти выкрикнул:

— Да щепотью вашей садят чеснок!

— Оле! Сядь, не топчись попусту. За чеснок ты ухватился, вспомнил… Ты вспомни, что чеснок есть творение Божье! Да, садят, но при этом Святая Троица не оскверняется. Божьего не осквернишь! Вспомни Апостол: всякое созданье — Божье добро, и ничтоже скверно само собою, но вся суть чиста. Прости уж, брате, двуперстием не касаемся ли мы тово по нужде, что ниже пояса, в чреслах…

Иоанн вытащил из кожаной сумы, а он с ней постоянно ходил, старую книгу. Раскрыл медные застёжки, стал листать.

— Ага, вот… Читай, человече, зри: троеперстно крестились предки наши. И вот вторая книга, более поздняя — принёс, чтоб ты поглядел своими глазами. Это Псалтирь, печатанная при патриархе нашем Иосифе. Вот тут уже дано наставление о

двуперстии. Так вот и начали требовать, чтоб крестились люди, слагая два перста. Ты вот нашего патриарха Никона поносишь, в переменах-де виновен. Но ещё до Никона Арсений Суханов в прошлом сорок девятом году послан был за рубеж для сбора древних греческих харатейных книг. Зачем? А чтобы наши московские «Служебники» выправить. Ведь до чево дошло: три «Служебника» у нас не сходились между собой в установлениях. И до Никона с благословения патриарха Иосифа напечатаны «Шестиднев», «Учительное Евангелие», «Кормчая» — они тоже поправлены, очищены от разночтений. До Никона, до Никона к вящей пользе началась книжная справа!

Корелин внимательно припал к страницам — сличил. Выпрямился и устало отозвался:

— Ты, монах, долу меня клонишь. Поднаторел тут, в пустыни, всем бы так! Поди ж ты! В Писании одно, а наши сотолковники находят в нём своё разумение…

— Да какое уж разумение! По заблуждению явному, ты и сам теперь видишь.

Корелин согласился:

— Упрутся наши старцы и в засухе заблуждений спорят, спорят до озлобления, становятся слепцами. Теперь буду молить Господа, чтобы научил познавать правду, да не погину вовек!

— Добре! Пойми, ведь Никон, да и весь святой клир наш, царь, князья, бояре, простые миряне приняли новину в обрядности, но догматы — догматы никто не трогал! К древнему вернулись. Как… А сверили нашу печать с греческой, древней. Увидели несогласия, измену слов, всякое наносное, что объявилось по вине малограмотных переписчиков. Теперь истины воссияли. А ваши всё талдычат, что церковь в отступ пошла. Пойми ты простое: сам Господь похотел очищения в делах веры!

И ещё не раз встречались и говорили. Как мог, Иоанн склонял Ивана принять и церковь, и священство.

В декабре Корелин пришёл в келью Иоанна и едва ли не от порога объявил:

— Отстаю от раскола, отрешаюсь! Да будет воля Божия, будет и твоя воля: хочу у тебя, отче, плакаться о прежних грехах своих.

Иоанн с радостью исповедал раскольника и посоветовал ему испытать самого себя: пожить пока вне кельи, подумать, очиститься…

И пришёл день, когда Корелин стал слёзно просить о пострижении его в иноческий чин. Иоанн совершил обряд пострижения, нарек обращённого Иринеем и после записал: «… и бысть первый постриженник в сей пустыни».

Они начали жить вместе. Как-то Ириней стал просить:

— О заблудших думаю, о тех, кто в Заволжье. Пойди за Волгу ради их просвещения.

— Надо бы! — согласился Иоанн. — Только покамест не время. Нам подобает здесь быти по обещанию нашему.

— Душа работы ищет, — признался Ириней. — Вызнал я тут, за Кремёнками, несколько семей двуперстников. Пойду звать их к покаянию и обращению. Там тоже будут словопросники. Научай, как говорить с ними.

Иоанн обрадовался.

— Хвалю! Душа тобою движет, погоди малость, я тебе дам верный посох…

На другой день он сел составлять «вопросы старообрядцев» и как на них отвечать вопрошающим. Тут же оказалось, что ему самому надлежит сидеть и сидеть за книгами, как же без них!

Нужные книги были в Арзамасе.

6.

В самом конце 1700 года с оказией Иоанн получил от проезжавших обозников присылку из Арзамаса.

Оставшись один в келье, Ириней снег подметал в ограде, развернул бумагу, бегло прочитал написанное густым коричневым чернилом и сразу-то не знал: обрадовало его известие или нет.

Братия Введенского просила немешкотно явиться в Арзамас.

На месте всё и узналось.

Оказывается, монахи, вкладчики, кто дают денежки на вечное поминовение усопшей родни, и те, кто по единому доброхотству помогают, чем могут, возовопили: иди, отче, в Введенский, пригрей монастырь своей душой праведной, давненько обитель без игумена, тут ты надобен! Писали арзамасцы челобитье в Москву, и вот получена перехожая грамота святейшего патриарха Адриана. Патриарх охотно благословил Иоанна на игуменское место, радуясь тому, что добро отзывается о иеромонахе архимандрит Арзамасского Спасского монастыря Павел.

Поначалу-то Иоанн поластил душеньку назначением, да скоро поприжал налётный ветерок честолюбия. Прежде сам себе сам во многом, только Богу служил. А теперь вседневно пред ним монахи, и почти каждый из них старше его, и уж никак не простецы — как же началить? Чем умирять в них могущие быть человеческие разномыслия, разногласия, как верховодить и малым стадом, дабы не потерять, не уронить себя в глазах

чернецов?

Сколько ни мучил себя вопрошениями, а выходило одно: терпение, только братская любовь и доброта ему помощником. Как тут не помянуть Тихона — самой добротой был на белом свете…[22]

Филарет загоревал: как же ему в боровине одному, только сжились, порадовались согласью во всём.

Иоанн признался в своём, уже обдуманном:

— Не заживусь я в Введенском! Я тут себя во многом усмирил и поднял. Страдой души обрёл я эту пустынь и вернусь сюда. А пока стану посылать бельцов и постриженников под твоё начало. Кельи поставите… Конька оставляю, он унынию хода не даст, да и сидеть сложа руки тебе будет неколи. Живи!

В Введенском встретили с радостью. Устроили братчину:[23] обед с пивцом. Монахи ждали от избранного игумена слова, и он сказал его за столом:

— Давно ли отчая земля была мучима долгой смутой. Но ту смуту остановили патриарх Гермоген, простой нижегородец Минин да князь Пожарский с ратными товарищи… Сейчас, братия, зрим опять смуту: церковь наша раздирается расколом. Видим гонения, гибнут слепые упрямцы в кипящем огне… Незнамо когда минует нас эта беда. Первая смута кончилась с венчанием на царство Михаила. Благословен и свят будет тот царь, который любовью, державным словом остановит разброд мирян. Говорю это вам, братия, чтобы ведали, чтобы жили не токмо заботой о своей душе…

Иоанн замолчал, оглядел монахов — они сидели тихо, никто не прикоснулся к пиву, ни к брашному. На лицах одних виделось простодушное удивление, другие выражали необычную задумчивость. Оно и понятно: впервые игумен вводил их в гражданскую историю, связывал прошлое с настоящим, отсылал к размышлениям.

Ободренный вниманием чернецов Иоанн продолжал:

— Мы здесь, за стенами монастыря, живём духом и телом безмятежно, но каково-то в миру тем, кто по заблуждению, по недомыслию отпал от матери церкви нашей, кто не торопится войти в наш храм. Вы, кои постарше… На ваших памятях в той же Коваксе сгорела самохотно на овинах семья Васильева и шестеро ребяток старовера же Максимки Сергеева. В те поры ведь на двух овинах больше семи десятков заблудших пожерто пламенем. А в деревне Пасьяновой в бане предалась огню семья Михайлы Ильина. Мы тут, в городу… Два дня в неделю базары, да и кажин день народ до властей из разных волостей. Хватает их из Чернухинской округи, из Коваксинской, да и Шатковской, где

жительствуют старообрядцы. Выходите же за ворота обители почаще, приглядывайтесь к люду, ищите заблудших. Божье слово в каждом из вас пребывает — глаголайте, спасайте души отпадших от самочинного пожога. Зачтется вам! Сим угодим Господу не менее чем поклонами.

Поздно вечером, оставшись наедине, укорял себя: короткой, легонькой проповедь-то сказалась. Что же этот раскол — попущение Божье? Нет и нет! Со времён евангельских много случалось в христианском мире разных уклонов. И ведь все они — по суемудрию, от гордыни холодного и отрешенного от высшей истины ума… Как же своё-то родненькое нестроение началось?

С этим и пошёл к архимандриту Спасского Павлу.

В монастырском покое натоплено, пахло вымытым полом. Стоял мясоед, день — четверок, и архимандрит обильно кормил. Из холодных закусок послух подал осетрину астраханского копчения, чёрную икру, огородные разносолы. А потом на столе задымилась уха из мерных стерлядей. От крепкого варёного меда Иоанн отказался — принял романеи — сладкой виноградной водочки.

Павел налил себе полный кубок мёда, поднял его и улыбнулся.

— Почествую тебя с игуменством! Держи жезл правления долго и крепко. Ты, брат, вкушай боле, мы тут уже трапезовали. Тебе надо ести, довольно ты в пустыни изнурял себя и постами, и сухоядением.

Иоанн рассказал об обращении Корелина, о своём разговоре с монахами, признался:

— Ладно, что не вопрошали чернецы. А как учнут про корневое, про главизну о расколе пытать, а я не шибко-то сведом…

Архимандрит встал, быстро, не по-стариковски заходил по своему покою, полы тяжёлой богатой рясы похлестывали его по сапогам тонкой кожи. Павел привычно откинул назад волосы, поглядел остро, строго.

— Хоша я в Москве не на высокую жёрдочку взлетел — ризничим только, но довольно наслушался всякова. Всхаживало в голову и о расколе. Начну хоша бы и с этова: Запад давно отошёл от православия, и начались «церкви лукавствующих» по изречению пророка Даниила. А мы на Святой Руси при митрополитах и первых патриархах жили подлинно во Христе. Но вот подули на нас тлетворные ветры того же распущенного Запада… Ведомо тебе, что рыба с головы гниёт?

— Народ зря не молвит!

— Согласили! Начально-то доброе любление вязало у нас

царя и патриарха. Мыслили они о высоком: о главизне Москвы яко духовном центре вселенского православия, о том, что надлежит сверить и согласовать древние установления родной греческой церкви с нашей… Слишком уж ревниво, строго взялся устранять все наносное Никон — это «собиный» друг-то Алексея Михайловича. Ведь он что, он и противу отдельных статей «Уложения» царя выступил… Тут наш «Тишайший» и возревновал… Вскоре сыскались разные ревнители из духовных, бояр и дворян, которые не приняли новин патриарха. Ласкаясь к царю, стали нашёптывать ему, что-де твоя государская воля должна быть первой и в делах духовных. Пуще прежнева Алексей Михайлович взыграл гордыней — обидел Никона, прежнюю клятву о согласии — о единоначалии совместном преступил, церковь подминать начал. Последнего-то патриарх уже не принял и напрямую сказал, что он не знает иного законоположения себе, кроме Христа, который дал ему право вязать и решать… Так вот и начался раскол сперва между Алексеем и Никоном, а после-то он оказал себя в боярских хоромах и дворянских палатах. На беду царь начал потворствовать раскольщикам — появились у них громкие наставники, уже и среди чёрного народа. После-то и одумался Алексей Михайлович, да было уж поздно: сам спасительную лодку двуначалия раскачал, да Никона за борт и уронил. А без патриарха — отошёл он от своих прямых дел, и качнулось единство русского мира… Вот в чём главизна раскола, о котором ты вопрошавши…

Иоанн сытно отобедал. Павел позвонил в серебряный колокольчик — явился келейник, вытянулся сухим лицом.

— Убери брашно со стола и принеси игумену квасу.

Послух скоро принёс кувшин с изморозью на гнутом восточном горле, налил в тяжелый оловянный стакан и тихо вышел.

— Услаждайся кваском, брате! Так, я о чём… Я долго Никона уразумевал.

— Клянут его раскольники…

— Патриарх накрепко приклонился к древней греческой обрядности, строго изгонял всё наносное из нашей церкви. А распусти бы он мирян, сколько бы тех же Аввакумов — и других сомустителей объявилось! Он ведь не принял «Уложение» царя сорок девятого года, ведь по «Уложению»-то Алексей Михайлович Монастырский приказ учинил, царь стал епископов поставлять на кафедры, а бояре начали судить священство — это ка-ак?! Православного учения, догматов Никон не касался, но вот церковную службу в стройность привёл. Ведь как у нас шло. Для сокращения службы, скажем, на утрени читали шестипсалмие,

кафизмы, каноны… Тут же дьякон ектении возглашал… Зайдёшь, бывало, в храм — кто во что горазд! А «хомовое» пение? До нелепостей же доходило: добавляли лишние гласные к словам — коверкались священные слова при этом. Ныне же стройно, понятно службу правим… Жаль, что далеко не все у нас поняли глубину патриаршей строгости. Ну, а раскол, тебе ведомый, он после Никона уж ожесточился. Попорчено тело нашей матери церкви…

— Зашатался мир. Вся душа Московии расколота. Чему быти?

— Бедам! Царь как одумался, так начал преследовать отреченников, а уж сын его безуправный, Пётр, батогом, плетью, казнями начал править. Вместо древних наших свычаев-обычаев иноземное во всем вводит, а тех же раскольников к огненному крещению солдатами гонит. Провижу, в недрах и далёких годов беда эта наша не избудется.

— Не одолеть насилием…

— Без толку! Священству, монашеству смуту гасить.

— И властям, кои с понятием.

— Аминь! — улыбнулся Павел. И уже у порога спросил: — Уразумел мой сказ?

— Просвещён, просвещён, благодарствую!

На том и расстались.

Иоанн возвращался в свой монастырь довольным: укрепил Павел, укрепил! Да, обозначилась теперь для него суть раскола, и одно остаётся: торопиться спасать отпавших на тёмной тропе заблуждений и вести их к матери церкви. На русской сторонке день и ночь светится она тёплым молитвенным светом восковых свечей. Зовет Господь:

«Придите ко мне страждущие и обремененные…»

Глава пятая

1.

Погожие дни июля 1701 года.

Несуетная монастырская дневалица. Иоанн сидел в своём покое за книгой.

Вошедший послух шмыгнул носом и объявил:

— Купец Масленков свидеться захотел. Что сказать?

— А то и скажи: просим жаловать!

Иван Васильевич, как всегда шумный, заговорил напористо:

— У меня пониже Софийской кожи на вымочке в Тёше — пройдёмся окольем города, взглянем.

Иоанн поворчал:

— Всё-то ты, муж честен, меня за собой, аки бычка на ужище…

Масленков, откидывая назад свою голову, коротко хохотнул, а потом начал укорное:

— Вас, монастырских, проветривать должно почасту, а то одним ладаном от вас несёт, а от коих и трухлом… У меня сёдни мыльню топят, с реки и в пар с тобой. Похлешшемся веничком, а после я тебе всяково брашнова выставлю, день ноне не постный. Ну, чево ты губы кривишь, совсем-то уж не замыкайся от мира. Эт-то не хитро — за стенами прятаться. Я что ещё к тебе… Вот с каким помышлением: зову на Макарьевскую. Кожу везу, юфти[24] заготовил довольно. Не пуст и обратно поеду, но захвачу и твоё покупное, что для монастыря приглядишь. Собирайся!

Была у Иоанна задумка побывать на ярмонке, цены у Макарья на многое подешевле арзамасских. Кроме прочего, надо купить служебных книг. Заходил как-то протопоп Воскресенского собора, увидел дониконовскую печать и головой покачал: остерегайся, слуги государевы бдят, они теперь круты…

Вышли из Настасьинских ворот, что возле собора, спустились съездом и оказались на Сенной площади. День был не базарным, у домов, что поближе к Тёше, мужики вили из кудели возовые верёвки, пилили дрова, здоровенный парень с уханьем колол толстые берёзовые чурки.

Масленков оговорил с кузнецом Цыбышевым ковку лошадей перед поездкой к Макарью, с другим знакомым сладил о поставе на купеческий двор бочонка для дегтя, третьему мужику заплатил

за едовое — листовое сено для телят.

Наконец пошли Нижней набережной — вниз по течению Тёши. За большим огородом Николаевского монастыря домишки посадских стояли редко, одним порядком.

Под кручью Воскресенской горы, на ближних сходнях, бабы полоскали бельё, били деревянными вальками шитые льны, весёлые светлые брызги дружно летели во все стороны. Четыре молодайки сидели на траве рядом с корзинами мокрого, уже выполосканного и задумчиво пели.

— Обожди, послушаем! — купец попридержал монаха за широкий рукав его рясы. — Ах, ястри их, какое согласие в голосах.

В Арзамасе, в Арзамасе — на украсе
Сходилися молодушки во един круг,
Оне думали крепко думу за-едино,
Что мы сложимтесь, молодки, по алтыну,
Мы пойдемте к арзамасскому воеводе.
«Ох, ты, батюшка наш, арзамасский воевода!
Ты прими, сударь, пожалуйста, не ломайся.
Дай нам волю, дай нам волю над мужьями!»
Как возговорит арзамасский воевода:
«Вот вам воля, вот вам воля над мужьями,
Вот вам воля, вот вам воля на неделю…»
— «Что за воля, что за воля на неделю?
Все едино, все едино, что неволя…»

— Ай да голубицы! Ишь что умыслили, как вывернули, к самому воеводе подступают. Судьбу-то свою будто на ладошке подали, души чистые. А ты знаешь, мних, где этот украс в городу нашем?

— Да вроде перед воеводским же двором — оглядистое весёлое место… Вот бы послушал наш Иван Карпович…

— Хорошо, как бы известился. Ничево поноснова на воеводу в песне нет, а молодушек в пору и пожалеть.

— Эт-то уж так!

Дошли до женщин, они узнали Масленкова, поднялись на него:

— Это твои кожи в речке — вонишша, дыханье спират!

— Вам, молодицы, и впрямь волю-то давать-думать, — весело отшутился Иван Васильевич. — Мой товарец мокнет вона где — за Софийской, считай, за городом. А чьи тут преют — не ведаю. Но пониже ваших сходней — чево уж так наседать?!

У масленковских кож оказался сторож. Лежал он на шубняке,

сладко подрёмывал.

— Тащи-ка, старинушка, одну…

Купец пригляделся, помял в руках склизкую коровятину, подергал остатки шерсти, обернулся к Иоанну.

— Доходит, через день-два вызволим из воды, и к Макарьевской будет готова… дочь попова…

Задождило в начале августа, но потом унялось ненастье, установилось вёдро, и золотом вспыхнули хлебные нивы, красным зарделись рябины на угревных лесных опушках, тяжелели сады от наливных яблок.

Большая Макарьевская дорога в прошлом тянулась от Арзамаса через волостное село Вад, Бутурлино и Княгинино.

Ехали в лёгкой тележке впереди обоза с кожами — за обозом досматривал сын Масленкова с работниками.

Навстречу попадали возы с сушняком, и Иван Васильевич не удержался, рассказал памятное:

— Ртищевской землёй катим.

— Не ведаю…

— Тоже мне! Ртищев — собиный друг Алексея Михайловича, постельничий царя. От села Протопоповки — во-он налево она, и едва ли не до самой городской стены — все эти двенадцать вёрст земелька прежде боярина. Подпёрло горожан — ни росту Арзамасу на север, ни скотину выгнать! Били челом наши деды: уступи угодья, боярин. Начально Фёдор Михайлович цену выставил в больших тысячах, а в казне города пусто. Взмолились арзамасцы, а в ответ: так уж и быть, сыщете сот пять рублей. И тово нет! Так и отдал вотчину Ртищев даром. Теперь и выгонные поляны, покосы и лес у города в наличии. Из лесу бедным посадским дровяной сушняк безденежно…

— Милостивец какой! — порадовался Иоанн.

— Вот такой… Рассказывали в Москве: выкупал Ртищев наших православных у мусульман, устроил большую богадельню в первопрестольной, поставил Спасопреображенский монастырь, при нём открыл училище, а нищих призревал постоянно. Сказывали ещё, что целый обоз хлеба отправил голодающим вологодцам, а пред смертью отпустил на волю всю дворню…

— Вечно поминать надо имя достославного боярина!

— Пока поминаем и детям накажем.

Ехали лесом, плотно обступившим накатанную дорогу. По лицу, по крутым плечам купчины прыгали светлые солнечные пятна.

Иоанн подивился:

— Как сойдёмся, ты мне новину сказываешь. Из тебя, как из тово рога…

Масленков отпустил вожжи, не торопил каракового жеребчика. Поглядел укоризненно.

— А ты как хотел! Раз купец, то и глупец… Любый мой! У вас, прости уж меня, долгогривых, грамота книжная и — славно, но и мы також читать и писать умеем, как же купцу без этова! А кроме тово, я вот поседел в санях и в телеге — где только не бывал, чево только не видал, чево не наслушался. Дорога, новые грады и веси, другие люди — это такое научение… Да во мне всякова знатья — на десятерых! Ивашенька… — Купец ухватил монаха за локоток. — Это чур, не в обиду. Вы — черноризцы, тож всю нашу землю исходили с крестом и словом Божиим…

— Видим во всём сущем мудрость Всевышнева, его любовь, щедроты к человеку и сим укрепляемся.

К Лыскову-селу — вотчине князя Грузинского, подъехали к вечеру, на исходе дня. Жара спадала, и тяжелела пыль на оживлённой дороге.

На лобовине лысой горы остановились: по съезду к Волге плотно стояли груженые телеги, легкие экипажи и даже старомодные большие рыдваны. Паром по широкой реке ползал медленно. Скоро чиркали по застекленевшей глади воды только чёрные скорлупки лодок.

Отсюда, с высоты, широко открывались синеющие в луговом заречье лесовые дали, в лёгкой дрожи сиреневой хмари чётко поднимался светлый профиль каменных стен, угловых башен и церквей Желтоводского мужского монастыря.

Натрясла дорога, но купец оставался неизменно весел, терпеливо пояснял:

— Торжище-то во-о-он там, левее монастыря, вверх по Волге. Ну, ждать нам перевоза долго, пойдём поставим по свече Макарию Желтоводскому, он хранит тут русский торг.

— Где же часовня?

— Да вон там, ближе к воде.

В часовне густо наезжего народу, духота от множества горящих свечей. В золоте большого оклада, в ярком тёплом свете преподобный, с высокой шапкой седых волос и окладистой бородой — Макарий стоял над своим монастырём и, казалось, улыбался из своего левого угла красочной иконы.

Макарьевская ярмонка…

Она и в том XVIII веке уже обросла устойчивыми преданиями и легендами. Была, была для этих преданий подлинная основа. И бедовая также.

Всё вобрала в себя Волга… Издревле она стала широким торговым путём между Востоком и Русью. Впервые по водному пути в 964–969 годах до Каспия проплыли судовые дружины

киевского князя Святослава, а в 1120 году — князя Владимира.

Из года в год, из века в век разноплеменные торговцы плыли навстречу друг другу. Где-то в середине лета они встречались, и местом этой встречи неизменно оказывалось поле возле Казани. Но в 1523 году на великом торжище Арского поля в каком-то диком неистовстве русские торговые гости были перебиты, от страшной резни не скрылся ни один.

После этого прискорбного случая царь Василий III запретил русским ездить на Арскую ярмонку и местом торговли назначил новопостроенный городок Василь на Волге, что встал крайней крепостью на границе русских владений. Оказалось, что без русских купцов — ярмонка не ярмонка. И потянулись караваны судов к Василю.

Постепенно великое торжище перебралось ещё ближе к Нижнему Новгороду, к самым стенам Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря, который пользовался в народе большой славой. Тут всегда ко дню преподобного Макария собиралось к 25 июля много богомольцев.

В 1439 году Улу-Мухаммед, свергнутый в ходе междоусобицы в Золотой орде, откочевал со свои улусом к русской границе, разорил почитаемый монастырь, и только в 1620 году Макарьевский возобновили царским указом. Михаил Романов также повелел возобновить и Макарьевскую ярмонку. В 1691 году известный Зотов — воспитатель Петра I, писал царю, что Макарьевская ярмонка «зело великое сходбище, о котором думать всегда надлежит». Скорый на дело, царь забрал у монастыря право сбора торговой пошлины: ярмонка-то проводилась на монастырской земле, управление торжищем отдал под надзор своих шустрых чиновников-обирал.

… Наконец-то переехали Волгу, уже заставленную едва ли не до середины реки разными судами.

Торговые ряды собирались из дерева ежегодно заново: место, отведённое для торга, топила вода по вёснам. Теперь ряды уже собрали, и купцы привычно обживали их.

Иван Васильевич повёз Иоанна в Макарьевскую слободу, там он постоянно останавливался со своими работниками на постое у давнего знакомца.

Уходя, успокоил:

— Раствор у меня заранее откуплен и, хоша сынок там с мужиками и приказчик — пойду, доглядеть за всем надо. О баньке я озаботился, приду — смоем пыль. Пока отдыхай, отче!

2.

И думать не думал Иоанн, что он так устанет в этот день открытия Макарьевской.

Торжественный, многолюдный молебен, крестный ход вокруг ярмоночного городка, подъём флагов — и всё это в присутствии высоких особ, именитого купечества.

Впервые Иоанн увидел и подивился великому множеству разноплеменных людей на торжище, бесчисленному богатству, сработанному человеческими руками. И второй раз, после Москвы, ощутил в себе гордость за принадлежность к православному миру.

… Более тысячи лавок распахнули свои створы, Иоанн всё-то обойти не посмел даже, приглядки близкой к товарам не вышло, поздно вечером еле нёс себя на постоялый. Ещё позже заявился Иван Васильевич — бодрый, даже весёлый.

Вслед за хозяином кучер принёс и поставил на лавку в светёлке корзину всякой снеди.

— Хозяюшка, посудочки! — засуетился Масленков, глядя на безучастного от устали монаха. — Вот из ренскова погреба! — шумел купчина. — Давай, отче, садись и пригуби хоть малость. Я ведь, считай, из застолья купецкого сбежал — собрались арзамасцы кутком…

— С кожей-то как? — вяло спросил Иоанн и нехотя принял оловянный стакан.

Иван Васильевич махнул рукой.

— У меня ж не мелочёвка… Посидели, как водится между купечеством, в харчевне я вятичу — знакомцу старому, половину кож и уступил. Цена сходная, не в убытке, это нет. А тут, уж в конце дня, сибиряк меня перехватил — завтра обещал остатнее взять. Сбуду товар!

Едва прилёг Иоанн и тотчас упал в сон, как в провалище. Рано утром пошли с Масленковым в кожевенный ряд арзамасцев. В начале ряда висела икона, и кожевники со смиренными лицами принялись молиться, потом тихо разошлись по своим растворам.

Иоанн попрощался с Иваном Васильевичем.

— Мне надобно в книжный ряд. До вечера. Будь благословен!

— И тебе Господь встречу!

Опять оглушённый человеческим говором, криками, ослеплённый множеством товаров, а подчас разными диковинами Востока, наконец-то разыскал нужную ему книжную лавку.

Купил два новых «Служебника» и, пока укладывал их в заплечную суму, опять вспомнил, что ждёт он Меланию. Сговорились же прошлой зимой в Балыковой. В книжном ряду, наказывала монахиня, спросить унженских лавошных.

Он встретил черниц у порога лавки — попятился, поднял

голову, и в его глаза ударил блеск Меланьиных глаз. Чёрные, бездонные, с поволокой… Иоанн смешался, очи взем опустил, не знал что и сказать. Чёрные брови вразлёт, яркие губы, а вот прежний румянец опал, лицо у монахини похудело, и резче означились плавного овала скулы.

Чернички будто наученно окружили Иоанна, а Мелания, оглянувшись — не смотрит ли кто, вполголоса обронила уже знакомое:

— Зову тебя за Волгу, брат. На Керженец… — она не дала заговорить Иоанну. — Мы слова твоево учительнова хощем, худотно живём, поп нам надобен!

«Да они беспоповцы…» — пожалел монахинь Иоанн.

Мелания пошепталась с одной из послушниц, та лёгкой чёрной тенью упала в дверной проём и тут же вернулась с кряжистым бородачом.

— Се — Иона. Учительствует…

Иона степенно согнулся в поклоне, выпрямился — у него было на удивление чистое белое лицо в окладе светлой редкой бороды. Его настороженность тут же прошла, он улыбнулся.

Мелания мягко коснулась его руки.

— Поговорите, братья…

Монахини отошли.

Иона вопрошал недолго:

— От ково священство восприял?

— От патриарха Адриана.

— Значит, пустынником за Арзамасом?

— У Тамбовской черты…

— Старица вон сказывала, что похотел ты у нас быти?

— Ей, тако!

— Ладно. Зело у нас богоугодно и безмолвно в лесах. Ведаешь ты, что у нас по старым книгам поют и читают. Ты какую веру приемлешь, старую или новую?

Иоанн замялся. Сказать правду — раскольники тотчас уйдут, ответить угодное Ионе — слукавить. Он вспомнил слова апостола Павла:

«Аз не отягаю вас, но Всезнающий Сущий, любовью вас приял…»

— За некими препятствиями сейчас ушел в Арзамасский монастырь…

— Это как же так, — встрепенулся Иона. — Если ты старой веры, от духовной благодати не отпал, то пошто из пустыни в новую церковь перешёл?

— Призван! Градские власти ко мне с настоятельной просьбой, а потом и братия с умолением. Ради чернецов

обретаюсь ныне в обители…

Иона пытливо, настороженно оглядел Иоанна и вздохнул.

— Ладно, можешь ты у нас быти, только твори всё по старой вере, в нужде мы велицей есмы без священника. Жалуй!

— Зело хощу к вам быти, — признался Иоанн и припал к плечу старообрядца.

В лавке Иона принялся писать. Подал бумагу с поклоном.

— Гли-и… За Волгой, от Вязломы идти на Деребино, спросить тамо Ивана Нетовского, а уж от нево идти на Ранасин Починок, в Починке спросить Иосафа — старца, а спрашивати у старца на Бельбож кто бы проводил. У Неонилы-матки Леонтий-трудник или кто иной, хошь наем пусть сделает, чтоб проводил в Бельбож…

Иоанн вышел из лавки, монахини тут же увели его из шумной ярморочной толпы на «ветерок», начали просить тотчас пойти в скит…

Он вперёд себя руки выставил.

— Сестрицы, я бы и с охотой, но не теперь. Как повелит Бог — явлюсь сразу.

Мелания теплом своих чёрных глаз обнесла, крылья её точёного носа затрепетали.

Поклонились друг другу.

Он еще постоял, посмотрел, как уходят монахини, пожалел Меланию: «В ней еще не улеглось девье…»[25]

Иоанн скоро находился, набил ноги и в этот второй день ярмонки.

В железном ряду купил для монастыря нужный безмен, заплатил почти семь алтын,[26] в Арзамасе такой же стоил дороже… Встретил мужика с солью, спросил почем же соль — два алтына с половиной за пудовочку — опять же дешевле, чем в родном городу. Кабы свои лошади! У Масленкова порожними с ярмонки телеги не катят, а взять бы и того, другого…

На постоялый пришёл рановато, похлебал щей, прилёг, да и заснул.

Проснулся — солнце на закат опадало. Садилось оно за Волгой, за высоким горным берегом Лыскова, и тут, на луговом месте у Макарья, рано начала густеть влажная сутемь.

Масленков ещё не пришёл — рановато ему. У купцов после дневных забот-работ свои сходбища: думают о будущей ярмонке, судят-рядят о купле-продаже, вяжутся обязательством — верным словом, что крепче любой бумаги. Купеческая честь прежде всего, она в цене неизменной.

… Пошёл вдоль берега Волги. Река отдыхала, широкие концы её — нижний и верхний, терялись в засиневшей хмари, и только

цветной частокол верхушек судовых мачт ещё показывал береговые тверди. По обеим сторонам реки вскинулись на тех же мачтах длинные ручьи фонарного света.

А тут, на луговой стороне, ниже и выше ярморочного городка, взбухало зарево от разведённых костров. На подходе к ним в красных, розовых и оранжевых взметах огня мелькали чёрные тени бурлаков, артельных грузчиков, крепких заволжских мужиков и просто азартных безвестных людей, коих всегда с избытком на больших торговых сборищах.

Людской говор ещё опоясывал Волгу…

Где-то поблизости плескалась вода, что-то вспыхивало и всполошно мерцало под чёрным лысковским берегом, а рядом наплывала песня, и Иоанн невольно поддался старой волнующей бывальщине:

Что пониже города Нижнего,
Что повыше села Лыскова,
В луговой-то было сторонушке,
Протекает река быстрая
И широкая, и глубокая.
По прозваньицу река Керженка.
Она пала устьем в Волгу-матушку,
Что сверху-го было Волги-матушки,
Выплывала-то легка лодочка,
Уж и всем лодка разукрашена:
Парусами она изувешана,
Ружьецами изуставлена,
У ней нос, корма — раззолочены,
На корме сидит атаман с ружьем,
На носу стоит есаул с багром,
По краям лодки добры молодцы…

Он присел на брошенную деревину — ночь сгустилась, дневная духота спала, в луговой сырости смягчились, утихали голоса, и только песня держалась высоты своей возвышенной печали… А рассказывалось в ней, что на лодочке бел шатёр стоял, а во шатре ковёр лежал, а под ковром золота казна… А на казне той красна девица сидела, есаулова сестра родная, атаманова полюбовница. Она плачет и с рыданием слово молвила, что нехорош ей сон привиделся: распаялся её злат-перстень, выкатился дорогой камень, тут и руса косынька расплеталася, выплеталась лента алая, лента алая ярославская…

Иоанн встряхнул головой, видение красной девицы, её тревожный лик растаял… Лента алая, ярославская… Он же такую

когда-то Улиньке дарил в купальскую ночь у Тёши.

Что песня-то напомнила. И как сердце-то защемило…

Иоанн пересилил себя и опять услышал, теперь уже окончание песни:

Атаману быть застрелену,
Есаулу быть повешену,
Добрым молодцам срубят головы,
А мне, девушке, во тюрьме сидеть!

Рядом, почти невидимые, заговорили у потухшего костерка укладывающиеся спать мужики:

— Ишь ведь как поют бурлаки!

— Все песельники…

— Душу жалобят. Народ вольный, а несчастный. Иные по полгоду домой не кажутся — берега Волги оминают…

«Что это я?! — вспомнил о себе Иоанн. — Ночь, а я шатуном, что на постоялом-то подумают о духовном…»

И игумен Арзамасского Введенского резво повернул в слободу.

3.

Год прошёл, а не дождались скитники заволжские Иоанна в свою лесную глухомань.

Особо ждал арзамасца Иона перед тем, как отправиться в дальнюю дорогу: старцы посылали его аж в Польшу, на Ветку[27] обращать тамошних православных в раскол. Утешился, правда, уставщик тем, что оставлял за себя Филарета. Но что Филарет! Заволжским двуперстникам нужен священник — залучить его непросто. Случалось, приходили в леса распопы, но что они, сана лишённые, от них святость уже не исходит. Вот почему с немалым терпением и обхаживали заволжские Иоанна — иеромонах известен уже благочестием, о нём уж и керженцы наслышаны…[28]

Филарет послал Ивана Дмитриева на Макарьевскую с наказом свидеться с Иоанном и снова звать его за Волгу.

Перемерял вёрсты посланник на узких лесных тропах, на разбитых дорогах до Макария и обратно, а не соблазнил арзамасца тотчас отправиться в Заволжье.

Тем отговорился игумен Введенского перед Иваном, что неотложная нужда велит ему отправиться в свою пустынь. И уже с

умыслом предложил: а будет у вас духовное нетерпение — приходите в Саров!

Давно снедало скитожителей духовное нетерпение. То после и говорил Иоанн: «звали, хотели уловить и привлечеши к своей прелести».

Пришёл-таки новый посланец не в пустынь, а в Арзамас. Кротостью и любовью говорил Иоанн с Дмитриевым, и тот вернулся к своим с надеждой: вроде бы склонится саровский монах к старому обряду. Староверы соборне повелели Филарету написать молитвенное послание Иоанну и отправить с ним всё того же Дмитриева теперь уже в Саров.

Филарет писал:

«… слышал я, государь-батюшка, о твоем благословении, что-де есть у твоего благословения желание о пустынном безмолвном житии… Помилуй, государь-батюшка, щедрот ради и человеколюбия Божия и ради Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и всех святых, умилостивися о нашей нищете, посети своим благословением и аще Господь Бог сподобит нас твое пречестное и священное лице видети и благословение прияти, и ты нашему житию и желанию нашему самовидец будеши, и мы всяко с твоим благословением о общем нашем спасении побеседуем, чтобы на милостива Творца своего, Его помощью и вразумлением сотворити и как бы свою жизнь, данную нам еже Ему-Свету работати и заповеди Его творити и лети и славить Его-Света до последнего издыхания, туне изнурити… И ты сего ради потщися нашу худость и убожество посетить. И не остави Господа ради нас туне и всуе трудитися, но облегчися без всякого сомнения, еже бы нам на общую пользу и на спасение. А уж мы тебя не оставим единого и назад проводим до коих мест ты изволишь…»

С этим посланием и пришёл на Старое Городище Дмитриев. Шёл сторожко, опасался показаться и в Арзамасе: слуги царя-антихриста вседневно повсюду ловят мало-мальски подозрительных и гонят их на дотошные допросы и дознания.

Известили Иоанна о приходе Дмитриева, и тотчас он съехал со двора Введенского. В Сарове уже скитничали трое его учеников — добавилась еще одна келья, пустынь помаленьку обживалась.

У новой кельи с радостным лицом встретил Ириней, взял под уздцы уставшую лошадь, отозвался:

— Во-о-он за волжской-то. Вот так сиднем и сидит уж который день. Кормим, как же! А келью твою проветрили, протопили…

Иоанн подошёл к знакомцу: плотный мужик, широченная борода закрывала поношенный армяк едва ли не до пояса.

Из-под чёрных лохматых бровей блеснули умные глаза. Торопливо снял с головы Дмитриев старенький гречушник, поясно поклонился.

Присели на лавочке близ поварни. Дмитриев вытащил из-за пазухи посылку.

— Вот, чти и не отринь!

Иоанн тут же прочитал бумагу, бережно свернул её.

— Много мне чести явлено… Коли по братолюбию — радуюсь. После передашь мою братскую любовь и понимание. Ну, пойдём в келью.

Иоанн шёл впереди и молитвенно просил: «Господи, не только не хочеши смерти грешникам, но и ожидаеши обращения их, вразуми сердца их светом познания. Призри нас всех грешных рабов твоих, вразуми в час сей как творити волю Твою святую ко спасению… просвети сердца наши и Твоему благоугождению, яко благословен еси во веки, аминь!»

Зашли в домок, Дмитриев двуперстно осенил себя крестом перед иконой старого письма и радостно взглянул на арзамасского игумена.

— Разболокайся, брат, и садись. На малость тебя одново оставлю.

В поварне Иоанн налил теплой воды в ушат, внёс его в келью.

— Разувайся, брат! Ставь ноги в лоханницу…

Только теперь заволжский скитник понял, что священнослужитель похотел свершить омовение его ног.

Посапывая, Дмитриев снял свои добротные сапоги.

Иоанн вымыл, бережно отёр чистой холстиной ступни старообрядца.

— Ты, аки Христос, что омыл стопы учеников своих на Тайной вечере… — умилился Дмитриев, удивляясь смирению и покорности монашествующего брата.

— Так должно нам поступать! — не отмолчался Иоанн. Он говорил искренне. — Если мы любим Бога — мы любим и друг друга. Ну, а теперь пошли трапезовать, братия ждёт. Ежели ты не приемлешь трапезы с нами… отдельно подадим. Есть у нас и чистая посуда, запасом стоит…

Вернулись в келью — наступал вечер, отсветы низкого солнца поджигали красным тучи, гладко тёсаные сосны восточной стены домика горели сухим огнём…

Иоанн устал за долгую дорогу — ломило в пояснице, но видел, что заволжский посланец слишком уж утомлен ожиданием, в нетерпении ждёт ответа на послание своих скитников. Игумен зажёг свечи, присели к столу. Настороженный Дмитриев мял в пятерне свою дремучую бороду.

— Ответ на присылку тотчас не дам — утро вечера мудренее. Ты ведь взыскуешь и другое. Провижу тебе вскорости вразумлять и наставлять в вере своих близких. Пасомые твои о многом учнут вопрошать — давай-ка вместе искать истину. Я ведь и сам, брате, взыскую. Изобразим действо: ты ко мне со своим, а я стану выставлять своё…

За прошедшую зиму в своем Введенском, обложась книгами, Иоанн составил для себя наставление, как обличать и увещевать тех, кто откачнулся от церкви. В свою пустынь нынче приехал с выписями из этих книг, да уже и в памяти держал многое.

Дмитриеву в интерес послушать Иоанна: пусть даже он и никонианин. Но ведь стакнулся с Ионою, похотел прийти к заволжским старцам, а потом и семь лет тут вот скитничал, икона в углу старинного письма… Очень надо испытать арзамасца…

Как прежде Корелин, Дмитриев начал с вопрошений о перстосложении для крестного знамения, об аллилуйе, о церкви, о священстве — о самом-самом коренном…

— Ведаю, ведаю, что сие и есть камень преткновения… Погодь, соберусь с мыслями…

О церкви Иоанн пояснил Дмитриеву кратко: Христос и церковь нераздельны, и святость церкви сам Спаситель утверждал тем, что гнал торжников из храма.

— Было сие?

— Было! — соглашался Дмитриев.

— Та-ако! — всплескивал руками Иоанн. — То и прими, что свет-от не в одной окончине… Приложу к сему, что апостол Матфей сказал: аще кто церковь преслушает, тот будет яко и язычник, и мытарь. Смотри-ка, вот за сей закладкой… Глава восемнадцатая, стих семнадцатый. Ну и не забыл ты, небось, что Христос со своею Матерью молился в Иерусалимском храме…

— Истинно глаголеши!

— Приняли церковь! — Иоанн ласково поглядывал на старовера. — Принимаем и священство, иначе же безначалие, а оное есть зло, как говорит Златоуст. Скажу далее о духовных лицах — о священстве писано у апостолов, в «Кормчей», в «Большом Катехизисе»…

— Постой, попридержи вожжи! — Дмитриев готов был вскинуться над столом. — В правиле пятнадцатом сказано, что всякому человеку подобает учити…

Иоанн усмехнулся.

— Вот чем вы там, в лесах, себя утешаете… Это правило толкует, что учити может только искусный в слове и наставлять только в доме близких, но не в храме!

— А пророк Даниил-то что сказывал?!

— Что сказывал… Ах, ты, брате мой… Что нам следовать стороннему, ветхозаветному. Слова Даниила относятся к библейским временам. При том… израильтяне томились в Вавилонском пленении — Иерусалимский храм разорили халдеи, жрецы были побиты, частью пленены…

— И опять ты меня приклонил! — с досадой поджал губы Дмитриев. — Что там у нас далее — аллилуйя?

Иоанн твердо прихлопнул обеими ладонями столешницу, сказал твердо:

— Опять я тебе толмачу: тройственно возглашать надо! Сим в псальмах хвалим Господа. Тут, Иване, исповедуется таинство Святой Троицы — разумей! А прибавление «Слава Тебе Боже» — это опять же единение Трех Лиц божественных. По разуму Григория Нисского, понимаем и говорим: «Хвалите Бога Отца, хвалите Бога-Сына, хвалите Бога-Духа Святого». Знаю, заволжские старцы стоят за удвоенное аллилуйя. Вспоминают, стало быть, токо два лица Троицы. Не согласуется это с православием.

Дмитриев едва дослушал Иоанна. Через столешницу надвинулся на него.

— А Максим Грек[29] в своем слове писал, что дважды аллилуйя возглашал Игнатий Богоносный…

— Оле! Слукавил Грек! — обрадовался Иоанн тому, что вспомнил разговор об аллилуйе с архимандритом Павлом из Спасского. — Он, Грек-от, прохладен к нашему православию — латинства в нём много. Игнатий жил и пострадал в годах древних. А Максим внедавне, как же он мог беседовать с Богоносным…

— А у латинян, как Грек вещает…

— И тут Грек покривился! У них, у римлян, аллилуйя, как достоверно сказывают, глаголется и трижды, и четырежды, и боле. Помни: наше троичное аллилуйя есть песнопение восточной православной церкви.

Дмитриев долго сидел молча, уставившись глазами в чистую скобленую столешницу. Тёплый свечной свет мягко обливал оплывы его широких плеч под белым холстом рубахи.

Он потер переносицу и задумчиво, скорей себя, спросил:

— Как же теперь всё это изъяснить самому себе, приять…

Иоанн тихо напомнил слова Христа:

— «Блаженны алчущие и жаждучие правды». Думай, пещись о душе. И что вы там слепо в своем Заволжье хватаетесь за слова непросвещенных? Заглядывай в книги и думай — сличай, пора уж! Ну, брате, прости… Меня сон морит, на мельнице уж петух зорю кличет. Лезь на полати, тамо шуба и подушка…

Уже на своей рогознице[30] подумалось Иоанну: а Максима

Грека почитать бы не худо…

4.

Роса уже подсыхала, когда они пошли по горе — Дмитриеву захотелось осмотреть пустынь.

Стоял замерень — предзимье. Уже твердела земля, оголёнными стояли старые ветлы и низкие тальники на берегах Саровы и Сатиса. И только сосны за речками всё так же молодо и свежо зеленели под неярким и холодным солнцем.

Хрустели под ногами сосновые шишки и мелкое палочье — Дмитриев осторожно ставил ногу в больших лаптях со сдвоенной подошвой, и это забавляло Иоанна.

— Боишься ноженьку уколоть?

— По такой красе ходим… Вот тут красота неизреченная, весёлая…

— Здесь храму бы стоять… — забывшись, помечтал вслух Иоанн.

Дмитриев резко остановился, минутно замер в себе — слово о церкви подсказало, кто перед ним. Почти зло обронил:

— Мнится мне, что ты никонианин, щепотник? А говорил, будто слово твоё истинно.

— Да не моё! — поднял голос Иоанн. — Напоминал я тебе глаголы Божьи и речения отцов церкви. Я лишь перелагал, а ведь ты душою соглашался, а?!

Дмитриев прямо не ответил. Встал у сосны, огладил её шершавый ствол и тихо признался:

— В недоумении пребываю. Очеса ночью не смыкал долго — в такое ты меня окунул. И сейчас аки бы какой силой связан, и язык мой скован. И хочу сказать противность тебе, а не могу. Ты не волхв?

— Да что ты, милой! Ты в сомнениях… Севодня, завтра в сомнении, а потом придёт и просветление — устрояй себя!

Медленно спускались с горы. Дмитриев всё говорил — расслабился:

— Пришед я сюда, посланный нашим отцом Филаретом. Умилосердись, самовидец, братия просит тебя быти в скиту!

Иоанн своё в уме держал: ладно, приедет он в Заволжье и будет един противу многих слепцов, кои ором берут на собеседованиях, а не рассудком…

— Не свободен! — виновато отозвался Иоанн. — У меня тут вот и в Введенском делов скопилось… Ага, мечусь туда-сюда. Бог

даст — свидимся. А пока я отпишу Филарету.

Посылка вышла краткой. После положенных братских приветствий и заверений Иоанн открыто написал:

«… ничтоже иное ко спасению нашему нужно, токмо православно веровати и быть в соединении в православной вере, вообще быти во единой Соборной Апостольской церкви».

Саровцы заботливо снарядили Дмитриева в дорогу. Иоанн провожал до мельницы Онисима. Постояли, поклонились друг другу.

— Долгоденствия дней тебе, брат!

Дмитриев благодарно принимал напутствия и всё кланялся, кланялся.

За долгий обратный путь Дмитриев о многом передумал, и открылось ему одно: не лукавил арзамасец, говорил с верою и сама истина для него, Дмитриева, глаголала. Призадумался в скиту и Филарет, что посылал своего ученика в Саровскую пустынь. Пересказ Дмитриева сверил с книгами — так и есть! Да, силен черный поп из Арзамаса! И Филарет поругал себя: пошто ране-то слову своих сотолковников слепо верил…

К кому же третейскому обратиться, от кого принять просветление. Что купно скажут свои заволжские старцы — ведомо. В Нижний к ревнителям старой веры пойти — опасно, подгляд за ними давний. И одно неотступное думалось: надо искать встречи с человеком знаемым, к заволжеским любовну. А не открывается ли через игумена Иоанна Божий Промысел, не указуется ли чрез него путь спасения?!

И решил Филарет, а решил, то и сделал: взял с собой несколько бельцов, целую кошницу писем раскольничьих, книг нужных и пошёл в Арзамас.

… Уже в начале раскола у приверженцев старообрядства быстро сложились вопросы к своим противникам, а более того — составилась защита своих воззрений.

В свою очередь и «никониане» нашли в Библии, Евангелии, Апостоле, Катехизисе, в книгах отцов церкви, в словах святых подвижников и соборных поставлениях чёткие резоны на все вопрошения и утверждения раскольников.

Против главных раскольнических догм утвердилось девятнадцать основных ответов и составилось крепкое обличение частных догм старообрядцев, которые нашли своё выражение в беспоповщине, аввакумовщине, онуфриевщине, диаконовщине, кадильщине, федосеевщине, ветковщине, поморщине, нетовщине, морильшине и сожигательстве, в погребательстве, молоканщине, иконоборщине, а впоследствии против сорока восьми толков раскола…

В Введенском приняли скитников по-братски. Накормили бельцов сытно, и те пошли смотреть город, а Иоанн пригласил Филарета к себе в игуменский покой.

Филарет открывался чистосердечно:

— Духовную любовь ты к нам явил, брат. Уязвилась моя совесть, совсем-то уж не доверял прежде, но вот пришёл к тебе.

— Доверие не главным ли между людьми — спасибо, брат. — Иоанн радовался началу разговора. — Смиренно стану слушати твои слова, да будет меж нами самая нелицемерная любовь!

Филарет отозвался не сразу, отозвался упавшим голосом:

— Плачевно слово моё. Церковь у тебя благолепа, ограда надежная… Рядом — соборный храм, воевода с воинством. Не прячетесь — легко вам, живете открыто, без упрятки, а мы-то тамо в чащобах лесных отходную никоновской Московии отпеваем, а может и себе…

— Чем всё же держитесь, люди старого благочестия?

— Святостью научителей своих! Загинай-ка персты: Никита, коево никониане осмеяли, посрамили, по злобе нарекли Пустосвятом; Аввакум — отец наш духовный, сожженный в Пустозерском остроге. С ним ведь лютую смерть прияли инок Епифаний, дьякон Федор Иванов, священник Лазарь со прочими. И обретаем силы от имен мучениц боярыни Морозовой, княгини Урусовой — голодом уморены в Боровских земляных ямах. Инокиня Иустина сожжена… Целый собор просиял наших заступников перед Господом…

Филарет долго молчал.

Иоанн легонько кашлянул, напомнил о себе, начал осторожно вводить заволжского уставщика в разговор.

— Вы там у себя ищете спасения… Тем и мы заняты. Давай налаживать себя на беседу немятежно, рассудно, без лицемерия греховнова. Вспомним-ка для начала: сколь разных толков среди вас появилось… Ведь что ни скит — свое согласие! И вот меж вами, согласниками, нет, как говорят, никакова согласия. Это как же?! Лаете друг друга почем зря, соромите. Чему же там у вас учат научители. Не злобе ли противу святых истин? Да разве это Божие веление, разве уязвленное православие нужно Ему. Ужели ради этова православная вера просияла в мире?!

Филарет заговорил с трудом. Его полное веснушчатое лицо вспотело от напряжения.

— Ждут скитники конца света. Неможно избежати в сем мире печати антихристовой. А кто примет печать — тому нет покаяния. Потому и криком души кричат: жить — погинуть, значит, а решиться уйти из мира — возмечтать о царстве небесном. И сожигают себя со словами: души за Тебя полагаем с любовью и да

не нарушаем своего крещения, сожигаем себя огнем, да в той вере умрем, в коей родились. Зри, како радеем!

Иоанн вспомнил:

— В Олонецком крае, в Палеостровском монастыре почти три тысячи сожглось — да разве это Божие веление, опять же… Да всякое насильство над собой — грех непрошеный!

Филарет вскинул голову.

— Легко судити других… Разумей, игумен: нигде же нам нет места спасения, только в огонь да в воду, везде мы гонимы антихристом. Пришёл царь Пётр и вершит последнее потоптание святой старины. Но «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царствие небесное».

Иоанн покачал головой, заговорил на сей раз резко:

— У вас одно твержение! Не подумай, Филарет, не хулю ваших первомучеников, отцов-ревнителей… Но ведь и то правда: никто их не изгонял из ограды церкви нашей, они сами, сами в непомерной гордыне своей, в помрачении ума отпали и стали греховно совращать других в ересь. Вернитесь же со смирением в стадо Христово!

Три дня увещал Филарета Иоанн, три дня они сидели над книгами, разбирали всё рукописное, что было принесено в Арзамас. На четвёртый день едва ли не с плачем признался Филарет:

— Уж давно смутился я разумом. Выходит, прелестями бесовскими повиты и повязаны многие в лесах. Изнуряем себя, гибнем, а нет пользы от наших уклонов, нет, стало быть, и спасения. Пагуба, пагуба нас объемлет!

— Ну-ну… — успокаивал старообрядца Иоанн. — Не бесовские прелести, зачем же сам себя пугаеши… Слаб человек, постоянно он подвержен заблуждениям… Окрылитесь духом, ступайте же к церкви Христовой — покайтесь и будет вам воздано!

— Нет у нас церкви… — завздыхал Филарет.

— Что, лесу мало? Топоров нет…

… День прошёл, два ли — признался старообрядец:

— Боюсь входа в вашу церковь. А охота посмотреть на чин вашей службы.

Иоанн нарочито просто обронил:

— Чин у нас отцами церкви освящен. Грядем, брате, в храм. Послушаеши святую литургию. Ничево еретического нет, все православно!

Назавтра Филарет встал у дверей церкви и всё высматривал, настороженно слушал стройное пение монахов, молился, кланялся, но крестился двумя перстами.

По окончании службы Иоанн вошёл в келью Филарета и подал просфору.

Тот смутился, отвел руку Иоанна.

— Не смущай!

— Ну, что ты, брате… — Иоанн говорил ласково: — Сотвори крестное знамение, призывай к себе Бога, прими просфору без сомнения и съешь мягко… А начально напомню, как крестился ты двумя персты. Я тебе ране-то сказывал и ещё приложу: ещё в сорок девятом году вселенский патриарх Паисий сошёлся в истине с нашим патриархом Никоном: согласили они трехперстье — правду глаголю!

Филарет принял просфору, его трясло, когда он мял её во рту.

На другой день Филарет встал во время службы на клиросе, говорил часы, но пел литургию ещё по старопечатной книге…

И все же состоялось приобщение заволжского уставщика к матери-церкви.

Невдолге он ушёл с бельцами за Волгу. Прощаясь, припал к Иоанну, радостно прослезился.

— Воскресил ты и меня. Теперь я спасен и живу, живу!!!

— Живи, голуба! — радовался Иоанн.

5.

Филарета в Заволжье с нетерпением ждали. Едва он передохнул с дороги, пришёл Дмитриев и сообщил:

— В моленной ждут!

Филарет оглядел своих скитников — лохматые головы молодых, седые бороды стариков — у всех в глазах нетерпеливое ожидание.

Уставщик боялся начинать разговор. Он же ввергнул этих близких породнелых людей в тенета греховного раскольства, ему поверили, его чтили…

Уставщик начал с тихого покаяния:

— Впал аз в грех, был я доселе в прельщении с вами. Все мы тут прельщены, пребываем в неправоте… — голос Филарета наконец затвердел: — Един Бог, едина и православная вера, и едина для православных церковь! Не имеем мы ни церкви, ни священника, а ведь повелел Христос, через своих апостолов, все тайны совершати, мы же от них отмещаемся — не-ельзя так-то! Сам Иисус крестился и молился в храме, а мы-ы?!

Грозно поднялся с лавки древний Софонтий. Заговорил на

удивление молодым срывающимся голосом:

— Гли-ко, какая кишка у нево тонкая. Как скоро ты разуверился, кто тебе в Арзамасе напел в уши?!

Филарет уже оправдывался:

— Три дня… И ночи ещё прихватывали… Мы с игуменом Иоанном перелистали все его и наши книги и нашли на всё ясные ответы. Скажи ты, Иван!

Дмитриев встал, загудел спокойно:

— Вы меня отличали доверьем — я тож день и ночь дотошничал в Сарове. Никаких перемен в догматах веры я, братья, у никониан не усмотрел. Поправление в служебных книгах давно кричало. Конь о четырех ногах, да и тот постоянно с потычкой. Поправляли «Служебники» и до Никона, но иное утвердили заново… И верьте: все ко славе Божией! Пойми, братия, цари — Божьи помазанники, патриархи, награжденные властию от Бога, священство, бояры, умудренные в грамоте, — да неуж от них Всевышний отошел? Да нет! А кто мы? Смерды темные! Забились в леса и всему миру кукиш кажем, святость себе присвоили… Не молимся ли мы в лесу — колесу… Один нам теперь путь — скорей в церковную ограду!

Филарет вскричал:

— Братия, не предайся греху уныния! Божие смотрение не обойдёт и нас!

Моленная гудела в смятении и растерянности: вона куда-а наставники-то оглобли повернули, в отступ пошли!

Кто-то сокрушенно вздыхал:

— Да-а, малеет стадо избранных…

— Ох-ти-и, за грехи наказуемся…

— Не беси ли крутят-вертят…

Шли дни… Мало-помалу задумались скитники — увещали их Филарет с Дмитриевым почасту. И сперва озаботились мужики: как грех-от замаливать, старину поглубже копнули: без веры в Бога не жили, заповеди блюли, а ежели что не так — спрос с расколоучителей, что в противство народ ввели…

И появилась наконец общая забота: должно покаяться, исповедаться, чистыми войти в матерь православную церковь! Пришли скопом скитники к Филарету. Тот же Софонтий принялся наущать:

— Зови тово арзамасца… Кланяйся, понеже бо зело великим люблением прилежать к нему надобно.

С Филарета и гора с плеч. Засиял своим веснушчатым лицом.

— Умилостивились, старинушки… Боголюбивые, перво поставим церкву, а после и монастырь объявим — спасёмся!

Летом 1705 года, опять же в конце июля, Филарет поехал на

Макарьевскую ярмонку в надежде увидеться с Иоанном, но того на торжище не оказалось — игумен Введенского пребывал в Москве.

Очень уж хотелось свидеться, порадовать, что обратились скитники, что о церкви задумано, что зовут его, Иоанна, в Заволжье. С этим и поехал Филарет в Москву, но и там арзамасца не сыскал, тот уже отбыл в свою отчину.

Преуспел Филарет в другом. Через доброхотов сошёлся с иеродиаконом Чудова монастыря в Кремле Дамаскиным, попечаловался, рассказал ему о своём. Дамаскин свёл со справщиком Печатного двора монахом Феологом, а Феолог опять же свёл Филарета с судьей дворцовой канцелярии Василием Сергеевичем Ешевым.

Тот и помог написать челобитную о даче земли под церковь. Указ вышел тут же, а с ним и второй — благословенная грамота на построй церкви — недавнему раскольнику как же отказать в этом! Счастливый Филарет поспешил с драгоценными бумагами в Заволжье. Скитники тотчас начали вострить топоры, а Филарет покатил в Арзамас.

Иоанн верил, что воля Божия исполнится… В монастырской церкви оба они вознесли Всевышнему самые благодарные молитвы.

… Пришёл к архимандриту Павлу в Спасский. Тот знал о связи игумена с раскольниками. Благословил на дорогу и добавил:

— Делай, Иоанн… Ты у нас истинный делатель Христов!

Выехали из Арзамаса 22 ноября.

В Юрьевне явились к тамошнему воеводе.

Филарет объявил:

— Годует у нас воевода Михаила Андреев, он поклоны зело любит…

Наконец-то подьячий впустил к «самому»…

Старый, видом добродушный служака оказался рад-радёшенек тому, что его старообрядцы возвращаются в лоно православной церкви — высшие власти уж не раз грозили воеводе наказанием за попущение расколу. Вот теперь можно и рапорт подать о трудах своих праведных…

Воевода приказал не задерживать попусту Иоанна и Филарета.

Вышел на крыльцо канцелярии, пообещал заглянуть в скит. Пошоркал подошвы сапог о половую тряпицу и вдруг загрустил: раньше дающая рука-то скитников не оскудевала — облегчали себя тотчас. Теперь с церковников дачи будет ждать потрудней…

6.

Ехали дрёмной зимней глухоманью. Старые леса стояли в сонном онемении, угнетали стылой тишиной. Только и слышалось шуханье опадающего пухового инея да тоскливый скрип санных полозьев, да редкое стрекотанье потревоженной сороки.

Наконец сквозь белые саваны высоченных елей означился малый просвет, увиделся просвеченный золотистым солнцем ленивый дымок на боковине заснеженного дома, волнующе пахнуло жильём.

Филарет, сидевший копна копной в передке саней, подал знобкий голос:

— Приехали в свою палестинушку, слава Богу!

Видно, кто-то скараулил их приезд — монахи встретили Иоанна и Филарета за воротами скита. Всё жильё стояло огороженным плотным, давно почерневшим тыном. Встречавшие покорно склонились до земли, едва приезжие сошли с саней.

Отогрелись, наскоро отобедали, и тут же скитники ввели арзамасского игумена в крестовую келью, в которой отправляли молитвенное правило. Вечерело. Слюдяные окончины взблескивали то садящимся солнцем, то густой холодной синевой.

Последовала молитва. Расселись по лавкам, Иоанн пригляделся к собравшимся. Он давно уже привык говорить с людьми, знал, о чём взыскует душа этих заблудших. Перед ним сидело всего-то семеро монахов, одна монахиня, шестнадцать бельцов да три белицы.

Иоанн заговорил торжественно — понимал, что ждут от него сейчас.

— Братья и сестры! Истинно ли вы обращаетесь, просятся ли души ваши к нашей соборной церкви — ответствуйте! Помните: не горит свеча без фитиля. Верой ли в церковь вздымаете вы себя?

Скитники снопами повалились ниц, застучали лбами о чистые половицы моленной.

— Истинно, отче святой, истинно!

— Ну, благословен Бог наш, изволивый тако.

Один за другим поднимались скитники, чистыми глазами смотрели на Иоанна. Со всех сторон неслись к игумену вздыхающие молитвенные голоса:

— Приносим покаяние за свои отклонения и прегрешения!

— Алчем пищи духовной!

— Желаем исповедоваться и причаститися Святых Христовых

Тайн.

— Ей, отче честной, желаем сподобиться…

— Молим Бога, да твоими молитвами, исповеданием святым отторгни нас от прельщения лукавого!

И все разом:

— Ка-а-аемса-а…

В радости Иоанн воздел руки.

— Спасибо за умиленные слова. Велики грехи наши, но и милость Божия пределов не знает! Да будут спасены души ваши, горят они чистою верой…

Не обошлось без вопрошений. Один из уставщиков скита задал — для иных и умудренных, два нелёгких вопроса. Но Иоанн, прежде чем отправиться в Заволжье, изрядно посидел за книгами и тотчас спокойно ответил словопроснику:

— Сказываю достоверное: ещё архимандрит Троице-Сергиевого монастыря Дионисий исправил в нашем «Требнике» чин великого освящения воды. Что было допрежь. Читали допрежь тако: «Освяти воду сию Духом святым и огнём»…

Уставщик вскинулся с лавки, вздернул вверх седую бороду.

— Так, истинно глаголеши. И — огнём!

Иоанн тихой лаской голоса ответил всем:

— А ведь Дионисий взял, да и упразднил слово «огнём». Сперва его сочли за еретика, но иерусалимский патриарх Феофан убедил, что слово «огнём» ошибкой вкоренилось в «Требник».

— Кабы мы это знали-ведали…

— Знайте же! А теперь о причастии. Да, установил наш российский патриарх Филарет преподносить мирянам святое причастие во образ Святой Троицы не троекратно, а единократно. Так ведь и этот обычай был поновлен по слову иерусалимского же патриарха Восточной церкви Феофаном. Когда сие случилось? До Никона! Знаю, для тех, кто отпал от нашей церкви — Никон такой-сякой еретик, но ведь ещё до Никона стали поправлять наши книги, и ведь начально-то никто противу этова не возражал, радовались обретению истин. Пошто же теперь многие противятся уложенным в прошлые времена новинам… По слепоте своей, по недомыслию!

Целую неделю провел Иоанн среди скитников — поучал их, испытывал твердость их намерений. Потом объявил:

— Напишите роспись, кто желает соединиться с православной церковью.

После этого Иоанн исповедовал каждого отдельно.

Неожиданно для него захотели отстать от раскола пятнадцать монахов соседнего Иосафова скита. Оказывается, в скором рвении послужить Богу, Филарет побывал у них и просветил братию,

которая, впрочем, и сама уже искала путь к церкви. А потом явился Артемий Иванов, у которого в скиту проживало двадцать монахинь, и тоже просил присоединить своих пасомых к прочим. Иоанн исповедал и этих.

Собрал вместе Филарета, Иосафа и Артемия.

— Как священник я вас всех исповедал, а вот приобщиться вам Святых Тайн надо во храме. Поедем в Спасский монастырь на Кезе — ближе его обители нет.

— Это где же? — недоумевал Иванов.

— Балахонского уезда, Спасская Раевская пустынь…

Иосаф и Артемий со своими поехали вперёд, а Филарет и Иоанн со своими несколько задержались.

Хорошо было дремать в тепле новой шубы под монотонный скрип полозьев. За возницу сидел Дмитриев. Филарет тоже дремал. Позади на двух подводах поместились монахи и бельцы.

… Иоанн разом проснулся от страшного крика, храпа и ржанья лошадей, всполошных голосов. Он не успел подняться, не успел осадить высокий жесткий воротник шубы, как его кто-то рывком выхватил из саней. Только и увидел перед глазами заиндевелую от дыхания бороду, метнувшееся в сторону ражее лицо здоровяка. И тут же услышал плачущий крик Филарета:

— Святого отца не тро-ожь!

«Разбойники, кто же кроме…» — метнулось в голове испуганное. В длиннополой чернёной шубе, ухватившись за еловую лапу, он с трудом поднялся из сугроба и огляделся. Здоровяк с ражим лицом мял Филарета, топтал его треух. И ещё один, тоже кряжистый, сшибся на кулачках с Дмитриевым.

— Узнал, узнал тебя, злодея! — ревел под здоровяком Филарет, лицо его было в крови.

Иоанн наконец расстегнул верх шубы.

Развилок дороги… Всё тот же засыпанный снегом лес. И с хрипом рвущиеся из оглобель лошади, избитые, связанные монахи Филарета, визги белиц…

«Это ж закоренелые раскольщики со мщением!» — тотчас догадался Иоанн. Он распахнул шубу, сдернул с себя крест на цепи и бросился к главарю лиходеев.

— Бо-ога побойся! Вы что аки тати на божьих людей?!

И ражий мужик, увидевший перед собой священника, выпустил из рук Филарета. Тот с трудом поднялся — лицо и борода в кровяных натеках.

Другие нападавшие отстали от Дмитриева и монахов.

— Вороти, Осюха-а…

Главарь повалил Иоанна и Филарета в сани, ухватился за вожжи. Связанного Дмитриева бросили нападавшие на свои сани.

Ехали долго — два раза сворачивали куда-то. Главарь, нахлёстывая коня, всю остатнюю дорогу то яростно ругал, стращал страшными карами Филарета за его отступ от правой веры, то едва ли не слёзно просил его отстать от клятых никониан.

Избитых, измятых привезли их в какой-то большой скит на берегу небольшого заснеженного озера и затолкали в подклет новорубленного дома.

— Не шкни у меня, июда! — пригрозил Филарету свирепый бородач и закрыл подклет на замок.

Только на третий день наверху, в доме, началась ходьба, там зашептались, некто забухал простуженным кашлем.

Филарет в надежде, что его услышат, закричал:

— Никифо-ор! Есть он, Бог, поделом себя наказуешь. Ты ково мытаришь, ково в узилище держишь… Ты игумена арзамасскова под замок в ямище кинул. Солдат ждёшь, а?! Иосаф и Артемий теперь уже на Кезе, о-они расска-ажут. Смотри, грядет сюда царева расправа — сгубишь ты свой скит, опомнись. А мы в обрат не повернём!

Наверху зашумели, заспорили.

Филарет взялся ободрять закоченевших монахов.

— Служатся Никифорка!

Видно, и впрямь староверы испугались строгих властей: где-то через час-два тот же Никифор откинул дверцу на голбце и, бухая кашлем, объявил:

— Ты, еретик Филаретка, взноси пятнадцать рублёв за своих, тоды выпущу.

Кроме трёх рублей у Иоанна да двух у Филарета, денег ни у кого не оказалось, все сникли.

— Пятишную набрали, а боле нет! — крикнул Филарет.

— Поелику боле нет — сидите! — бухнул словами и кашлем Никифор и накинул на запертую дверцу тяжёлый железный крюк. — Одумайтесь, отступники!

Филаретовцы приуныли вовсе. И неизвестно, сколько бы они просидели ещё и чем бы закончилось это их сидение, как с улицы открыли кованую дверь в подклет и какой-то мужик, ласково улыбаясь, предстал перед узниками.

— Заплатил я за твоих, Филаретушка. Полтора десяточка рубликов отдал. Сем-ко выходь, свободны!

— Ты, мил человек, откель меня знаешь? — изумился Филарет.

— Наслышан. Не токмо дурная слава бежит. Как собьёшься с денежками да будешь в Юрьевце, спроси Афоню Сбитнева, ево там все знают. Братовья мы с Афоней. Ему и возвернёшь должок.

— Ах, ты Боже ж мой… Всё сполню! Да я свечечку за твое здоровье поставлю! — радовался Филарет.

Изголодались Филаретовы скитники. Уже в дороге, в санях принялись грызть мёрзлый хлеб, благо делать было неча.

Погода портилась. Ехали то чистыми продувными боровинами, то виллявая дорога западала куда-то вниз в овражные лютоместья, столь заваленные снегом и с таким густым чернолесьем, что делалось почти темно под его мрачными сводами. Сверху из белёсой навеси туч всё пуржило и поддувало — опасались убродных заносов.

Приехали в Спасский монастырёк Балахнинской округи ночью. Тут, на лесной росчисти, пуржило гуще. Лошади устали, дымились парные бока.

Филарет сошёл с саней, размялся, ударил в привратное било.

Нескоро донёсся старческий слабый голос:

— Ково Бог даёт?

Филарет закричал обрадованно:

— Свои, Филаретовы монаси. Отец Иоанн из Арзамасу. Иосаф, Артемча тут ли?

— Инда заждались…

Натужно заскрипели мороженые створы крепких ворот, заскрипели сани, раздались из темноты зовущие голоса.

— Сюда, сюда лошадей вороти!

— Э-э… Да тут и девы… Замёрзли, чай, перепёлочки.

— Не без тово!

После в тёплых покоях своих перед сном игумен признавался Иоанну:

— Кабы вы завтра не появились, послал бы вершника с доношением к градскому начальству. Меня тут Иосаф сдерживал: пожди да пожди, а вы-то там в темнице, в насильном запоре…

— Не в велику муку всё это нам. Господь не попустил злу.

Рассолодевший от горячего ужина, от тепла игуменских покоев, Филарет сонно отозвался:

— За веру и пострадать почли бы за радость.

— Тако, тако! — признал довольный игумен.

Глава шестая

1.

Он сам служил литургию в храме, а когда настали минуты приобщения, велел приблизиться и поклониться до земли Пречистым Тайнам, а потом повторять за ним вслух молитву.

В маленькой зимней церкви монастыря горело много свечей, обращённые раскольники в белых холщовых одеждах со светлыми лицами, с распахнутыми глазами умиленно смотрели на Иоанна. Наконец-то они сподобились стоять в храме!

Его густой, торжественный голос возносил людей к престолу Всевышнего:

— Слава Тебе, Господи, яко дал еси нам обращение! Слава Тебе, Господи, яко не отринул еси нас грешних! Слава Тебе, Господи, Царь милостивый! Яко нас недостойных сподобил еси Святых Даров Твоих сих причаститися во исцеление и просвещение души и телес наших! Даждь нам, Владыко, и впредь Твоим Святыням причащатися, к просвещению сердец наших, соблюдать заповеди Твои…

Он видел, различал каждое счастливое лицо с амвона, чистые святые слёзы на них, расчувствовался сам и тоже заплакал…

После службы, после того, как снял священническое облачение и вышел к новообращенным, они готовы были на колени пасть в единой просьбе:

— Всю надежду на тебя полагаем и дальше во всём, отче!

— Через тебя мы, замерзелые раскольники, познали истину, имей же о нас попечение!

— Приклонил ты нас к церкви Христовой…

— Оставайся с нами, отец святой!

— Пребуду всегда духовно с вами, — кротко отозвался Иоанн, — постараюсь не прервать единения нашева, но должен поспешить к тем, к кому поставлен Господом. Поймите меня, любые. Вот он, Филаретушко-то ваш, провижу, вскорости будет награждён священством и понесёт свет Божий в дебри заволжские…

Одна из белиц жадно припала к руке, горячо шептала:

— Сухотку с наших душ снял!

Вечером того же дня прощались. Обращённые уговорили Иоанна поехать с Филаретом в Москву, чтобы свидетельствовать,

что они пристали к церкви Христовой.

Иоанн подумал-подумал, вперёд заглянул и согласился.

Подъезжали к Переяславлю-Залесскому.

Городок внезапно открылся с холма.

Филарет освободился из тулупа с высоким стоячим воротом и едва на ноги не встал в пошевнях.

— Бывал, бывал я тут по заблуждениям своим! — едва не кричал он в лицо Иоанну. — Во-он там, со стороны Московской дороги Поклонная гора, видишь? Там — каменный крест утверждён, древе-ен…

Иоанн тоже приподнялся, подмял под себя солому, чуть свесился с саней — спина послуха на облучке и пристяжная закрывали от него вид на город. Но вот дорога свернула чуть вправо, и Переяславль предстал весь на берегу заснеженного Плещеева озера. Он казался единым монастырским двором, густо уставленным церквами с золотом крестов, что таяли в меркнущем вечернем небе.

— Там, со стороны Москвы — два монастыря: женский Федоровский, Иоанном Грозным основанный на память рождения своего сына Фёдора. Там же и мужской Никитский с мощами Никиты Столпника. Да, так вот боярин Никита усмирил крутой свой нрав под тяжестью вериг железных.

— Поклонимся завтра…

— А Питиримова-то обитель — вон она, на прежнем болоте. Эй, Нифонт, вороти вправо, вправо! Давай-ка заедем на поклон к игумену — давно ли знались… Да, прежде водили знакомство, — сознался Филарет. Сызмалу Питирим окреп в вере. Он — тутошний, переяславский родом. Единоверцы снарядили его в Стародубье, на польскую границу. Там, на Ветке, в Покровском монастыре он и пострижен с именем Питирима. Там и окреп в догматах…

— Как, где же ты с ним сошёлся?

— Вернули его свои на отчину, и тут он в ростовских лесах, в переяславских, а после и в наших, керженских, наставлял нас держать старую веру. Но потом-то отошел, предался никонианству. Тут царь его заметил и игуменом поставил.

Городок растворялся в сини позднего вечера, в домах уже зажглись огни.

Николаевский «на болоте» основан ещё в XIV столетии Дмитрием Прилуцким и разорённый поляками во время Смутного времени, покорял каждого своей видимой древностью, даже сейчас в сутеми белые храмы и братские келии будоражили воображение.

Назвались привратнику, тот побежал сказать о прибылых.

Заскрипели промёрзшие воротные петли, раскинулись створы — въехали на монастырский двор, молодой послух принял лошадей.

После службы и вечерней трапезы игумен пригласил к себе в покои.

Питирим не скрыл радости, когда увидел своего старого знакомца по расколу.

— И ты прозрел, Филаретушка! — он неторопливо обошёл приземистого нижегородца, дружески похлопал его по плечу. — Извернулся, таки пересилил себя и — гоже! Через всё это и я, брате, тяжко, но прошёл.

Филарет едва ли не взахлёб начал рассказывать, как довелось встретиться с Иоанном, как монахов трёх заволжских скитов ввёл арзамасский отче в матерь церковь…

Игумен Николаевского Иоанна насторожил сразу. И первое, что подумалось: мирской он-таки человек. Какая-то мирская весёлость в его глазах. И потом излишне суетлив, без осанки…

Они были почти одного возраста. Питирим родился в 1665 году, Иоанн — пятью годами позднее. Но выглядел сорокалетний игумен много старше арзамасца, ибо жизнь будущего епископа нижегородского, а затем члена Синода — этого яростного, умного противника раскола, проходила с юных лет в тяжёлых исканиях и борениях, прежде всего с самим собой. Если Иоанн, рано пришедший в монашество по зову самой Богородицы, всегда полагался на волю Божию и дерзал в русле этой воли, то Питирим человечески расчётливо подвигал себя к намеченной цели, будучи и в расколе, и теперь в сане игумена официальной церкви. Знаток Священного писания, соборных постановлений, отцов церкви, богослужебных книг, истории православия — все свои обширные знания он хотел поначалу принести старообрядству, но именно эти знания и очистили разум монаха от пустых устремлений. Так он стал игуменом Николаевского монастыря потому, что хотел быть рядом с таким сильным ревнителем православия, проповедником и грозным обличителем раскольников митрополитом Ростовским Дмитрием, позже причисленным клику святых.

Питирим уже успел обратить на себя внимание своей учёностью и строгостью своей жизни молодого царя Петра, который строил первые «потешные» суда на Плещеевом озере и приезжал кататься на них. Встреча с царём многое определила в дальнейшей жизни игумена.

Филарет ушёл на покой, теперь они могли свободно поговорить, сверить свои мысли о бедствующей в расколе матери церкви.

Питирим уже довольно присмотрелся к Иоанну из-за своего

большого стола, с какого-то древнего кресла, обитого рытым выцветшим бархатом. Он начал с открытой лести:

— Святое дело вершишь, брат мой, когда христианской любовью обращаешь отпавших от церкви. Да о тебе, победнике, надо сказывать не только духовным властям…

Иоанн поглядывал на смуглое, волевое лицо игумена, видел блеск его чёрных властных глаз и опять подумал, что этот человек перед ним живёт своим обмысленным будущим — смирения в нем нету, как нет и лицемерия в делах веры. Неожиданно для себя задал Питириму вопрос, ответ на который можно было бы сопоставить с мнением Павла из Арзамасского Спасского:

— Как же это допущено до раскола и как смирить оный?

Питирим наконец-то вышел из-за стола в своём богатом стеганом подряснике — в покое было почти жарко, единственная зажжённая свеча, что стояла на краю стола, быстро истаивала от духоты.

— Мне ли, недостойному, начинать прения по сему предмету… У тебя там под боком — знаю, архимандрит Павел, бывший ризничий патриарха. Наслышан я, что словесник он весьма умудренный. Если он потаился, то к твоему добавлю немногое. В недрах московских, в покоях патриарха, в боярстве, в чертогах царских начался раскол церковной власти с царской. А мы теперь вот расхлёбывай. На самых чистых в вере мужиков и баб наложили раскольничье тавро и начали гонения на них…

— В лесах — темно и в головах у раскольщиков темно, а по душам — да, народ чист. Мало нас, иереев, кто в скиты вхож, кто просвещает.

— Вот в чём и беда-то! — согласился Питирим. — Попы у нас говорить не сильны, а староверы в своём упрямстве заточили свои языки остро — знаю, сам совращал… Тот же Аввакум Петров прежде — сила! Да только ли Аввакум… А потом власти… Чево таить, всегда они грешны перед народом — этим аввакумы нас и хлещут. Беда ещё и в том, что много расколу потворства. Есть и епископы, которые радеют отпавшим. Ваш нижегородец, Исайя… [31] На словах одно, а на деле-то… Где же гнёзд старообрядства великое множество — в Заволжье, ты это теперь хорошо уяснил… Помнишь, поддержал он Тамбовского епископа Игнатия, за что и отрешён… После дозналось: привечал, привечал и старообрядцев… Сказывают, что и Павел ваш не своею волею в Арзамас спроважен — успели его свои упрятать к вам. Тож милосердием к аввакумовцам грешил… Уж коли тебе, брате, в интерес, то я не только за пряник с теми же керженцами. Ну, давай попустим вовсю. Ещё больше в ереси ударятся, и дело-то может далече зайти…

— Далеко ты с этим уклоном пойдешь, — испугался Иоанн и вспомнил то, что ещё в дороге решился сказать Питириму:

— Прими, брат, попечение над моими новообращёнными.

— А ты что же?

— Недосужно и неподручно! А потом зовёт пустынь Саровская, я тебе сказывал, что накрепко к оной прилепился.

Питирим не ожидал, конечно, такого лестного предложения. Уже одно доношение в Москву про обращённых приложится к нему добром…

— Понимаю, забрала тебя пустынь. Скоро мне в первопрестольную. Вхож я во дворец, а потом доложу о твоих трудах преосвященному митрополиту Стефану, у него память крепкая. Не забывай: Москва — всему голова, а твои заботы о Сарове ещё не раз сгоняют тебя в град стольный.

«Далёко, прозорливец, глядит и метит!» — похвалил про себя Питирима Иоанн и встал, попросил у игумена отпуска на отдых.

Питирим позвонил, и тотчас в покой вошел келейник.

— Отведи святого отца в келью. — И подошёл к Иоанну высокий, статный. — После утрени и трапезы отпущу со двора.

… Питирим выехал в Москву в декабре этого 1705 года.[32]

2.

Радоваться бы Иоанну: исполнил делатель Христов произволение свыше — обратил несколько заблудших овец, привёл раскольников в храм Божий. Теперь отправиться бы в Саров, там уже девять его учеников ждут не дождутся своего учителя. Да, пожить бы в покое, в молитве тихой.

Поехал в пустынь, только огляделся, только душевно побеседовал со своими, а следом повещение бумажное: иеромонах Варлаам, отец духовный, разом тяжко занедужил и править церковную службу в Введенском некому…

И дядя Михаил, что священником в Красном, расслаблен хворью. Не последняя ли это немочь долит старого?

От Сарова до Арзамаса не ближний свет — шестьдесят вёрст, и что не передумаешь, чего только памятью не перемеряешь за эти длинные вёрсты. Дорога накатана, крытый возок не трясло — Карька бежал лениво, ногу ставил сторожко: уже подтаивало днями и на зимнике держался крепкий голосистый ледок.

Он не погонял коня, не замечал его лёгкой неспешной трусцы. Скорбел о своём. Опять оторван от пустыни, где всё врачует душу, куда мало доходит мирского, где всевечно вершит

земную жизнь солнце, суточный ход времени и где так хорошо отдаться этому разумному земному порядку… Опять он ввергается в город, в этот людской муравейник, где каждому священнослужителю, монаху надо жить с особой оглядкой, держать себя в крепкой узде. Всё в городу прельщением, даже запахи той же базарной площади вокруг его Введенского. Как на горе — на виду, на слуху и на суду они, служители Бога, всегда на зорком догляде мирян. И как же часто мнится многим, что жизнь церковника, монашествующего легка. Какое заблуждение! Труден подвиг священства, ещё труднее монаха. Поглядеть на дядюшку Михаила в том же Красном… Вечернее, утреннее, дневное богослужение… Круглый год стояние и хождение по холодному полу церкви — кому не ведома хворость ног священников! А кроме службы в храме, ещё и бесконечные домовые требы. Иной раз полежать, старые кости погреть на лежанке неколи. Ах, дядя Михаил! Пусть даст тебе Всевышний и ещё сил на дни земной юдоли…

Дан был Иоанну передых, да недолог. Объявлен и дошёл до Арзамаса строгий царский указ — все теперь архи строгие пошли! Считать раскольниками всех тех, кто живёт в скитах лесных и прочих уединенных местах без Божьих храмов.

Нет в его пустыни церкви!

Что делать? Ослушников наказание ждёт. И мучила уже опаска, а как дознаются в Москве?

Сталося! Сыскался изветчик — человек прежде близкий, которому порадел, как духовному брату.

В Введенском, среди прочих, на послушании оказался монах Авраамий, в миру бывший Артамон. До пострижения он священствовал в селе Ездакове Арзамасского уезда. Как-то увиделись в Духовном правлении — посидели рядком, поговорили душевно. Невдолге до того Артамон овдовел, сокрушался о двух своих малых чадах. Тут братия Арзамасского Троицкого мужского монастыря, оставшаяся без священника, попросила Иоанна указать на того, кто бы постригся, затем, как следовало по чину монастырскому, рукоположить избранного в иеромонахи, а после поставить игуменом бедной обители.

Как не порадеть арзамасской братии! Постриг Артамона Иоанн в своём Введенском с именем Авраамия, обещал содействия и в остальном.

Чистый пастырь, расточавший любовь ко всем, и предположить не мог, что Авраамий покажет противу него. А вышло так: по «чиноположению иноческому» Авраамию должно исповедаться в грехах своих перед духовником, прежде чем быть рукоположенным в иеромонаха, в священнический сан. Авраамий

прежде сам пожелал видеть своего духовника в Иоанне.

Авраамий не торопился с исповедью, и Иоанн начал уже недоумевать — чего же он?

Как-то после трапезы пригласил себе в покой.

— Ты что же, брат. Прежде во всём торопил, а ныне медлишь…

Авраамий, смущённый, растерянный, едва выдавил из себя:

— Вот хартия… Чти и суди как хочешь.

И поспешно, взмахивая широкими рукавами рясы, вышел.

Уже слово «хартия» насторожило Иоанна. Он взял с края стола лист бумаги и тут же принялся читать.

Буквы прыгали перед глазами. Это что, это как же так… И при этом Авраамий ищет священства?! За ним такие грехи! Да ему и думать неча о сане иеромонаха!

Иоанн крикнул послуха.

— Авраамия ко мне!

Перед ним стоял уже грузный, седеющий, хотя ещё не старый человек с озабоченным, даже испуганным лицом. Пальцы больших ладоней перебирали деревянные горошины монашеских чёток.

Иоанн не сразу почувствовал, что сорвался на крик, чего, конечно, не хотел.

— Как же ты посмел с такими грехами налаживаться в иеромонахи? Не-чес-ти-е! За-пре-ща-аю данной мне властью!

Не ожидал этого крика и Авраамий. Стал оправдываться:

— Не посмел я в храме, перед святым Евангелием…

— Ступа-ай! — затопал Иоанн сапогами.

В тот же день Иоанн зашёл в келью Авраамия и попросил прощения у монаха: впервой ему открылся такой обман, такого ещё не случалось.

Авраамий отмолчался, даже не встал с постели. Только нехорошо сверкнул белками глаз из тёмного угла кельи.

По простоте душевной не думал Иоанн, что Авраамий пошлёт донос в Москву — донос о чём?

Вдруг исчез из обители Авраамий, исчез из Арзамаса, а когда вернулся — от троицких монахов сведал Иоанн, что Авраамий получил-таки в Москве архирейскую грамоту — стал иеромонахом, утаил, знать, возбранные прегрешения в миру.

Довелось свидеться с Авраамием. Иоанн, прямо глядя в глаза монаха, сказал:

— Наряжать суд над тобой я не волён. Но будет, будет тебе, недостойно приемший священство, суд строгий. Суд свыше!

Вот тогда «в сердцах» и навёл Авраамий клевету на своего недавнего игумена. Мол, запрещение Иоанном наложено потому,

что он, Авраамий, не похотел жить в скиту Введенского — на Старом Городище.

В своём игуменском покое Иоанн места себе не находил. На столе среди книг лежала грозная бумага, вызывавшая его в Москву для ответа по доношению Авраамия. Обвинение выставлено нешуточное: патриарший указ излагал навет так, что в Саровской пустыни-де живут раскольники без церкви и все они в подчинении игумена Арзамасского Введенского… Вот и вызван ответствовать, стоять перед вопрошающими…

Оказии не случилось, ехал в Москву на своих монастырских. Путь долог. Скрипят и скрипят полозья санок, что-то дорожное коробье на запятках постукивает, что-то воротник шубы скулу натирает, а почему это послух на грядке передка сидит неловко, боком и бестолково дергает мёрзлые вожжи…

В досадном беспокойстве Иоанн. Нет, беды не ждёт: провинки за ним в деле с Авраамием нет, поступил по церковному правилу. А вот донос-от… Вот так облепят честного мужа грязным веретьем лжи, и поди сдирай с себя коросты навета, обеляйся как хошь. Воистину: добро лежит, а зло бежит и разит.

Московский тракт оживлён. Бесперечь встречаются длинные обозы, царские верховые в ярких кафтанах — все бритые теперь, с босыми лицами, купеческие и дворянские возки, мужицкие дровни…

В Патриаршем приказе увидел Авраамия, промолчал.

Что властями сделано, то сделано. Признали духовные, что служить в храме Аврааму позволяется, и, как потом говорил Иоанн, смущались только тем, что поторопились рукоположить Авраамия в иеромонахи, дать грамоту на священство… Иоанн отмолчался: Москве виднее…

Дотошничали по навету, в котором Иоанн обвинялся в принадлежности к расколу. Благо, кто-то из вопрошающих вспомнил, что игумен Переяславского Николаевского монастыря Питирим свидетельствовал, что игумен Арзамасского Введенского есть просветитель раскольников заволжских, что привёл Иоанн до сорока старообрядцев в православную церковь…

— Ну, а в Саровском-то скиту?!

— По бедности Введенского, к коему скит приписан, временили с поставом церкви… Летом поднимем храм!

На духовном спросе признался Авраамий в злонамеренном, облыжном оговоре Христова подвижника. Бес его попутал, гордыня окаянная, такой поклёп, такую напраслину на мужа честна возвёл…

— Лжец — есть хранилище ветра, отголосье дьявола, первейший враг своей честности. Всегда он бывает посрамлен, уж

если не людьми, так всемогущим Богом! — басил под белёными сводами судящий дьяк. — Смотри, Авраамий, доглядывать будем!

Он же и приказал:

— Авраамий, пади повинно в ноги перед своим игуменом и слёзно покайся. Твою судьбу отдельно решим. А ты, праведный Иоанн, в своём смирении поступи милосердно к своему собрату и — делу конец! Да крепится братолюбие меж духовными. Аминь! Ступайте!

3.

Душой, разумом почувствовал Иоанн, что настало сокровенное время исполниться памятным предзнаменованиям, которые открывались некогда первым монахам-отшельникам и благочестивым людям то слышимым церковным звоном из-под земли, то видимым нездешним светом, что падал с небес на Старое Городище. Да, пора венчать пустынь Саровскую православным храмом.

Надо садиться писать челобитную в Москву местоблюстителю Патриаршего престола.

Так повелось в православной России: храм мог поставить просьбой и иждивением своим один мирянин, селяне и горожане вкупе, монахи… Только была бы выделена законным порядком земля под церковь. В челобитной указывали нужду в строительстве Дома Божия.

Излиться в письменной просьбе не велик труд. Можно начать и с того, что скит Введенского монастыря в шестидесяти верстах от Арзамаса… Как же ходить немощным старикам в церковь?..

А чья земля между Сатисом и Саровым, кто-то же должен уступить её монахам, отдать в собственность.

Подьячий Фёдор Мартынов в земской избе долго перебирал связки старых бумаг, долго листал пыльные листы, но нужного не отыскал. И только через несколько дней вспомнил, что, возможно, та земля в вотчине дворян Полочениновых, они жалованы угодьями у Тамбовской грани…

Жили Полочениновы недалеко, в селе Успенском по Симбирской дороге. Но по слову воеводы оказалось, что успенский господин касательства к Старому Городищу не имеет, а вот родич его, Дмитрий… Но Дмитрий своим домом живёт в Москве. Вот так…

Иоанн что-то приболел. Велел послать к себе Авраамия и Афиногена. Последний до недавнего времени нёс послушание в

Сарове.

Авраамий после того, как в Москве прощения на суду просил за клевету, держался в Введенском смиренно, Иоанн поверил в его раскаяние, и теперь ему захотелось отличить его, как-никак пережил позор…

Иоанн лежал, кутался в заячий тулупчик. Монахи сидели на лавке близ стола.

— Тебя, Авраамий, посылаю старшим. Вон на столе роспись, как Дмитрия Полоченинова в Москве сыскать. А сыщете, то поведи разговор о продаже земли на Старом Городище. Может, склоните к милосердию, и откажет на благое дело. Передай, что родителей-де в вечное поминовение запишем. А ты, Афиноген, будешь под рукой Авраамия. Деньги получите у келаря, он и лошадь определит. Да, Авраамий, на столе возле Минеи лежит доверительное письмо, как доведётся купчую писать… Ну, с Богом!

Из Москвы вернулся Афиноген один.

— Ну, что?! — Иоанн каждый день ждал посланцев.

— За уступку земли запросил Полоченинов триста рублёв.

— Да откуда эсколь у нас, в глаза не видывали! А где Авраамий-то, больного, что ли, оставил?

Афиноген усмехнулся.

— Лжу он тебе сказывал, когда за поклёп каялся. Остался в Москве, похоже, насовсем…

— Каким вертлявым оказался! — помрачнел Иоанн. — Ладно, сам себе бродяжью стезю уготовил. Ишь какой, невместно ему с нами стало. Пошёл… Нанизает на себя грехов — жа-аль.

Оставшись один, Иоанн впал в уныние. С горечью подумалось: знать, недостоин я такого начинания, не хочет Бог моих потуг…

Мучился игумен и молился. Однажды ночью увидел нежданный сон — такое, о чём и думать-то не думал. Позже вспоминал:

«От церкви прямо ко мне шёл в келью как будто Нижнего Новгорода архирей Исайя в мантии архирейской, имуща в руце жезл обыкновенный, коим подпирался идя. И пришед ко мне, сотворя молитву Иисусову, положил руку свою на главу мою, глядя на меня, благословил знамением крестным и сказал: слышал, у тебя есть желание, мыслишь построити в пустыни церковь и о земле скорбишь, яко господин оной просит цену многую. Не скорби о том, ибо Бог устроит землю, и ничего тому помещику не давая. И во всём поможет тебе Бог и всё дело устроит. И от их словес его архирейских тотчас усладилося сердце моё и весь исполнился радости и веселия, в себя пришед,

ощутил в сердце моём премногия радости и сладости духовные преисполнено и тогда по премногу удивлялся бывшему видению».

Случился в Арзамасе помещик села Ездакова Арзамасского уезда Фёдор Васильевич Головачёв.

Воевода Алексей Авраамович Пестов к нему с дружеским допросом:

— Ты вроде тамошний владелец, у Старого-то Городища. Полочениновы поблизости не владеют землей?

Полочениновых Головачёв знал, ответил сразу:

— Ни в кои веки они не владели боровиной. А что такое?

— Монахи Введенского ищут владельца пустынской земли.

— Вона что-о…

Пестов отправил посыльного в монастырь к Иоанну. В приказной избе Фёдор Васильевич и дал письменную сказку о своей земле, как соседний землевладелец со Старым Городищем. Он не возражает противу уступки угодья монахам. Это был важный, необходимый документ для искателя земли.

Видение во сне придало сил — святитель Исайя попусту не скажет! Иоанн рукоположил любимого им Афиногена в иеромонахи — пусть правит в монастыре церковную службу, пусть покамест пасёт чернецов.

Он ушёл в свою пустынь: надобно походить окрест, вызнать у помещиков — авось, кто-то и проговорится о владельце угодья.

Крестьяне Кремёнок натакали сразу:

— Здешними бортными ухожеями в старину владела Кадомская мордва. Ступай-ка ты, отче, в Кадомский уезд, а там сыщи помещика Вышеславцева, который ведом в тамошней стороне не богатством своим, а добродетельством. Зело милостлив ко всем приходящим к нему.

С двумя учениками Иоанн пошёл к помещику.

Принял Илья Яковлевич и впрямь радушно, под благословение смиренно подошёл, выставил на стол обильное кормление.

В столовой перед выходом из-за стола посоветовал:

— Вам, отче, надобно идти в самый Кадом, в канцелярию. Я сейчас напишу к тамошним властям. Поднимут старые харатеи — сыщется слово о земле.

Только вышли из-за стола, прибежал комнатный человек.

— Князь Иларион Кугушев пожаловали!

Сосед по имению с заметным татарским обличьем был в добром настрое, принялся сказывать о недавней охоте, но Вышеславцев его перебил:

— Слушай-ка, князюшка, вот монахи пекутся о богоугодном. Ты в Москве человек знаемый, поспособствуй!

И рассказал о розыске арзамасцами земли.

— Помогу, помогу! — широко развёл руками князь и приложил свою смуглую руку к сердцу. — Вы, отче, пожалуйте ко мне в Куликово…

Пошагал Иоанн с учениками в Куликово, а потом, заглазно, укорил князя: такой крюк ноги били, а и сказал-то полтора десятка слов. Ну, что бы сразу-то у Вышеславцева…

— Тут нужен какой изворот. Коль в Кадоме не ведают — надо за кем-то закрепить это Старое Городище, а потом отказать землю скиту вашему. По указу об уступке владельца оной земли воспоследует закрепление её за монахами. И — стройте себе храм!

— Где ж нам найти такова милостивца? — вздохнул Иоанн.

— Если будет милостив Бог, сотворю по-вашему, братья. И я ведь крещёный!

Сидели в большой комнате княжеского дома. Стены её были увешены яркими восточными коврами, над широкими диванами с множеством подушек висели кривые сабли и мерцающие серебром пистолеты.

Князь пригласил к столу, долго угощал. После обеда уже на крыльце дома непритворно повздыхал:

— Блаженны поистине вы, отцы прелестные. Ваше житие пустынное свято, а наше-то суетное… Провижу, содеется по вашей молитве. — И обнадёжил: — Ты, отче, поезжай в первопрестольную. Не теперь, погодить надо с десяток ден. А следом я за тобой. Свидимся и всё справим!

Обласканные словами, с надеждой монахи вернулись в пустынь.

4.

Посадили огород близ Сатиса, побаловали себя ушицей — славный денёк кончался, и благостная тишина настаивалась над миром. Солнце клонилось к соснякам розовое, чистое.

Сидели в летней поварне — на земляном полу курился лёгкий дымокур. Иоанн оглядел своих чернецов — сам он девятым… Загорелые лица — пятеро монахов ещё в полной силе, трое убелены сединами, махать топорами им в тягость.

Помечталось скитникам о будущем храме. Вот тут, у Сатиса, их кельи, неподалёку вход в пещеру, источник чистейшей воды. Может, и храм здесь вознести?

Иоанн засомневался:

— Место тут низинное, луговое — луговая пажнинка мала, а ведь обители расти и после нас. Вижу, будет у Сатиса большой огород — вода-то рядом. Давайте, братия, начально устроим источник. Поднимем сруб, поднимем воду, крышей увенчаем, освятим вознесенным крестом…

Так и порешили. На другой день застучали топоры.

Первый венец срубили скоро. Когда стали на месте собирать его и уже опустили три брёвнышка — тут и случилось неожиданное. Четвёртую лесинку взялся положить Иоанн. Он посунул один конец брёвнышка от востока в заруб, примерился опустить другой конец в западный угол… Тут снизу из-под деревины выползла змея и поползла вверх к рукам Иоанна. Откуда взялась? Чернецы в испуге попятились, Иоанн в смятении хотел кинуть лесину, но тут под шёпот молитвы змея свесила свою плоскую серую голову и упала в пустой ещё заруб. Иоанн, чувствуя, как пот обметал его лицо, едва помня себя, бросил брёвнышко, и оно пало концом на голову гада.

Монахи стояли с побледневшими лицами. Сколько тут живут, вроде не видели змей, и вот на тебе! Поулёгся страх, захватило удивление, а после и прозрение пришло, когда поразмыслили о случившемся. Дорофей сказал:

— Сие есть знамение от Бога. Посрамит он всех нечестивых, кто учнет козни и жала свои обращать противу обители. Так-то!

Уверовали монахи в мудрые слова, укрепились предвещанием.

Назавтра подняли сруб и обрядили его лёгкой крышей, водрузили крест.[33]

Иоанн порадовался вслух:

— Ну вот, охотку поиграть топорами малость ублажили. Скоро, скоро нам засучать рукава сызнова…

Писать в Москву о построении церкви в Саровской пустыни собрались у арзамасского воеводы Пестова вкладчики Введенского монастыря и монахи. В челобитной следовало указать, во имя кого будет ставиться храм. Скоро согласили поднять церковь во имя Спаса Христа или в честь Пресвятой Богородицы. Иоанн давно обмыслил и решил в себе, как выпадёт ему счастливая доля строителя, то явит он в мир храм во имя Божией Матери. Это Она, Всеблагая, призывала его в сонном видении к служению Себе! Сейчас следовало собравшимся выбрать в воспоминание какого события из земной жизни Богородицы наименовать церковь.

Собравшиеся арзамасцы уважали игумена Введенского — пусть подъемлет его рука… Вот уж написан длинный словесный зачин к духовным властям Москвы, сказано от кого челобитье и в

чём суть оного… И когда Иоанн в явленных строках приблизился к написанию имени храма — «пустил руку, как бы предал её своему хотению… и, абие[34] в прошении начерталось — в честь Пресвятые Богородицы Живоносного Ея Источника».

Вкладчики, воевода Пестов порадовались, когда Иоанн объявил написавшееся. В Арзамасе зимний-то собор також именуется…

В Москву Иоанн выехал 28 июня 1705 года.

С тремя заботами объявился в первопрестольной. Одно дело с князем Кугушевым завязано, другое — архирею решать, а с третьим в Патриарший приказ на низкий поклон идти.

Начально пошёл к архирею. Через верховного пресвитера Иоанна Феофанова — с ним сразу хорошо сошёлся, подал челобитье арзамасских вкладчиков Введенского и воеводы Пестова. Тут же без проволочки и решение далось: «Дать благословенную грамоту церковь строить».

Тем же днём пошёл в Патриарший приказ уже за самой благословенной.

Подьячий Алексей Титов бегло прочёл архирейское согласие и широкие брови на лоб вскинул. Как ушатом холодной воды обдал.

— Там что, у архирея-то, или не ведают о государевом указе? Есть же воспрещение строить новые церкви! Забирай бумагу и всё, на сим и кончим разговор!

Ответно вздохнул Иоанн.

— Божьему противиться можно ли…

С тем и вышел из приказа.

Отказался помочь в выдаче благословенной и казначей приказа монах Тихон Макарьевский, а мог бы посодействовать…

В отчаянии пошагал в Новоспасский монастырь к своему знакомому причетнику пожалобиться душой.

— Вот так наши рукавами-то машут… — с горечью рассказал Иоанн об отказе Титова. — Дело теперь в долгом ящике, под спудом…[35]

Они сидели в тени монастырского храма, было тут тихо, прохладно.

Причетник начально отвлёк от мрачных мыслей.

— Охабень теперь не носят, рукавами длинными не машут — способней мзду брать и давать стало… Ты рази не слыхал, что сухая ложка рот дерёт, а телега смазки хощет. Ах, Алёшенька Титов…

— Но ведь на государев указ сослался.

— Все та-ак… Одначе царь — своё, а церковь — своё.

— Противность Божьему, запрет-то!

— То-то и оно. Потому потихоньку и строят миряне церкви. Ладно, не яри себя. У меня на дворе митрополита заступа есть. А Титова пойми, и то верно, что боязнью полон. Ты вот что, Иоанн. Ежели недосуг — поезжай восвояси, а мы тут толкачами. Э, нет, так я тебя скоро не отпущу, — и причетник лихо подмигнул. — Айда в Китай-город, проголодался я что-то. Брашна прикажи поставить, да и от чарки зелена вина не откажусь…

Неделю в Москве прожил, вторая седьмица пошла, а князя Кугушева всё нет, и уж начали обуревать тягостные мысли: охладел он к делу, знать, по приказам ходить ему неспособно, мешкотно.

У Кугушева свой дом в Москве. Хаживал Иоанн в завидные хоромы ежедневно, а попусту. Но однажды челядинец шепотком кинул: приехали князь Иларион, да не один, а с двоюродным братом Даниилом Ивановичем Кугушевым. Даниил-то на царёву службу скликан.

Принял Иларион, но прежнего тепла, скорой готовности тотчас своё обещание исполнить не оказал, ему теперь некогда, приди-ка ты, отче, попозже.

Пришёл через неделю. И опять разные нехитрые увёрты в словах. Подождал ещё Иоанн, а когда объявился в передней через пяток дней, тот же челядинец прямо выложил: князь не принимают, не велено!..

Так уж вышло, что князь Даниил заметил в прихожей пожилого монаха с наперстным крестом на груди.

— Вы тут не впервой, отче… Скажите причины вашего хождения?

Иоанн поднялся с протёртого стула передней и коротко рассказал, с какой докукой он к Илариону.

Даниил вспыхнул своим смуглым лицом, зло сверкнули его карие горячие глаза под навесом тяжёлых век.

— Прости, святой отец, за чёрствость брата. Свято твое дело — идём со мной!

И провёл Иоанна прямо в столовую. Она оказалась темноватой из-за узорчатых бумажных обоев. Ее только и оживляли мундиры военных. Гостей оказалось довольно много, все весело ели и пили. Даниил скоро нашёл место для монаха за длинным столом, слуга принёс столовый прибор. Уже подогретые вином, гости почти и не заметили Иоанна.

Даниил едва ли не налетел на захмелевшего Илариона:

— Устыдись, брат! Не хочешь для церкви землю справить сам, так я буду о том рачиться, но и ты, старший в роду нашем, не медли с добром!

Офицеры слышали разговор братьев, приняли сторону

Даниила. Кто-то вспомнил, что гостем князя Илариона подьячий Козьма Байсалтанов… Тот же Даниил и увлёк Иоанна на другой конец стола к подьячему, тот был почти трезв.

— Козьма-свет, бери-ка стило в руки! Эй, Стёпка, бумагу и чернил!

Скоренько очистился край стола, Иоанн наговаривал Байсалтанову суть своих забот. Подьячий кивал лохматой головой, слушал внимательно.

— Тебе посчастливилось, отче, что случай довёл тебя до меня. Нет-нет, пьяным зельем я не развращён…

Пока гости князя Илариона пили-ели, а потом чадили трубками на широких восточных диванах, Байсалтанов усердно скрипел пером на толстой бумаге. Без всякой подсказки он знал куда и что писать.

Челобитная состояла в просьбе отдать князю Илариону Кугушеву ничейное пустошное место, именуемое Старым Городищем, с прилегающей к нему землёй на грани Арзамасского и Кадомского уездов, где имение Кугушева и находится…

Подьячий знал, что говорил: от Казанского приказа, где он служил, и зависел ход дела. Козьма посыпал песком последние строки челобитной, подал её и наставительно заговорил:

— Иларион земельку получит. Но тут одно условие: надо собрать подписку окрестных к Старому Городищу владельцев угодий, что они не препятствуют стать князю владельцем просимой земли. Езжай скорее в Арзамас и собери подписи. На-ка, челобитную-то!

Тепло прощался с Козьмой и Даниилом. Даниилу Иоанн пообещал:

— Слышал, в поход тебе, князь… Будем молиться, чтоб вернулся ты со шитом… Да будет Господь хранителем живота твоего!

Даниил горячо благодарил.

Иоанн поклонился весёлому царскому воинству и вышел с драгоценной бумагой. Завтра ему в Казанский приказ!

Памятуя о прежнем «охлаждении» Илариона Кугушева, попросил знакомого дьячка Кирилла Матвеева из церкви Николаевского прихода, что в Кошелях, «ходить за делом». Душевно расположенный к арзамасцу Кирилл обещал «ходить» — мзда денежная ходатаю была твёрдо обещана.

На другой день Иоанн выехал из жаркой и пыльной Москвы.

5.

В Арзамас вернулся 11 августа.

Едва отдохнул в игуменском покое, пошёл в земскую избу.

— С чем, отче? — с тревогой спросил Пестов, оминая обеими ладонями своё полное лицо. — С доброй ли вестью? Садитесь…

В комнате находился «надзиратель» князь Фёдор Дябринский, тот самый, что своим иждивением открыл позже первую в городе школу грамоты «для всех» и сам учил деток.

А ещё «на лице» оказался и подьячий Фёдор Мартынов.

Денёк стоял тихий, тёплый, в канцелярии сонно гундели на окнах неугомонные мухи.

Иоанн приставил свой жезл к стене и достал из кожаной дорожной сумы дорогую для себя бумагу. Заговорил:

— Написал-таки Кугушев челобитную. Архирей приказал дать благословенную грамоту, но в Патриаршем приказе не торопятся. Дал я доверенность на хлопоты одному московцу, человек верный…

Фёдор Мартынов зачитал копию челобитной Кугушева.

— Это кто ж так ловко начертал?

— Байсалтанов из Казанского приказа.

Дябринский плечами пожал.

— Как же это? Уж кто-кто, а Байсалтанов знает, что запрещено царёвым указом искать кому-либо порозшую землю. Отче, как, чем прельстил ты мужа такова?

— Такова вот дипломация… — улыбнулся Иоанн.

Воевода привычно упёр ладони в столешницу, посерьёзнел.

— Давай, князинька, собирайся в уезд, собери сказки от тех помещиков, кои поближе к Кадомским границам. Как не сыщется владелец Старого Городища, тотчас свою бумагу в Москву направим, понеже добрым прикладом она станет к челобитной Кугушева.

— Князь, не возьмёте ли с собой?

Дябринский согласно кивнул Иоанну.

— Со святым человеком легче сыск вести…

Скоро выяснили посланцы: Старое Городище неправо приписал к себе владелец села Успенского Михайло Аргамаков. После увещаний Аргамаков безропотно написал отказ от земли. Дябринский, что называется, в угол припёр помещика:

— Не шагнёшь встречь — дворяне уезда тебе руку давать перестанут, объявят о твоём бесчестье. Пиши отказную!

В Арзамасской земской избе в обыскной сказке подьячий Фёдор Мартынов написал:

«Меж Арзамасского и Кадомского уездов, на речке Сатисе, от устья речки Сарова, на Старое Городище и вверх по тем речкам по обе стороны… порожняя земля и леса есть, в поместье и в

вотчину и в оброк никому не отдана, лежит порожжа, а спору ни от кого не было… По сыске написано: в отказные книги по закреплению их, по некоторым обстоятельствам, с порожжей землей решенье было замедлено — таково произволение Божье, до лучшего времени».

Вот так и объявили сметливые арзамасцы: земля всё ещё «порожжа» по произволению Божьему…

Обыскную сказку отправили в Москву, в Казанский приказ.

Иоанн ушёл в свою возлюбленную пустыню: надо переставить часовню. Прежде она находилась у Темниковской дороги. Когда Авраамий написал клевету, обвиняя своего игумена в потворстве расколу, указал и на то, что в скитской часовне бывают-де бродящие староверы… Тогда встревожившись — вдруг с дознанием нагрянут, повелел Иоанн разобрать часовню…

Прошла осень, а потом, по вечному временному кругу, в первозимье, пали первые пушистые снеги, подуло, запуржило, крепко заморозила зима-зимушка.

Иоанн жил в неисходном смятении. Знал он о «долгом ящике», той медлительности московских приказов, но ведь челобитные-то переданы тем, кто близок в дьякам. Полгода проходит, а прохождения бумагам нет и нет!

Незваным в скиту объявился Афиноген из Введенского. Спрыгнул с саней — борода, шубный ворот, треух в липком снегу.

Иоанн увидел: уж очень по глазынькам-то весел.

— Соскучился?

— Да не-ет! И вам тут сохнуть не дам! С радостью, отче…

Руки дрожали, в глазах рябило. Поверенный московский писал: в Казанском приказе «земля под церковь справлена и память о том послана в Патриарший казенный приказ — являйся!»

Только и осталось, что явиться… Архирей-то наперёд дела о земле повелел выдать Благословенную грамоту! Ах, ребятушки, ах, ходатаи московские, ах, проныры таковские, уж и поспасибую…

— Афиногенушка, мчим на рысях в Москву!

23 января 1706 года Иоанн получил отказную грамоту на землю Илариона Кугушева,[36] что издревле пишется Старым Городищем по речке Сатиса, от устья речки Сарова и вверх по тем речкам по обе стороны… В Патриаршем приказе выдали необходимую Благословенную грамоту и Святой Антиминс[37] для новой церкви…

Ликовал Иоанн, возносил слова благодарности к Всевышнему: «О чудесе Предивного! Утешил ты верного раба Своего!»

Задержался игумен в Москве. Наперёд заботилось: поставит он теперь в Сарове храм, а это значит — быть нову монастырю. Придётся строить и строить. Нужны богатые вкладчики…

Помнил монах о словах Спасителя: стучите и откроется вам… Стучался и открылось: вкладчиками стали С. И. Пушкин, князь В. В. Долгорукий, граф Матвеев с супругой, С. Т. Кишкин, князь Одоевский, боярыня У. М. Новосильцова, а после и арзамасские Аргамаковы…

Уже на подъезде к Арзамасу вдруг подумалось: едет он довольнехоньким… А тот костромской монах, скитский же, у него-то с построем церкви не вышло, так и уезжал из Москвы со слезой. Случайно в Патриаршем приказе сошлись каждый со своим — пришлось утешать костромича, да проку-то! И уж невольно вот горькое приходило в голову: ах, царь-царь… Как вернулся ты из люторских стран, так совсем всякие грани перешел. Уж и церкви Божии не велишь строить — антихристу потворствуешь! Откачнулся ты от русских святителей, тобой, как сказывают, люторского уклону Феофан Прокопович вертит, его наставления видим…[38]

Памятные грамоты Иоанн в первую очередь воеводе Алексею Пестову представил для записи памятной в особую книгу. Прыткий воевода пребывал в добром настрое, поддерживал здорового игумена под локоток.

— Что же выходит… Шестой монастырь арзамасцы учреждают. Оле! Поставим храм, и ты, отче, скроешься ведь в Сарове?

— Душа моя постоянно тамо, — мягко сознался Иоанн.

— Умным человеком в Арзамасе станет меньше…

— Не переводились в Арзамасе светлые головы, да и теперь… — открыто польстил Иоанн воеводе.

— Помочь бы тебе, — задумался Пестов. — Градская казна пуста — Пётр Алексеевич любит нас за душу, но и трясёт, как грушу. Может, кликнем аршинников?

— Всё-то с купцов спрос…

— Так, дворяне — служат, купцы — платят, холопы тягло несут.

И Алексей Авраамович густо захохотал.

6.

Как на радостях не сходить к архимандриту Спасского, не повестить его, что приехал из Москвы не с пустыми руками.

С оправдания начал: на площади нынче узрил воевода, перехватил к себе в канцелярию, а уж попал к Пестову — не вот с места сорвёшься…

Павел оглаживал свою ухоженную бороду и улыбался.

— Кесарю — кесарево! Сказывай о Москве! Вот уж сколько живу в Арзамасе, а душой-то частенько в Кремле…

Иоанн давно обдуманное сказал:

— Теперь без патриарха там пусто. Как-то сиротски. Народ в беспокойстве.

— Да, прежней заступы у церкви и мирян нет. Это ты верно: осиротел народ! — Павел сидел у окна, поглядывал на широкий монастырский двор, на белый взмет высокой шатровой колокольни, на пухлые снега у каменной ограды. — Как патриархи наши — Иоаким и Адриан пеклись, бывало, о народе. Адриан-то противником выступал — как же можно бороду воспрещать, когда Иисус Христос с бородой… Противился он табаку, зелью пьяному… Иоаким предостерегал, что всякое царство свои нравы и обычаи имеет, в одеждах и поступках свое держит, иноземного же не вводит! А царь Пётр после смерти своей матери благочестивой Натальи неистовству предался, разным кощунствам. В Немецкой слободе, в этом вертепе разврата, пьянствут по три дни подряд… Невидаль в мире христианском: собирает всепьянейший собор, где главным шутом патриарх Пресбургский и Кокуйский — Никита Зотов, а сам-то царь «дьяконом»… у остальных собутыльников срамные прозвища… Да-а… Наш тишайший Алексей Михайлович любил же шутить, но шутом не был, помнил о своём царском достоинстве!

Иоанн вздыхал.

— Сказывал мне на ухо причетник в Москве… В доме Лефорта в Немецкой слободе идёт дебоширство, пьянство такое великое, что и описать-то невозможно. Винный торговец Монс свою дочку нашему подсунул, Анну, что ли… Глумится Алексеич над церковью и никакова удержу на нево нет. Ну а за сим извещаю: поведено архимандриту Арзамасского Спасского монастыря Павлу освятить новую церковь на Старом Городище!

— Сочту за милость Божию! — светлел своим лицом Павел.

…Иоанн всё ещё игуменом Введенского. Но вот узнали монахи о разрешении строить храм в скиту и обеспокоились: построит Иоанн церковь… А не переведут ли на новое место Введенский?

Афиноген первым пришёл с тревогой братии:

— В челобитной-то в Москву на что упирали: монастырёк беден, на тесной базарной площади — неудобь место… Свыклись

мы тут в городу. Базар как-никак и прокормляет. Кто мучки поднесёт, кто круп отвесит, кто капустки, а то и меру яблок…

В трапезной за длинным столом Иоанн успокоил монахов:

— Стоять обители нашей и дале. На иное повеления не прошено, да и не дадено. Почти полтораста лет в Введенском чернецы спасаются… А в Сарове, по Промыслу Божию, встанет новое богомолье — радуйтесь тому, что нас, арзамасцев, избрал Всевышний в делатели свои. Хоша и не праздник ныне, но такой уж день выпал, что сердца наши полны веселия. Эй, келарь!

Вскорости появились на столе глиняные кружки и пивцо стоялое — загудела братия, затрясла бородами в согласных разговорах, застучала кружками.

— Отцы честные!

— Ещё можаху… Услаждайся чрево, взвеселись душа!

— Вмещающий да вместит…

Не скоро разошлись по кельям в тот вечер монахи — разошлись с излияниями братской любви и благодарности щедрому игумену.

На другой день пошёл Иоанн к Масленкову: нельзя утаить и от купчины добрую весть.

— Давненько не гащивал! — обрадовался Иван Васильевич, как и всегда при встрече широко раскидывая свои сильные руки.

Без застолья гостя хозяин не отпускал. Шумно суетился.

— Без соли, без хлеба — худа беседа! Вот опять сподобился быть твоим кравчим и чашником. Почествую я тебя ноне медком, переваренном с вишнею, а из брашна щучину выставлю: жалей, что день-то постный. Это всё так, на скору руку…

— Да я не голоден!

Иоанн рассказал о поездке в Москву: всё вышло по воле Божьей, по желанию вкладчиков арзамасских.

— И по твоей воле, Иван Васильевич. Ты тож челобитную подписывал.

Масленков слегка покашливал, на шее теплый шерстяной платок. На стуле ему не сиделось — сам подавал мисы с едой, что приносила стряпуха, супруга Ивана Васильевича уехала погостить к родичам.

Ласкал слух купчина:

— Провижу монастырь новый, а строителем мой друже! Оно славно, но скроешься в своих палестинах — не по часту придется видеться…

Иоанн пошутил:

— Пока строиться будем — надоем, одначе. Надо то, надо сё и завтра и послезавтра…

Масленков присел, посерьёзнел. Сцепил пальцы рук на

полном животе.

— А ты будь в надеже: не оставлю! Знай, тереби меня. В могилу ничево своего не возьму, а что церкви отдам — зачтётся и Богом, и людьми.

Купец встал со стула, прошел в передний угол к своей заветной укладке. Вернулся с тугим кошельком. Прежде чем отдать его, сказал:

— Смолоду ты, Иваша, взял на свои рамена грехи наши вольные и невольные. Молитвенник ты наш. Вот тебе на храм — загодя по рублику откладывал. Давно увидел я, грешный, вершины дел твоих. Ну, после ещё приклад соберу, как кожу на ярмонке сбуду. Не тужи, с православным миром всё осилишь.

Иоанн растрогался: никто так вроде не изливался перед ним.

— Всякий раз впусте от тебя не ухожу. Уж и не ведаю, как спасибовать тебе, Иван Васильевич. Даруешь много лет дружбой фамилию нашу, а ещё и всякой дачей жертвенной…

Масленков руками развёл:

— Слыхал я от умных людей таковы слова: угождать надо людям века своево.

— Эт-то верно!

Выпили ещё медку по чарке, помолчали. Купец отошёл к окну — за обмёрзшим стеклом весело крутила шалая метель, посвистывала в чёрных сучьях старой липы.

От окна Масленков и заговорил:

— Не ты ко мне, так я бы к тебе. Дядюшка мой по матери размышляет о постриге — годками чреват. Давно устал от мира, а купцом же век свой прожил — измотался-разменялся… У нево и на вклад отложено.

— Возьму ево в Саров, там, в красной рамени нашей, все вечности на виду: небо, лес, воды, цветы лазоревы — всё умиряющее. Только повремени малость с дядей — новую келью срубим, по теплу и привезёшь мужа.

За окном по-прежнему задувало, бросалось снегом, и Масленков удерживал дорогого гостя.

— Не к спеху, не к спеху! Погодь, я тебя опять посмешу-потешу, да и кончим чаркой!

Иван Васильевич умел рассказывать. Он и руками разводил, и в плечах ужимался, и замирал в шаге. Но особенно играл голосом, его сочный басок то рокотал, то повествовал ровно, бесстрастно:

— Никакова озорства, никакой суторщины![39] Пришёл тут в четверок ко мне крюкодей воеводин в лавку и распахнулся словом… Повытчик судейский в сердцах сказал своему челобитчику: «Я из твоего челобитья не вижу пользы для тебя». А

тот проситель уразумел всю глубину слова сказанного, вынул из-за пазухи два ефимка серебряных, положил их на руку судейскому, да и молвил: «Вот, почтенный, дарую тебе хорошую пару очков!»

— И польза тотчас объявилась! — подхватил Иоанн. — Экой ты байник!

Посмеялись.

Наконец-то малость поутихло на дворе. Масленков — весёлый, с лёгкой хрипотцой в голосе, провожал до чистого крыльца.

— Бывай! Мои двери для тебя, друже, всегда отверзты!

Им оставалось увидеться всего два раза…

Глава седьмая

1.

Два купца именитых в Арзамасе у всех на виду и на слуху — Сальников да Масленков, оба Иваны.

Ладили между собой кожевенники. Впрочем, Сальников-то и другим промышлял. Свели, давно подтолкнули купцов к дружеству добродетельные дела. Первый — храм каменный во имя Спаса Нерукотворенного Образа построил своим иждивением, другой снискал благодарность мирян украшением своего приходского храма и бесконечными жертвами на арзамасские монастыри и церкви.

Как-то встретились нечаянно у кузницы Цыбышевых на Сенной площади — забота привела, поспрошали о заказанных поделках, да и с разговором пошли наверх в крепость.

Сальников совета просил:

— Подрядился я сало едовое в Петербург доставить на корабельные нужды да свечи. Там наш Серебряков обжился, посредничать согласен — надёжен ли, честен?

Масленков не думал.

— У нас в городу с Серебряковыми Мясниковы в свойстве, да и торговлишкой повязаны. Серебряков-то и дал в Петербурге ход коже Мясниковых, нашёл постоянного скупщика. Будь в надёже! А насчёт сала для свеч… Я бы на твоём месте сам свечным заводиком обзавёлся. Куда как выгоднее — свечи и в уезде раскупят.

Сальников к Петербургу относился с подозрением, и не умолчал:

— Город на болоте ставить! Ну, царская головушка: каменщиков, топорников повсюду забрал. Питербурх… Не хватило ума по-русски назвать!

Масленков первым свернул начатый было разговор, который не кончался в эти годы ни в барских хоромах, ни в церковных кругах, ни в купеческих палатах — всю Россию неуёмный царь взметнул на дыбу своих крутых новин. И куда он во всём торопится? Ох, уж эти верховные помазанники… Всё-то хотят управить за дни владычества своего. Только разойдутся, только разохотятся, а тут и безносая с косой. Бог наказует коли великие деяния-то вершатся на великой людской крови — остановить в

назидание другому… Да разве прозревают правители!

— Тебя воевода не звал? А не звал, так покличет.

Сальников вскинул плечи.

— По какой нужде?

— Наш Иоанн из Введенского начинает монастырь у Тамбовской грани…

— Так, ведь запрет царский на новые храмы и монастыри!

Масленков усмехнулся.

— Указы — указами, а народ живёт по произволению Божьему, и спокон веку люди, не в пример царям, творят волю Всевышнего. Добился Иоанн вместо часовни церковь поставить, а Казанский приказ ему земельку выделил. И кому как не нам раскошелиться…

— А я и без воеводы, в первой, что ли! — проворчал Сальников.

— Я тож без тычков в спину раздаю направо-налево.

Сальников торопился. Изрёк своё, давно обдуманное:

— Куда они, дворяне, чиновные, без нас. На купцах мир держится. Девять церквей в городу — чьим иждивением подняты? То-то и оно, что нами заведено!

…Село Кремёнки с давних лет принадлежало частью князьям Долгоруким, а частью помещикам Леонтьевым. Долженствовало идти к селянам, чтобы объявить о грамоте на постройку церкви.

Иоанн знал, что Старое Городище и ближние к нему урочища не приписаны к хозяевам села, но крестьяне издавна самовольно рубят тут лес, пользуются другими угодьями, и потому разговор с ними нужен, разговор непростой.

Так и вышло. Едва только он прочёл собравшимся у церкви указ о земле, как поднялся такой шум, хоть уши затыкай. Особенно надрывались в рёве леонтьевские мужики, заранее науськанные своим помещиком. Долгоруковские-то особо не роптали, даже вызвались помочь в построе храма.

Иоанн спокойно переждал крики.

— Пошто шумство, такой неуём? Давно ли вы сказывали мне о колокольных звонах, что слышались из недр городищенской горы, о чудном свете, что сиял тут задолго до моево поселения. Знамения Божьи не напрасно людям показуются. Ужели станем противиться произволению Господа?! Но давайте по-мирски заглянем наперёд. Отныне всегда можете подработать в обители, не лишне однако? Встанет монастырь — завяжется в вашем селе Торжок, опять же кому худо? Вы ж на базары долгие вёрсты меряете до тово же Темникова. Постоялые дворы откроете для богомольцев, а какие бобыли у вас — призреем, спадёт о них

мирская забота. Ну и деток ваших научать грамоте обещаем…

Попритихли мужики, зачесали затылки. Смолкли ярые голоса — правду монах глаголет!

Тут же объявился и ревнитель о пустынском храме — староста села Андрей Долин. Он-то и крикнул охотников лес ронить.

— Нам дело сие свышное…

— Добро, приходите завтра на ряду — сговоримся!

…Ехал из Кремёнок тихий, уставший. Дорогу переметала лёгкая позёмка, а как въехал в лес — такая стылая, глухая тишина — всё в белом, искристом — волшебство, да и только! Скорее бы уж лето — устал он, уходился за эту зиму, а впереди-то хлопот-забот короб непочатый…

Валить лес начали в конце февраля.

Не чаяли, а пришли монахи из Темниковского Санаксарского монастыря, из родного Введенского, арзамасцев-мирян четверо…

Каждый день слышался из бора весёлый, радующий перестук топоров. А Иоанн в очередной заботе: где же стоять храму, завтра-послезавтра вывозить лес — куда его сваливать? Не без того — давно два места углядел. Первое-то отринул, уверился, что просится церковь на горушку.

Третьего числа марта приехал из села Ездакова Фёдор Васильевич Головачёв. Да не один, а с мужиками, а мужики-то с лошадьми.

Приезд помещика для Иоанна нечаянной радостью.

— Ты аки сюда самим Господом направлен. Вот уж ко времени подгадал!

— Так, земля слухом полна. Слышу: рубят лес монахи, стало быть, и мне засучать рукава. А ты что хмурен, отче. Ай, недужится?

Иоанн рассказал о запинке с выбором места для храма.

— Давай вместе приглядимся!

Вышли из кельи Иоанна. Солнце слепило по-мартовски. На пригревах тихо осаживались задышавшие, уже тающие снега. Сосны сбрасывали зимнюю дрёму, в ростепели расправляли свои вершинные сучья. Ели стряхивали с кончиков низко опущенных лап стеклянную бахромку последних сосулек.

Головачёв — большой, грузный, в чёрной шубе нараспах жмурил глаза, шагал тяжело, уминая снег. Они остановились на вершинной части горы, испятнанной чьими-то следами и палой хвоей. Фёдор Васильевич растирал ладонями тугие красные щёки, поглядывал на ровный скат горы к Сатису и Сарове с поределым тут сосняком. Этот скат замыкали внизу монашеские кельи.

— Сюда, сюда, ближе к нам, и где-то на серёдочке — самое

место! — чуть не прокричал Головачёв.

— Сог-ла-сен! — Иоанн радовался тому, что и он приглядел указанное помещиком место. Но не признался сейчас в этом, надо уважить Фёдора Васильевича — пусть всегда после помнит, что саровский храм по его указке тут поставлен. — А колокольню поставим высокую, чтобы над лесом она… — невольно вырвалось у Иоанна. Он с грустью вспомнил, что давно уже не ощущал высоты с её святостью…

Головачёв остался на целый день. Сбросил шубу, в лёгком кафтане возил вместе со своими мужиками сваленные лесины, задорил возчиков. Вывезли к вечеру двадцать три сосновых ствола. Намаялись страшенно, притомили лошадей. На другой день приехали на свежих лошадях мужики из Кремёнок, догадливо уложили гладкие покаты из тех же лесин и по ним, волосяными веревками, что привязывались к хомутам лошадей, — скоро наладились таскать лесины вверх по склону горы. Петли из вервия накидывались на концы брёвен, и две лошади без труда подвозили толстые стволы.

…Тихо раскисали, источались в тепле слежалые за долгую зиму снега, весело сбегали с отложья горы к Сатису и Сарове говорливые ручьи, зависла над бескрайними лесами мягкая весенняя теплынь, нарастал в зарослях лозняка и ветел по берегам речек разноголосый птичий песнопев.

Иоанн опять ходил озабоченным.

Плотников нанимать пора, а сребреца нет.

…Подчищали рвы под основание подцерковья. Клеть нужна будет под всякие добрые нужды — клеть и поднимет, возвеселит храм!

Споро работал лопатой Паисий — ровнял место для углового камня. Лопата неожиданно качнулась в сторону, тонко звякнула, с искринкой чиркнула о железное. Монах наклонился, пошарил пятерней в рыхлой земле, пальцы уперлись во что-то твёрдое. Осторожно окопал — какой-то брусок железный. Потянул — не идёт. Копнул в боковины лопатой раз, другой — а вот и всё показалось…

Иоанн неподалёку бревно шкурил скобелем. Паисий подошёл, подал покрытую ржой, сломанную едва ли не по середине лезвия саблю. Медная рукоять сохранилась хорошо, заканчивалась она головой хищной птицы — выгнутый нос, два глаза с зелёными стёклышками…

Подошли другие монахи, разглядывали, ахали.

— Сараклычская татаровя свои зубы кажет…

— Глина тут красна…

— Не от православной ли кровушки!

Иоанн вспомнил:

— Тут, в горе, каменные кресты прежде находили. Клады татарских владык искали. В тех же Кремёнках баяли, да и в Санаксарском, когда я там живал… Только не дались людям клады!

— Клады по счастью в руки даются, по заговорному слову…

27 апреля к радости монахов приехали два священника из ближнего Темникова и арзамасцы — дьякон с мирянами, служить службу при закладке храма.

Поздно, уже ночь желанной прохладой опустилась на землю, Иоанн записывал в свое «Сказание» тех, кому выпало строить церковь в Сарове. Надо же оставить память о первых трудниках монастырских, а что быть-стать обители Божьей на Старом Городище игумен пока Арзамасского Введенского уже не сомневался.

…Скрипит гусиное перо по твёрдой толстой бумаге.

Два года назад братии проживало тут больше числом. Ириней и Севастиан скончались в третьем году нового века. Любимый Афиноген взят на иеромонашество в Введенский. Ипполит и Геласий — Бог им судья! — уклонились в прежний мирской образ жизни. Вот и выходит, что из самых-то первых пустынножителей только Паисий, Иоасаф и Серафим остались. Но есть, есть и новоприбылые: Феолог — это дядя-то Ивана Васильевича Масленкова, и Фома. Год назад пришёл Дмитрий Онисимович Замятин — крестьянский сын из села Савватьмы Тамбовской губернии, отпущенник князя Волконского. Двадцать семь лет, в самой силе мужик. Недавно Иоанн постриг его под именем Дорофея. На днях попросился на пустынножитие Борис сын Иванов Ржевитин. Он и прежде тут обретался, ещё при Иринее. Перво-то раскольником, а Ириней обратил его к церкви. Прослышал Борис, что монахи храм строят, и вот поспешил приложить свои руки. Но мало того, привёл с собой подруга — девятнадцатилетнего Федота…

Морил сон. Загасил свечу, лёг на свое жёсткое монашеское ложе и уснул поистине сном праведника.

2.

Ночью встал квасу испить, выглянул в окно — небо плотно облаками затянуто, опечалился: завтра молебен на улице, торжество, солнышка бы, солнышка!

А он хорошим выдался, денёк 28 апреля. После рассвета

заморочало и даже дождиком влажно пахнуло, но потом разъяснилось, ветерок разнёс плотную облачную синь, и открылась сверкающая голубизна небес.

Чистые лица, счастливые глаза монахов, священники в блестящих ризах — пустыня огласилась славословием Господу Спасителю и Пречистой Его Матери. Закончили молебное пение по чиноположению монахи, и все прибывшие начали работу. Уложены угловые державные камни и камни под перерубы, уложили нижний венец стен и по обычаю сели за приготовленные столы на братчину.

Нежадно ели и пили, и не умолкал в застолье приличный случаю разговор:

— Господь — напервый строитель!

— Да, не каждому выпадает счастие начать Божие строение…

Иоанн прислушивается к мужицким голосам — люб ему неторопливый переговор:

— И душу свою выстраиваем…

— Церковь, она, робя, не только в брёвнах, но и в рёбрах…

— Топор всю Русь украсил!

Рядом сидящий Дорофей — молодой, весёлый, потянул свой рассказ:

— Мне, малому, батюшка, бывало, все мудрости сказывал — ум мой пытал. Помню, загадку загадал. Стоит древо, цветом зелено, а в этом древе четыре для человека угодья: перво — больным исцеление, второе — от теми свет, третье — дряхлых пеленанье, а четвертое — людям колодец… Уж я думал-гадал: для ково ж пеленанье… Так и не извернулся мой ум…

— Да ведь сразу-те на всё и не сдогадаешься!

— Иные умеют говорить загадчиво.

Кто-то из кременских мужиков через стол почти кричал:

— На исцеление-то веник!

— Лучина — свет…

Иоанн знал загадку, ещё в мальстве далёком родитель же пытал. Тоже затруднился на счёт пелен, да отец недолго мучил: мать-то горшки битые берестой пеленала, ай забыл?

Опять вечером у себя в келье Иоанн записал:

«И тако руками пустынных иноков и прочими христолюбивыми человеки начася та святая церковь».

Храм поднимался быстро. Иоанн не ожидал столько доброхотов, а они, прознав про строительство храма, шли и ехали со всех сторон. Большая часть топорников «ничтоже не взъемлюше» работали и даже приезжали со своим хлебом, другим платили самую малость «по единой цате»,[40] по две, по три за день. Скоро опустела кубышка братии, но тут грянул из Арзамаса

Иван Васильевич Масленков. Привёз купец два мешка муки.

Бережно перенёс мешки на крылечко поварни и, оправляя спутанную бороду, весело объявил:

— Мука — издалека! Хоть на затирушки, хоть на ватрушки!

Иоанн признался о своём безденежье:

— Выдохся я… Люди из разных мест, и денежка каждый день нужна для награды.

— Набрал бы одну дружину…

— Не-ет, давно заведено: и тому, и другому православному приложить руки к Божьему храму хочется. То и идёт народ отовсюду.

Прошлись к церкви, где мужики без устали стучали топорами, поодаль присели под сосной.

— А недаром ты это место возлюбил, — разводя руками восхищался Иван Васильевич. — На-ка доброхотную дачу! — и подал снова тугой холщовый кошелёк. — Вот и взыграло в глазах у строителя!

— Иване, друже… Да я сейчас к мужикам — кременских порадую…

— Погодь, отдохни. О твои мозоли на руках хоть яйца бей… Я тебя ещё и словом повеселю. И ты не перечь, я к тебе вона куда лошадку гнал… В Гурьев день подьячий, а был он худогласен, пел на правом клиросе так жалобно, что как начнёт возглашать, так пастух близстоящий принимался плакать. Приметил сие подьячий и подумал, что приятность его голоса трогает сердце простака и так его прослезает. Кончилась обедня, решил он спросить у пастуха, что он так слезился? «Ах, батюшка, — отвечал пастух, — как же мне, бедняге, не плакать, у меня недавно волки съели козла голосистого. И вот, как услышу, как запевал ты, так мне и чудится, что блеет моя животина. Такой козлетон!»

Иоанн посмеялся — церковное пение знает сызмалу, знает, как слышима бывает фальшь того певца, кто глух к песенному согласию.

Пригрелись у сосны, однако надо было вставать — купец торопился в обрат. Иоанн проводил друга до дороги в Дивеево. Подавая на прощанье руку, Масленков пообещал:

— Во всех потребах, игумен, я тебя не оставлю.

— Поезжай, муж честен. И Бог те встречу!

…Клеть подняли, уже и церкви несколько венцов положили.

И вдруг — всполох!

Оказывается, господа Леонтьевы из Кремёнок не дремали. И вот пришёл в пустынь дворовой человек помещика с подьячим из города Кадома, и явился он не с пустыми руками, а с указом о возвращении помещику некоторых пустошей, отписанных прежде

в казну. Короче, вышло так, что Старое Городище, согласно объявленному указу, входило в собственность господ Леонтьевых. И вот он, Трофимов с подьячим, заявляет о законном господском повелении: церковь ломать!

Ярился Трофимов с подручными: несколько дюжих мужиков начали наседать на монахов, задирать и доброхотных строителей.

Иоанн в это время находился в своей келье. Услыхал крики и бросился к мужикам — не беда ли, ай, кого придавило?!

К нему подскочил рыжий растрёпанный мужичонка со вскинутыми кулаками.

— Вот он всё тут начал!

Задергались вокруг другие.

Иоанн спокойно отвёл кулаки рыжего, спокойно спросил:

— Чево вскипели, лаетесь пошто? И о своём ли кровном шумство подняли. Ах, о господском… Что ж сами-то господа в нетях? Ишь, мирян науськали. Кто тут головной?

Трофимов отозвался: его барин послал…

— Я же был у вас в Кремёнках, читал указ Казанского приказа. Ты не слышал… Пойдём, я этот указ покажу. Мужики, вы чего взыскались? Неуж за Москвой власть не признаёте… И сором вас не берёт…[41] Бросьте лаяться, не в кружале!

— Разме-етывай! — вдруг дико закричал высокий черный мужик из леонтьевских и кинулся к срубу.

Тут и выступил Дорофей. Заступил дорогу чёрному, ухватил его за руку.

— Охолони, хульник, а то мы тебе скоро укорот дадим! В Сибирь захотели?!

Леонтьевские посланцы тут же приостыли. Иоанн, увидевши замешательство пришлых, сказал Трофимову:

— Пойдём-ка в келью. Я прочитаю твою бумагу, а ты мою. Ты, оказывается, грамотный. Давай отпишем твоим господам, они теперь, как я слышал, в Москве… Дождёмся их присылки…

Разумный совет усмирил Трофимова. Он тут же спровадил своих с горы:

— Ступайте к мельнице.

В келье Трофимов вытащил из-за пазухи вчетверо сложенный лист бумаги. Иоанн внимательно его прочитал.

— Ну вот… Эта твоя бумага за мзду постыдную в Кадоме писана. А вот мою чти, московскую с печатью. Отпиши барину, что ты тут вычитал. Земля князю Кугушеву передана, как ничейная, о том обыск князь Дябринский учинил, Кугушев же нам, монахам, Старое Городище уступил…

Трофимов скоро прочитал указы Иоанна: усмирил глаза.

— Подклонил ты меня отче сразу — прости!

— Живи незлобием и не подстрекай мужиков к мятежу. Негоже, наказуемо!

Трофимов ушёл с миром в душе. Он отписал барину, более Леонтьевы не поднимали затеянного было дела. Как-то, не через год ли, Иоанн встретил Трофимова у мельницы и спросил, что молчит барин?

— На чужой каравай рот не разевай! — с поклоном отозвался мужик и машисто пошёл к лошади, чтобы подтянуть супонь.

— То-то и оно! — засмеялся вслед Иоанн.

3.

Он просыпался и ещё лёжа ощущал не то прежнее, годами настороженное, почасту гнетущее одиночество отшельника, но радость наполненности близкими людьми возлюбленной пустыни.

Теперешняя населенность Старого Городища, оказывается, особо заботила, и потому Иоанн поднимался рано, наскоро умывался, коротко молился и спешил за двери — ему хотелось побыть и одному возле поднимающейся церкви.

Поварня, что стояла подальше от келий, ещё не курилась дымком — монахи и плотники спали. В тишине едва слышно лопотал на деревянном сливе источник, в сырых лозняках у Саровы сонно попискивала ранняя птаха, сосны — слева, на покатом оплечье горы, ещё не освещённые солнцем, вздымались чёрными великанами, что сцепились вытянутыми руками, да так и застыли по чьей-то воле в своей ночной немоте.

Нахоженной тропой поднялся к церкви. Она открылась сразу на круглой поляне. «На красе ставим!» — порадовался Иоанн и присел у завали щепы и брёвен.

Он с детства любил острый дух сосновой смолки, прелый, сладковатый запах сохнущего корья и ошкуренного луба, белизну глазастого среза дерева с его годовыми разводами по кругу, крепкие шершавые наросты комлевой коры и нежную желтизну сосновых вершин. Вот и сейчас по-мальчишески обострённо вбирал в себя то, что открывалось ему в обнажённом дереве — он жалел его, но и бодрил остатнюю жизнь в нём: церкви, на службу Богу посвящена ты, сосёнушка…

Иоанн давно определил, каким будет храм в его пустыни. Такой же, как в родном Красном. Только поменьше.

Красносельская церковь… Любовно срубленная, стоит она лепотная, на пригорке. И никому, наверное, так не близка, как

отчему роду. Служили в ней прадед, потом дед Степан, а теперь дядя Михаил, определённый также на служение миром, завершает свой черёд. И родитель с юности причетником. Поговаривали, помнится, на селе, что быть в попех и Иваше — с мальства всё церковное приял. Иоанн вздыхает: догорает в болезни матушка, братец отошёл от родного дома, Катенька замуж выдана… Уйдёт по обещанию родитель в Введенский и прервётся там, в Красном, служба Поповых Господу. Тому, знать, быть. Но радуйся, монах, что ты не оставлен Всевышним, определён-таки к престолу Его — служи непорочно! А в Красном пусть приступает к службе чей-то другой род — это славно!

Запискивала какая-то пичуга совсем рядом. Это она с наличника церкви… Напомнила, малая, как в недавнем апреле сидели вот тут на свезённых брёвнах и он бодрил монахов:

— Ну, чёрная братия, сим объявляю: четверик на клети, а выше восьмерик, верх на нём луковицей. Шейка и главица на оной — чешуйчаты. Прирубим и трапезную. Что ещё… Внизу, на выпусках срубных изладим крытую галерею: дождь, скажем, богомольцам переждать после службы. Паперть на стрелах, под сенью…

Паисий, а его главным на строительстве определили, подал голос:

— А колокольня?

— Отдельно-то ставить не надо — чуток трапезную протянем и уж над ней вознимем. Сень — шатровая. Колокола-то — у нас, покамест, будут небольши.

Спросил Дорофей:

— Как рубить-то?

— А обло, пожалуй, решайте сами.

…Всходило солнце. Иоанн молодо взошёл на колокольню. Подняли её, по его желанию, повыше, так что хорошо виден вершинный скат боровины на полуденную сторону. Там, вдали, лесные дали терялись в серой, ещё не растаявшей ночной наволочи, и только низкие облака над дымчатой мглой нежно румянились и открывалась над ними лёгкая синева высокого неба.

А на востоке солнце слепило — длинными сверкающими стрелами пробивалось сквозь чёрную навесь хвои, — Иоанн по-мальчишески подставлял лицо ласковым, ещё прохладным лучам и замирал, как в далёком детстве на колокольне Красного. Любил, любил он в такую вот летнюю рань вбегать на колокольню — знать, сам Бог поднимал его с постели полюбоваться на утреннюю красоту родной сторонки с возвышенным, чистым порывом к небу…

Он наконец спустился вниз и пошёл к келиям. Пахнуло дымком — строители уже встали.

Арзамасцы точили топоры, открыто похвалялись перед сидевшими тут же на скамье монахами:

— Наш брат и думает топором.

— С топором весь свет обойдешь!

— Да, не чаяли мы, что у тамбовской грани будем тупить лезвы.

— Уж где как, а у нас от топора щепки летят — подати платят!

За утренней трапезой сидел Иоанн рядышком со Степаном Фёдоровым из села Елизарьева, кровельщиком. Степан молод, жилист, с коротко подстриженной бородой и веселыми карими глазами. Говорит неспешно, обдуманно, будто сам себя слушает. Ему охота высказаться перед учёным монахом, и он исповедутся по-своему:

— В нашем ремесле… Небоязливое сердце иметь надо и крепкий постав ноги — по краю ходим наверху-то. И думать приходится. Вон, в Арзамасе, в Спасском монастыре, помню. Там пять куполов на соборе. Для них железо кроить непросто, с оглядкой…

Иоанн подвинул к Степану ковш с квасом, напомнил:

— Ныне крест ставить!

— Знаю. — Степан сразу посерьёзнел. — Я вчера баньку топил, сегодня в чистом хостовье выходим. Крест ставить — завсегда праздник!

Крест водружали где-то в середине дня после молебного пения. Иоанн помогал Степану осадить крест в гнездо. Вечером, когда работу кончили, заботно ещё раз обошли храм, пригляделись — прямо, нерушимо стоит крест!

В ночь на семнадцатое мая, когда уже все спали, над Старым Городищем вдруг раздался хорошо слышимый колокольный звон. Голосистая медь мягко скатилась с горы, тронула дрёмные окна келий, монахи и плотники вскочили на ноги и принялись креститься, вспоминать Господа — все разом уверовали, что удостоились слышать знамение Божие. Все знали, что никаких привозных колоколов в Сарове ещё нет!

Иоанн едва ли не первым услышал звон — сон давнего пустынника всегда чуток, отзывчив на все стороннее. Монах встал на колени перед иконой и в своей святой простоте и вере возблагодарил Всевышнего за явленное благоволение к избранному месту и возведённому храму.

Семнадцатого мая Степан Фёдоров одевал шейку и главку храма деревянными чешуйками — троеплечными лемехами.

Иоанн опять помогал ему.

Большая часть топорников укладывала в церкви пол из колотых надвое деревин, монахи убирали щепу из трапезной, деревянными долотцами подбивали висячий мох в пазах.

И опять, теперь в полдень, строители удостоились знамения свыше. На церковь разом пролился сверху необыкновенный свет — свет много ярче дневного, и каждый тотчас ощутил необычную легкость в теле, рабочей устали как не бывало! И тут же раздался вполне слышимый мягкий звон согласных колоколов. Монахи и плотники побросали инструменты и молчали, не нашлись что и сказать — так потрясло их случившееся. Явленный свет опал как-то незаметно, как радуга растворился в дневном, обычном, но звон ещё продолжался, и строители наконец заозирались — откуда он исходил? Он слышался «повсюду того места, аки во многие колокола звонящий» — взволнованно записал ночью в свое «Сказание» Иоанн.

Он ходил преисполненный радости. Четырнадцатого июня церковное строение окончили. Даже строительные леса убрали.

Феолог — дядя-то Ивана Васильевича Масленкова, первым объявил:

— Лепота-а-а…

Не отмолчался Дорофей:

— Баско срубили. И поставлена церковь скоро, одним находом!

Степану Фёдорову вспомнилось:

— Во-от, глаза боятся, а руки делают. Сделали!

Хорошо смотрелся храм. Ешё не потемнело дерево, ещё не тронул её летний загар, не хлестали осенние дожди и зимние метели. Вся жёлто-розовая, белая крышей, с бело-розовой маковицей, с большим золотистым шатром над колокольней, с двумя крылами галерей и бочковым украсом покрытия над папертью…

…Сидели на лавочках, что врыли чуток в сторонке от церкви для прибылых молящихся, и любовались на дело своих рук. Иоанн чувствовал, что люди ждут его слова. Встал, оправил свою густую русую бороду, оглядел мужиков и монахов.

— Храм новоявленный — он радостью всего русскова монашескова братства… Строили мы и всякою мыслию были на небе. Священное возглашалось здесь и топорами… Правильно, мы и души свои выстраивали… Низкий поклон всем вам! Через два дня освятим храм — оставайтесь! Ну, а сейчас все в трапезную — уха ждёт. А потом кременцы и пивца хмелевого наварили — просим, просим!

4.

Накануне дня освящения церкви Иоанн едва успевал принимать прибылых. Архимандрит Спасского Павел приехал с несколькими монахами и возом всякого добра. Как и всегда, неторопливый в движениях — сановитый даже, обласкал своими мудрыми глазами, попросил вести к храму. Поднялись тропой на Старое Городище. Увидев открывшуюся церковь, а за ней плотное полукружье сосен, покачал головой, повернул улыбчивое лицо.

— Так вот какова она, твоя палестина! Теперь понимаю, отчево ты всегда торопился в свою пустынь. Сосны-то каки высоки! Благоуханными главами возносятся к небесам… Да, не ложно молвится: среди берёз веселиться, а в бору молиться. Духовито тут, легко…

Зашли в церковь. Несколько чернецов у дверей шоркали дресвой плотно сплочённый пол. Невольно замолчали у порога. Внутренность храма — обнажённое дерево, открыто сияло нежной, ещё влажной медовой желтизной. Невысокий иконостас добавлял тепла стенам — вспыхивал искорками позолоты нимбов святых, начищенной медью окладов икон и венчающего креста в сиянии. Широкие золотые полосы солнечного света косо падали на жёлтый чистый пол и тоже добавляли праздничной чистоты и весёлости храму. Пахло в нём сосновой смолкой, воском и можжевельником.

— Свято тут! — не сдержал себя архимандрит.

У правого клироса дьякон пробовал голос.

— Горазд гласом, кто сей?

— Из Санаксарского…

С узлом подошёл незнакомый Иоанну монах. Павел поманил чернеца к себе.

— Это — мой. Клади сюда!

На длинном столе, что стоял у окна, чернец развязал узел. Павел принялся показывать.

— Даруем храму напрестольное Евангелие, облачение, иконы и свечи.

— Не знаю, как и благодарить…

— Бога благодари, игумен!

Павел ещё раз оглядел внутренность церкви и буднично, с ленцой объявил:

— Определи меня на покой — натрясло за дорогу.

— В мою келью пожалуйте!

Только Иоанн отвёл архимандрита отдохнуть, как, почти вместе подъехали из Арзамаса свои родненькие из Введенского с Афиногеном и Фёдор Головачёв из села Ездакова. На двух телегах

помещика желтели медные колокола.

Введенских отослал к Дорофею.

— Афиноген, друже, братья… Ступайте к моему келарю, уж он вам работки задаст!

Широко распахнув руки — на этот раз Иоанн в приличной по случаю рясе, шагнул встречь Головачёву.

— Фёдор Васили-ич! Колокола для нас — это же…

Головачёв подошёл под благословение, после смял улыбку.

— Я у арзамасского соборного протопопа сведал о чине благословения колокола. В том чине сказано: «Яко да вси слышащие его, или во дни или нощи, возбудятся к славословию имени Святого Твоего».

— Тако, тако, Фёдор Васильевич! Ну, везите к церкви.

— Сами на звонницу взнесём и укрепим — у меня мужики дюжие. Большой — вервием поднимем. Запаслись, как же!

Только на поварне квасу выпил, подъехал Иван Васильевич Масленков.

— Ждал, ждал тебя, дорогой! — радовался Иоанн.

Иван Васильевич сбрасывал с себя длиннополую хламиду, что накидывал на себя в дорогу от пыли. Увесистый узел он внес в церковь сам. Купец развернул холст, в глаза плеснули яркие краски.

— Вот, как и обещал. Прими…

Храмовый образ Пресвятые Богородицы Живоносного Ее Источника, обложенный позолоченным серебром, восхитил Иоанна.

Масленков поддакнул:

— Да, есть и в нашем Арзамасе пресловущие изографы!

Далее Иван Васильевич разложил напрестольную одежду: пелены, церковную посуду.

Подошёл званый Дорофей.

— Прими икону и уверди на месте. Коробья есть?

— В ризнице два больших сундука приготовлены. А спицы для облачений сам набил.

— Улаживай тут…

Вышли из церкви. Ещё на паперти увидели поднимающийся к кельям воз от темниковской дороги. На телеге были привязаны два больших плетёных короба.

— А это кто таковы?

Купец улыбался.

— Мои! Красное щепье везём. Завтра народ за столы пригласишь — чашки, ложки, стаканы, блюда, братины — всё буде нужно. Я даже чарки кленовые красные и ковши кленовые же закупил, — по-детски радовался Масленков. — У Артюшки

Кондратьева из Выездной слободы целый воз отстегнул, а он уж со своим товаром в Москву наладился…

— Ну, ухарь-купец… Снял ты с меня заботу…

Внизу, у Сатиса, собирались прибылые люди на освящение церкви. Вздымались вверх оглобли телег, задымились костры.

— Ты смотри-ка… — удивлялся Масленков. — Пробудился запустелый Сараклыч. Не на ратную брань собираются сюда, не в доспехах, мечами опоясанные, а в праздничных одеждах под сень храма Господня…

— Для вечери любви сходятся православные, — согласился Иоанн.

— Ну, муж честен, оставляю тебя — отдыхай, а мне поклоны бить приезжим. Гляди-и, кто-то ещё пылит… А ты, друже, к Дорофею в келью напросись, у меня Павел на постое…

Подъехали арзамасские купцы Иван Сальников, Михаил Милютин и Иван Курочкин. Широко разложили свои дары: покровы, красивую завесу к царским дверям, одежду на жертвенник, стихарь, тафтяные покровцы на сосуды…[42]

— Это вот монахиня Никольского монастыря Анфиса Аргамакова с подношением. Тут — ризы луданные, оплечья золотом затканы… — кучер Милютина выкладывал и выкладывал из лубяного короба. — Кажись, всё…

— Красоты души оказали… Узнаю работу арзамасских мастериц! Купцы честные! Передайте Анфисе братский поклон!

Подъехал дворовой Фёдора Яковлевича Улыбышева. Дворянин с матерью Анисьею дарили две тафтяные епитрахили.

Послал киндяк красный арзамасский подьячий из дворян Жуков.[43]

Священник села Юсупова Алексей Иосифов несколько дней помогал строить церковь, а теперь вот принёс покровы…

Ближе к вечеру подъехали обозом крестьяне Кремёнок. Они, оказывается, миром наварили пива и привезли его в бочках. А каждый порознь привёз хлеба, круп, масла, яиц и разную посуду.

И уж совсем неожиданно объявился на монастырском дворе управляющий господ Леонтьевых — Андрей Трофимов, тот самый, что весной приводил мужиков изгнать монахов из пустыни.

— Ещё раз с повинной головой, святой отец, — смущался Трофимов. — Привёз вот брашное, а також вино и пиво. Коли благословите, то приму распоряд завтра за столами.

— Не таю обиды человек ты подневольный… Будь завтра кравчим, согласен. С Дорофеем всё согласи!

…Из Кремёнок встречали крестный ход.

Селяне принесли два колокола, аналой, служебные книги,

церковную утварь.

Настал ясный тихий вечер, какой обычно и бывает в лесной таёжине. Иоанн с колокольни оглядел сотни и сотни мирян подходящих к храму и в радости подумал: вот собрались они, как древний Израиль в пустыне вокруг Скинии Свидения. Благодарение Всевышнему!

В первый раз раздался на Старом Городище первых звон церковных колоколов, призывающих православный люд на славословие Божие.

Строго по уставу совершили всенощное бдение.

Церковь, конечно, не вместила всех желающих войти в неё — плотное кольцо мужиков и баб в белых чистых холстах окружало храм — окна и двери открыты, а вечер долог и светел, июньская же ночь была полна особого святого таинства…

Иоанн почти не сомкнул глаз в эту ночь. А и до сна ли!

Вся пустыня — вокруг церкви и до Сатиса — наполнена народом и все ждут нового дня, праздника, ещё одного торжества православия!

На другой день архимандрит Арзамасского Спасского мужского монастыря Павел произвел торжественное освящение новозданного храма.

…Отпели Божественную литургию, принесли первую бескровную жертву о здравии всех тайных и явных благотворителей и о упокоении душ всех усопших о Господе…

Как весело, зовуще звонили колокола!

И как у всех душа радовалась: ещё одним святым домом усердствующих, молящихся стало больше на отчей земле!

После освящения Иоанн пригласил всех собравшихся на общую трапезу.

После он записал, всё ещё полный торжества в душе:

«Разумно бо бысть зде всем, яко все строися Божиим Промыслом о той Святой Церкви и яко мощно о ней всем глаголати со Апостолом: о глубина и богатства, и премудрости и разума Божия! Яко не испытани судове Божии и не исследовани пути Его! Кто бо разуме ум Господень? Или кто советник Ему бысть? Во истину убо сказание чудно есть! Освятил есть селение Свое Вышний!»

Душа так высоко сказала…

А летописец в нём написал:

«Так совершилось освящение святого храма Пречистыя Богородицы Живоносного Ея Источника в Саровской пустыни в лето от Рождества Христова 1706-е, индикта 14, круг солнца В, вруцелета А, литера азбучная В, месяца Июния в 16 день…»

5.

Проводили гостей, и таёжная тишина опять объяла Старое Городище. Только по утрам и вечерам её мягко колебал колокольный благовест, зовущий монахов к молитве, чтобы не впасть в духовное усыпление.

Иоанн ходил задумчивым, внутренне притихшим — в нём избывалась усталость последнего времени. Потом опять захватило беспокойство, позыв к делу. И вспомнилось, что после освящения храма архимандрит Павел, как бы невзначай, обронил:

— Я тебе, вместе с книгами, две стопы бумаги привёз — Дорофею передал. Мыслю, бумага скоро понадобится.

Так скоро оказалась нужной бумага! Приказно сказал себе: садись, монах, писать устав монастыря, пора!

В келье на столе книги и книги. Покрытые кожей, холстами, медные фигурные застёжки откинуты, в толще сухих страниц множество закладок из шелка, простого льна и даже тиснёной кожи…

Иоанн медленно ходит по келье, перебирает в памяти наставления отцов церкви.

Предостерегал некогда Ефрем Сирин: «Велика пагуба душам, иде-же правила и управление душ не жительствует…»

Святой Василий Великий основу иноческого общежития поставляет тако: в содружестве совершеннейшем!

Иоанн Златоуст говорил мудро: в общежитии кто будет мал или велик — не зрить на того и другого… Велик в монастыре тот, кто и худейшее дело ускоряет делати. Там едина трапеза всем, едина пища, одинаково одеяние, селение и питие, несть тамо мое и твое, тамо изгнан глагол: виновный…

Советно изрекал святой авва Дорофей: чем кажутся общежития? Не суть ли оне одно тело… Правящий и наставляющий суть глава… И далее, как умно определил Дорофей единство всех, содействие глаз, ушей, рук, ног и уст монашьих в одно целое.

Иоанн подошёл к столу, пошелестел толстыми страницами труда Иоанна Златоуста, прочёл для себя вслух: «Настоятель, аще и свое житие добре устроит, а сущих же под властию опасно не радить с лукавыми, в геену отходит!»

Иоанн присаживается к столу и берёт в руки гусиное перо. Он напишет устав строгим, как и все уставы древлеотеческих монастырей, поскольку слава тех обителей на камне строгости и основана.

Не забыл Иоанн и о приведении в исполнение апостольского заповедания: «Братия, страннолюбия и общения не забывайте:

таковыми бо жертвами благоугождается Бог».

В уставе Иоанн особо оговорил, что всех приходящих в обитель богомольцев всякого звания и состояния довольствовать общею трапезой, не взирая на число их и «не бояся никакой скудости».

В июле собрал своих чернецов. Они все ещё были полны праздником освящения церкви.

Начал медленно, обдумывая каждое слово:

— Братья, строили мы храм и думали, что строим и обитель нашу, наше общежитие духовное. Растет и славится та семья, которая устрояется ладом, любовью. На служение Богу собрались мы здесь братством… Иисус Христос навечно оставил миру и каждому заповеди чистого жития. Положим и мы правила, устав обитания в пустыни нашей на времена нынешние и предбудущие. Будем памятовать, что только добродетель может твердо ручаться за жизнь обители… Сперва спрошу совета о именовании нашего общежительства, как нам объявиться миру?

— Так, давно место меж нами названо: саровские мы, — осторожно начал Паисий.

— Уж коли не храм выносим, то одново Сарова мало, — добавил Иосаф. — Також и Сатис рядом…

Напомнил о себе кашлем Феолог.

Иоанн кивнул: говори!

— Ежели из мест здешних исходим, то забыли мы, что в указе о земле Казанского приказа сказано и о Старом Городище…

— А ведь и это надо вместить! — согласился Иоанн и тут же сложилось для него. — Значится, так: Сатисо-Градо-Саровская пустынь! Сатис на первое место ставлю, как там у источника житие наше начиналось… Согласны ли?

— Пиши тако!

— Реки почтили — хорошо…

— Да и город тож!

Иоанн зачитал первую часть устава — общие основания обшежительства, и монахи одобрили его, составили письменный приговор:

«…в сей Сатисо-Градо-Саровской пустыни, у святой церкви Пресвятым Богородицы Живоносного Ея Источника быть общежительному пребыванию монахов… И положихом, по свидетельству и преданию Святых Апостол и Святых Отец, чин-устав общего жития. И отныне нам зде всем живущим монахам и сущим по нас настоятелем и братиям держать и хранить безотложно дондеже (доколе, пока, до тех пор) благоволением Божиим обитель сия будет стоять».

Через неделю братия опять собралась на совет, чтобы

обсудить вторую часть устава, которую Иоанн написал. Эта часть содержала правила важнейшей основы монашеской жизни — порядок совершения Божественных служб и келейных молитв на основе общежительного устава.

Свои обязанности и суть монашеского жития Иоанн изложил в третьем «наказании»: «Елика Богови любезна, да промышляет и печётся настоятель Праведного бо истинного пастыря дело есть, ещё промышляти и пешися о всех, пасомых же дело есть, еже повиноватися во всем наставнику и учителю, немало ропчуще, ниже преслушающе, но вседушно и усердно послушание имети и всяко благоговение и повиновение и благоразумие».

И ещё сказал Иоанн о сущности иноческого жития. Святые Отцы учили, что не в одном совместном жительстве или в общей одежде и трапезе эта суть заключается, но в том по преимуществу, что будет сердце у всех едино, и воля едина, и желание едино, как законополагает Святый Апостол: да будет вся целость общества едино тело, из разных частей состявленное…

Собрались монахи и в третий раз, чтобы составить приговор: просить духовные власти утвердить поданный устав «Государевым и благословением архирейским».

Местоблюститель патриаршего престола митрополит Рязанский и Муромский Стефан[44] повелел дать грамоту «во утверждении: да работают Госповеди во страсе и радуются в трепете, присно спасение свое соделывающе».

Знать не просто, не легко и далеко не сразу далось первосвященному иерарху православной церкви добиться у царя согласия на открытие нового монастыря в России — не жаловал явно Пётр I чернецов… Каким случаем было получено его согласие на появление Саровской обители — знал об этом, наверное, только сам высокий ходатай. Грамота подписана, обрела силу только 15 марта 1711 года!

Вот уж чего не ожидали монахи от «патриарша блюстителя между патриаршеством смиренного Стефана», так это — виршей…

Братие, блюдитеся черну нося ризу,
Имейте смирение, око держа низу.
Убегайте гордыни, тщеславия злого,
Еже погубляет всем небесное благо.
Зависть, славолюбие и гнев отлагайте,
Постом и молитвою оных прогоняйте.
Лицемерства, лености лишатися тщитесь.
Но смиренно постяся, в молитвах трудитесь.
Единообщее все вам всем будет,

Не сумнитеся, понеже Бог вас не забудет.
Высший брат над низшим не высоко мудрствуй,
Но всегда себе равна быти умствуй.
Сице образ показа и Христос Собою,
Аще рек, кто в вас вящий, да будет слугою.
Сего ради благодать, мир в вас да пребывает;
Кротость, воздержание в вас да водворяет.
Имейте же наипаче любовь меж собою,
Истинну, а не лестну, совестью благою:
Сия бо вас представит небесному трону,
И даст нескончаемой радости корону.

Торжественно прочитал Иоанн грамоту и вирши митрополита Стефана и его приписку: «Во окончании же сего моего завещания мир и благословение вам оставляю».

Возвратясь в свою келью из храма в тихой задумчивости, первоначальник Саровского монастыря невольно озаботился: «Падает на меня новый ярём Господень, как же понесу его перед Всевышним?!»

6.

Поставили монахи церковь и тут же приступили к Иоанну.

— Всё здесь устроено твоими трудами — бери бразды правления! Дорофей напомнил:

— В Введенском-то чернецов меньше, чем у нас…

Феолог вершил разговор:

— Желаем видеть тебя настоятелем!

Иоанн благодарно оглядел своих пасомых. Только и сказал:

— Просите, христолюбцы, об этом духовные власти. Зело благодарен за оказанную честь!

5 февраля 1709 года из Патриаршего приказа пришла особая грамота, утверждавшая иеромонаха Иоанна игуменом Саровского монастыря. Введенский монастырь вверялся в ведение иеромонаху Афиногену.

Вскоре получил присылку от игумена Николаевского мужского монастыря из Переяславля-Залесского Питирима. Порадовался Питирим тому, что воссияла слава Божия и в саровских дебрях, что Иоанн зачал новую обитель в России. Не забыл игумен поделиться словом и о своих трудах. Съездил он за Волгу к Филарету — исполнил духовные нужды новообращенных:

построена церковь, к церкви присоединено немало других раскольников. А еще, среди прочего, Питирим сообщал, что он свидетельствовал о достойных трудах Иоанна царевнам Марии и Феодосии — дочерям покойного Алексея Михайловича.

Иоанн отписал Питириму, что и он не теряет добрых связей с раскольниками.

В начале 1711 года он писал митрополиту Стефану Яворскому в своем доношении «… и ныне приходят в пустыню Саровскую самоходные, прельщенные раскольники и раскольницы для разговора и рассуждения. Иные желают монашеского пострижения…»

В марте этого года из Патриаршего приказа пришла грамота, которая советовала: «…обращающихся из раскола монахов отдавать в монастыри, а бельцов на смотрение отцов духовных. А как раскольники и самовольники монахи впредь в тех ваших сторонах буде объявяться и блазнятся и тебе в обращение их в Православную Христианскую веру — чинить разговор с ними с прилежанием от Божественного писания со всяким тщанием…»

…Опять в Сарове стучали топоры.

Перенесли кельи ближе к храму, обнесли монастырь деревянной оградой, по углам поднялись сурового облика башни. Срубили гостинический дом для приходящих богомольцев. Затем объявились Святые ворота с церковью над ними во имя архистратига Михаила. Далее начата была постройка церкви Преображения Господня с приделами св. Николая-чудотворца и преподобных Зосимы и Савватия соловецких чудотворцев — помнился Иоанну Тимолай из знаменитой северной обители, что приходил к нему в Санаксарский и предрек о славе будущего монастыря в дебрях Саровских…

На всё нужна денежка. Строитель почасту уезжал из пустыни: взывал к прежним вкладчикам, искал новых — перепадало монахам, не без того. Но хотелось постоянной мирской помощи, и за нею-то отправился в родной Арзамас — куда же боле!

Откликнулся Павел из Спасского, с ним и пошли к воеводе города Алексею Авраамовичу Пестову.

Воевода поздравил Иоанна с игуменством, не удержался, с лёгкой усмешкой заговорил:

— Раз уж пришли святые отцы вместе — будут что-то просить. А поелику тут Иоанн, то челобитная, провижу, от нево быть имеет. Так ли?

— Гораздо догадливы, ваше высокое благородие!

— В чём же нужда?

Говорил Иоанн:

— Не мне вам сказывать… Ведомо: монастырь — это люди,

храмы, всякие там службы и нужды, постоянные нужды… Такова братии просьба: поставить часовню нашей обители с подворьем в Арзамасе. Пришлым, приезжим — тепло и удобство, а нам какая-никакая лепта. Два угодья!

Молчавший доселе архимандрит Павел уточнил:

— Поставить бы часовню близко Настасьинских ворот — бойконькое место при въезде в город с Московской дороги. Там, внизу — Сенная площадь, заезжие дворы… Благочестивым угодно будет останавливаться, конечно, на монастырском подворье — надёжнее…

— Дивлюсь, отцы честные, как это Спасский место сие не просит, — не скрыл своего удивления Пестов.

— Спасскому нет нужды! — быстро нашёлся Павел.

Иоанн перед воеводой руками развёл.

— Знать, для саровцев Бог место хранил!

— Раз уж так — перечить не стану, — Алексей Авраамович встал, да тут же и озаботился: — Надо созвать сословия, писать челобитную миром.

Вскоре Пестов пригласил «сословия» и пятьдесят горожан подписали прошение в Москву, оговорив, что землю отдают Саровской пустыни «безмездно».

Указ из Москвы разрешил Саровской пустыни поставить в Арзамасе часовню. Вкладчики обители купили у Николаевского женского монастыря — это под Воскресенской горой, под стенами крепости, двор с огородом. На купленной земле и появилось подворье саровцев, здесь и поднялась часовня.

…Сидели в трапезной, хлебали постный суп с грибами. На столе в больших деревянных чашках остывал ягодный кисель. Густо несло свежеиспеченным чёрным хлебом. Сытный дух охотил к разговору.

Начал Паисий:

— Кельи перенесли вверх, к храму поближе.

— В четыредесятницу ищем безмолвия. Ты, Иоанн, преж прилежал к оному…

— Пещера в горе ископана твоими руками…

— В храме пещерном душа о посте радуется…

— Молитвенно под землей…

Иоанн кивал головой, соглашался. Вдруг вспомнилось ему видение во сне. Когда ж это было… Это в девяносто втором году, пришли они из Санаксарского с Андреем, потом белец ушёл и ушёл навсегда… Да, тогда-то он и начал копать пещеру как символ гроба, а потом и зверья ещё пугался… Вот в ту пору Господь и укрепил его видением: он стоит близ Киева около Печерской обители преподобных Антония и Феодосия… Слышит

голос о приходе архирея Илариона. В облачении архирейском подошёл Иларион и благословил его. И в этом благословении Иоанн увидел тогда одобрение своим трудам, ибо Иларион некогда первым выкопал около Киева первую пещеру в две сажени, в которой после и страдовал по прибытии с Афонской горы преподобный Антоний…

Иоанн отодвинул от себя чашку и ложку.

— Да, братия, копал, две сажени земли выбросал — спасался в пещере. Да нешто я против, отцы честные! Добрый помысел — берем в руки лопаты и почнем…

В Саровской пустыни числилось уже двадцать монашествующих — споро пошла работа. Расширили две кельи, отрытые Иоанном, выкопали ещё несколько, а с ними и большую с тем, чтобы устроить в ней церковь во имя преподобных Антония, Феодосия и всех Киевско-Печерских чудотворцев.

Следовало вновь писать челобитье в Москву. Не дожидаясь ответа, Иоанн выехал в первопрестольную, чтобы поклониться высоким особам.

…У дочерей царя Алексея Михайловича, а он был женат дважды, сложилась печальная судьба. В 1704 году 3 июля скончала земные дни свои Софья, которую насильно постригли на второй день казни стрельцов 11 октября 1698 года в Новодевичий монастырь. Ей исполнилось всего сорок шесть лет.

Марфу, тоже заподозренную Петром I в заговоре со стрельцами, также насильно постригли в 1698 году в Успенский монастырь Александровской слободы. Там она и умерла в 1707 году в возрасте пятидесяти четырех лет. Евдокия — самая старшая скончалась в 1712 году. И эта царевна жила в немилости: царствующий брат считал, что она сочувствовала Софье Алексеевне. В 1718 году скоропостижно ушла из жизни царевна Екатерина, а раньше её, в 1713 году, умерла Феодосия.

Царский дворец пустел. Долее других царевен жила Мария Алексеевна. Её земные дни кончились в марте будущего 1723 года в Петербурге. Эту царевну держали в особом доме под надзором в связи с тем, что она симпатизировала племяннику Алексею Петровичу, замученному в 1718 году.

…Царевны Мария и Феодосия жили «на Верху»[45] тихо, опасаясь крутого братца, который оказывал мало чести и этим своим сёстрам. Их быт затворниц стал схожим с монастырским, единственное, что связывало их с людьми, миром — это невидимый подвиг милосердия к соотичам и молитва к Богу.

Несмотря на традиционный затвор царевен, они вполне знали и следили за жизнью вне кремлёвских стен. Главную связь с этой жизнью затворницы поддерживали через духовных лиц. Раскол в

стране, разделивший православных, обострил внимание и царевен к происходящему в отеческой церкви. Питирим, вхожий в царскую семью, вызвал несомненный интерес как умелый помощник Петра в деле обращения раскольников. Тем более, что один из главных центров раскола — Нижегородское Поволжье — стало полем деятельности неукротимого Питирима. Так он, приняв под своё попечение обращённых Иоанном, не мог не рассказать царевнам об искусном монахе, который вернул в церковь три скита заволжских страообрядцев.

…Мария Алексеевна сидела за столом — шила золотом по бархату. Диковинные цветы и травы раскидались по тяжелой ткани, кроёной для священнического облачения.

Каждый новый человек, что являлся пред очами царевны, оказывался в свете большого окна.

Она оглядела вошедшего. Рослый, темнорус, в плотной бороде протянулись уже заметные седые нити. Прямые брови, цвет глаз царевна не разглядела сразу — их притеняли густые ресницы. Что отметила царская дочь, так это то, как легко вошёл в светлицу красивый монах.

Единственное, что поначалу успел увидеть Иоанн — царевна одета в одеяние «смирных вдовьих цветов».

Мария Алексеевна бодрила ласковым взглядом.

— Так ты, отче, как сказывали, по примеру киевских преподобных, пещеры копать в своей пустыни начал. И церковь подземную посвящаеши во имя Антония и Феодосия Печерских…

— Обитель наша на горушке, недра велики… Близ исток из тех недр…

— О челобитье твоём знаю, душа наша отзывается. Получишь ты указ на освящение подземной церкви. Прими от нас с Феодосией иконостас железный с царскими вратами, икону Пресвятой Девы Марии, облачения, сосуды и книги. А деньги — внизу подьячий выдаст. И по всему прочему обращайся к нему. Я скажу, чтобы привечал…

До прихода к царевне Иоанн сведал в Москве, что дочери Алексея Михайловича особо благоволят к церкви теперь, когда венценосный братец так ожесточился противу духовных. Потому Иоанн и понял цену поистине царских щедрот для своей пустыни. Он кланялся «большим обычаем» — до полу и благодарил царевну.

Мария Алексеевна кротко просила:

— Молитесь за нас, грешных! Питирим из Залесского сказывал, с твоих слов, одначе… Знамения были на месте твоей пустыни?

Иоанн рассказал о колокольных звонах, что были явлены из-

под земли, о нездешнем свете, падавшем с небес на Старое Городище. Да он и сам слышал и видел, как храм-то строили… Сподобил Господь…

Мария Алексеевна и о шитье своём забыла, её красивое бледное лицо напряглось.

— Коли точию так, то велика будет слава твоей обители, святой отец! Да, а раскольники нижегородские — они, что… В святом заблуждении или прямые ослушники царю?

— Наши оне, наши! Их бы любовью, терпением в церковь приводите. Доброе добром живо…

— Вежество мне твоё любо, Иоанн! — светлела лицом царевна. И перед тем, как отпустить, наказала: — Нужда какая или что ещё озаботит — доводи до нас, а то и сам на очеса показывайся. Знаю архимандрита вашева Спасскова, Павла. Достойный молитвенник наш. Наслышаны мы, что по ево желанию с братией игумен Костромского Кривоозерного монастыря Корнилий списал древнюю икону Иерусалимской Божией Матери… — Мария Алексеевна внезапно прервала свой рассказ — Иоанн понял запинку царевны как её забывчивость и заспешил со своим:

— Написан образ был святыми апостолами в пятнадцатом году по вознесению Господа нашева Иисуса Христа… А Корнилий — искусный, можно сказать, пресловущий изограф, видел я икону — чтима она в Арзамасе…

— Передай Павлу наше благословение! — Мария Алексеевна была благодарна, что Иоанн поддержал её разговор об иконе. — Да, вот ещё что… Ведом нам иеродиакон Иосия, что теперь в Симоновом монастыре. Рождён он в Елатьме, тамо близко от твоей пустыни. Очень желает жити поближе к своей отчине — возьми его за нашим ручательством. Он сыщет тебя, ты ведь постоем в Новоспасском. Ну, будь твоя братия нищелюбива! И благослови меня…

Счастливым возвращался Иоанн в Саров. Пещерную церковь освятили 30 мая 1711 года.

Глава восьмая

1.

Пока Иоанн обживал Старое Городище один, просвещал раскольников заволжских, устраивал монастырь — долгие годы Господь испытывал верного раба своего в нём самом. Теперь же испытание строителя начались в общежительной обители, и Божье тягло стало более тяжелым. Кто многая на себя взял, тот и претерпит многая.

Весна 1712 года в России выдалась ранней, долго стояло бездождие, в мае начались иссушающие жары.

Сосновый бор, что окружал пустынь налился густой пахучей смолью, никли долу и увядали и без того жидкие травы, под ногами жёстко хрустел плотный беломошнник. Со Старого Городища улетели куда-то птицы, и смутная тревога захватила монахов. С тихой мольбой в глазах посматривали они на выбеленное жарой палевое небо, на какое-то осовелое солнце — старые прятались днями в подземных кельях и только в поздние дымчато-красные вечера приходили к Сатису или Сарове посидеть у прохлады проточной воды.

Говорили о могущих быть пожарах.

— Слышал я примету: брось белого голубя в пожар — скоро сгаснет огонь, утишится.

Феолог вспоминал:

— В недавнем — седьмом году, в летось же, загорелась в Арзамасе крепостная стена. Так-то весело побег красный петух поверху, по обламам…[46]

— Много огонь слизнул?

— Да, многонько. В городу и дома посадских прихватило. Воевода ворчал: не татарские времена… Какая уж такая нужда в нашей крепости — маята одна! Срыть бы её вовсе. Гниль, а не стены, сколь казны на поддержку трухла тратим…

— А ежели не дай Бог, полыхнут леса? — пугались монахи.

Чего опасались, то и случилось.

Однажды проснулись, взглянули на небо, а его уж сизой хмарью затянуло, воздух затяжелел и гарью круто пахнуло из глубин леса.

— Не нанесло бы на нас, братия…

— Огню да воде Бог волю дал.

— Мати Пресвятая Богородица, оборони, отведи, — слышались молитвенные голоса.

Иоанн приказал налить логуны водой у храма и келий.

Но что там логуны противу поднявшейся стихии!

Двенадцатого мая поднялся с темниковской стороны ветерок, длинная дымная наволочь загустела, ближняя боровина посинела от наносной хмари, и уже явственно запахло горелым чадом.

На другой день верховой ветер усилился, росчисть на Старом Городище ещё больше наполнилась дымом, потом в хвое увиделись просверки огня, рванул ветер и вершинный огонь с голодным рёвом завыплясывал по вершинам ближних сосен. Там и сям затрещал сушняк, в дымном смраде вспыхнули давно иссохшие мхи и травы, пламя пронырливыми рыжими лисами заметалось между старых деревьев, длинными языками потянулось к ограде, келиям и поленницам сухих дров.

Как пожалел Иоанн, что оставил сосны близ жилья, да и церкви — о красоте, о прохладной сени думал…

Занялась ограда с угловыми башнями — заострённые вверху сосновые стояки стен, облитые в недавнюю жару наплывами светлой смолы горели, как свечи. В огне истаивала и скоро обрушилась надвратная церковь во имя архистратига Михаила, только что приготовленная к освящению.

Монахи чёрными птицами, с кашлем, метались от кельи к келье, спасали жалкие свои пожитки, кто-то, припав к земле, истово молился.

Хваченный где-то огнём, подбежал Дорофей, глаза его побелели, рясу в двух-трёх местах прожгло углями. Закричал, на чёрном от копоти лице страшно виднелось красное нутро кричащего рта.

Наконец в шуме и треске, Иоанн разобрал: из его покоя иконы, книги и бумаги вытащили и унёсли в пещеру. Скот отогнали к Сарове…

Чёрные ошметья копоти — горелой листвы берёз метались на поляне перед церковью.

— Всех сюда-а! — кричал Дорофею Иоанн.

Дорофей, подняв подол рясы, убежал к чернецам. Первым явился Иосия. Кинулся открывать двери церкви, первым вынес и подал Иоанну храмовую икону. Прибежали другие монахи, стали выносить иконы, книги и облачения…

Огонь наконец стал опадать на Старом Городище и в границах монастыря. Церковь, заступлением Богородицы и руками чернецов не сгорела, хотя юго-восточную сторону и тронуло-таки огнём. Не будь рядом Логунов с водой, монахи наверняка остались бы без храма.

Опомнились, отдышались только к вечеру. Иосия — искусник в рыбной ловле, скоро сварил у Сатиса уху. Хлебали без хлеба — хлебня и поварня сгорели.

Ночью пошёл благодатный дождь.

К утру хмарь пожарища отнесло в сторону, небо очистилось и голубело, кажется, как никогда.

В утреню монахи отслужили в подземной церкви благодарственный молебен: церковь, храмовая икона — самое дорогое не пожрал огонь, а всё остальное да устроится…

Иосий, оказывается, ещё до службы сбегал к мельнику Онисиму, принёс две ковриги чёрного хлеба и плошку постного масла — позавтракали на зелёном бережке у самого Сатиса.

Иоанн встал от котла первым, качнулся перед сидящими монахами. Он чувствовал, видел: чернецы ждали его слова.

— Пожерты огнём труды наши. Но не унынием жив молитвенник Божий, а духом творения. Будто знали царевны, когда простерли они богатую милостыню, и мы имеем вторую церковь… Завтра поеду в Арзамас кликать свободных топорников, а ты, Дорофей, в Кремёнках охочих мужиков собери — начнём рождаться из пепла. Да скажи: в плате сойдемся, не обидим…

…В этом году пришлось съездить в Арзамас — ещё раз позвало дело, а потом и в Красное попросилась душа, своих попроведать…

Петровки… Палючее солнце, а небеса сини и по этой бескрайней синеве недвижно стоят снежной белизны облака и смотрятся в притихшую от жары Тешу.

Днями холщовая Русь убирает сено.

Работал на лугу Иоанн с родителем, сестрой и ее мужем — тихим мужиком нескорым на слово. Нынче кончили стоговать и пришли домой раненько. Теперь вот отец и сын, перепотевшие за день, сидят на низеньком крылечке и осторожно пьют хлебный квас.

Фёдор Степанович стар. Длинные седые волосы, обычно заплетенные в косицу на затылке, сейчас распущены: мягкие прядки густо облекают его длинное сухое лицо, в глазах устоявшаяся печаль: овдовел недавно и вот, потерянный, как-то разом усох, замкнулся и сына, своего любимого большака, встретил вчера без прежней радости.

Старый причетник медленно тянул из деревянного ковша, искоса поглядывал на сына: сорок два года — строитель нового монастыря, знаемый в патриархии, вхожий в Верхний терем к царевнам… Однако, не живёт ли в нём, не точит ли его червь сомнения?

А сын, легко потягивая квас, чему-то своему улыбается. Лицо

его светло и ясно, и седая широкая прядь над лбом даже красит духовное лицо. Густые усы, борода в какое-то мгновенье кажутся родителю чужими, ненужными и не верится старому, что это его чадо кровное.

Фёдор Степанович осторожно спрашивает, чтобы больше не думалось, не мучило это давнее в нём сомнение:

— Не к миру я тебя обращал с отроча, а к церкви поворачивал. В Введенский ты сокрылся… После не восставал противу отца нутром, не жалел, что в черную рясу облекся?

У сына, прозревшего на многое, давно был припасен и на это ответ:

— Ты меня, батюшка, силом не неволил — я сам! Я был призван в видениях… И ещё Сергий Радонежский меня трудником спасения определил в пустынь. В скиту, на одинокова, находило всякое. В жару, в язвах лежал-мучился, и, конешно, соблазнялся мирским. Мно-о-гим манил меня нечистый. Но, благодарение Богу, перемог, отринул все наваждения, все соблазны и не пал — восстал!

— Да ты свя-ят… — почти со страхом выдохнул из себя Фёдор Степанович и чему-то своему тихо улыбнулся. Спала с него тяга давняя. Он легко открылся:

— Ухожу-таки в Введенский грехи замаливать…

Иоанн уже слышал эти слова родителя прежде и сказал тоже давно говоренное, которое ластило душу отца:

— О каких грехах ты говоришь?! С мальства пред алтарём в храме. С матушкой советно прожил, нас с браткой, Катенькой даже и за косицы не драл…

— Я что… — заторопился Фёдор Степанович. — Боюсь не стать бы обузой для дочери, у ней уж своих ртов хватает. Ты вот что: хоромы-то наши сильно в улицу поклоном. Нижние венцы бы сменить — помоги! Я же… тебе ведомы мои достатки.

— Сейчас в Сарове место для большого огорода чистим — рубим боровину в своих гранях. Думаю, не откажут мне в просьбе чернецы — привезут соснягу. Скажи зятьку, пусть не сухотится заботой.

Спать ложились поздно. На сушила провожала Катя с армяком.

— Я там, роденька, на сенцо ряднинку постелила, а это на Себя накинешь. К утру-то прохладно…

— Спасибо, сестрица.

Как и всегда, будучи по летам в Красном, он ночевал на сушилах, где так густо пахнет всегда ещё не слежалым сеном и где всегда так безмятежно спится.

Последнее, о чём успевает подумать монах — это пораньше

завтра встать — и на колокольню. Завтра, как и всегда по приходе в родное село, в час положенный, молодо взойдёт на знакомую дощатую площадку под колоколами… Опять будет раздаваться треск голубиных крыльев над колокольней. И снова перед ним откроется бескрайний простор неба и он — тот давний-давний Иваша так захочет раскинуть руки, взмахнуть ими, желанием всего своего существа отъять себя от тверди той площадки и лёгким, невесомым воспарить над землёй, а затем раствориться в той высокой сини неба, в золоте утренних лучей солнца подниматься всё выше и выше…

После завтрака засобирался в Арзамас.

И не надо бы, а потревожил родителя вопросом:

— В монастырь-то когда же надумал?

Фёдор Степанович отозвался уже решенным:

— Где-то с Казанской. Вот дом поправим, пострадую последний раз на полюшке с зятьком. Не заживусь тут, надо же и в обители успеть поработать, не вот же нахлебником. Не запрячь ли тебе лошадку?

— Я ещё можаху, отец! Пусть ножки возмеряют! — весело отозвался Иоанн и, взяв свой жезл, со своей неизменной кожаной сумой через плечо сошёл со двора. До города и ходьбы-то всего ничего.

2.

Как извечно водится в миру: одна беда без другой не ходит. Едва-едва отдышались саровцы от горького чада пожарного, как наскочила на них другая — разбойная напасть. Не столько на души она налетела, сколь на бренные тела красными и чёрными знаменами. И хотя монахи не брегут о бренном естестве своем, постоянно истязают его долгими постами и ночными бдениями, однако стороннее прямое насильство переживается ими тяжело, как и всяким человеком.

…Исторические летописи Европы, а также и России за семнадцатый и восемнадцатый века, кроме всего прочего, полны и свидетельствами повсеместного разбоя. Разбои — одна из крайних форм грубого протеста, чаще народных низов, против социального неравенства, за право выживания на грешной земле.

Грабежом и насилием всегда сопровождаются захватнические войны. Страшным разбоем явилось для Руси монголо-татарское иго, кончившееся разгулом ханских баскаков. Гибель тысяч и тысяч людей, разор городов и селений принесли польско-

шведские захватчики. Страшное Смутное время подняло на грабежи и казацкую вольницу, которая навыкла делать набеги «за зипунами» на обжитое побережье Чёрного моря.

Разбойно начал гулять по Волге и Каспию забубенная головушка Степан Тимофеевич Разин со товарищи. Давно казнили его в стольном граде Москве, но атаманская слава ещё долго дурманила головы неприкаянным молодым и они дерзко шалили и на той же Волге, и на ближних больших дорогах. Церковный раскол, тяжкое бремя петровских войн, грубая ломка коренных устоев прежнего уклада народной жизни опять же толкали тысячи отчаявшихся людей города и села на преступные действия. Насильственное выбивание недоимок в царствование Анны Иоанновны тоже добавляло к числу беглых отчаявшихся людей, которые торопились к вольному племени лесных братьев и поволжской вольнице.

В Нижегородском Поволжье в XVII веке прославили свои имена разбойник Матвей Барма и атаманша Степанида, гулявшие по Волге-матушке. Шайки разбойников постоянно пополняла приреченская голытьба и беглые сергачских и арзамасских поташных заводов, коими владел известный боярин Борис Морозов, родич царя Алексея Михайловича. Пошаливали на лесных дорогах муромские, тамбовские и темниковские молодцы.

Случалось, как в Подмосковье, лихим делом не брезгали и отдельные помещики. В Арзамасском уезде в этом винили одного из Соловцовых, которого предали суду. Недобрую славу обрела Выездная слобода под самым Арзамасом. Едва ли не до половины XIX века выездновцев называли «душегубами». Ночью это село, замыкающее Московский тракт, не отваживались проезжать ни ближние, ни дальние. Салтыковы — родичи царской фамилии, владевшие большим промысловым селом, служили крепкой заступой своим распоясавшимся подданным.[47] Арзамасские чиновники не смели употреблять власть против «головорезов», да их выездновцы попросту не пускали к себе. Конечно, далеко не все селяне занимались разбоем.

Случались грабежи и разбои в самом Арзамасе.

Нередко грабились уединенные монастыри. В 1700 году ограблен Оранский под Нижним, после несколько лиходеев не раз наскакивали на Арзамасский Троицкий на Пьяне-реке и он избылся, не однажды злодеи налетали на Высокогорский мужской монастырь в пяти верстах от Арзамаса и потому он закрывался. Трижды нападали на Саровскую пустынь.

Погорела обитель… Монахи тут же начали строиться. Строят — значит, есть, водятся денежки у чернецов — откуда они? Поползли слухи: пустынники нашли на Старом Городище клад

Сараклычского царька Бехана и вот сорят серебром, а может и золотом… Прослышали об этом чуткие на ухо «тамбовские волки» и решили приступить к монастырю.

Всё лето, пока монахи и пришлые плотники стучали топорами, пока в обители держалось много мужиков, лиходеи не решались на разбой. И только в ночь с 13 на 14 сентября, когда чернецы и богомольцы, пришедшие на праздник Воздвиженья Креста Господня, уже улеглись спать — в эту тёмную осеннюю ночь душегубы перелезли через монастырскую стену и тотчас кинулись ломать двери храма. Стукоток разбудил монахов и богомольцев — все бросились к церкви и, чем попадя, отогнали налётчиков.

Второй раз грабители напали на монастырь 30 ноября.

…Монахи собирались уже к утрене. И тут раннюю тишину рванул чей-то истошный крик, и у храма сверкнул огонь. Взволнованные чернецы выбежали на церковную площадь, и тотчас от тёмных стен монастыря, круговой цепью, на них бросились вооружённые. Началась свалка, послышались жалобные стариковские вопли и стоны.

— Побойтесь Бога-а, тати-и…[48]

Подталкивая рогатинами, саблями и просто тычками, разбойники Загнали часть монахов в кельи и наружно заперли их. Остатних окружили у церкви, развели костёр и начали жечь огнём. Спрос был один:

— Где казна монастырская?!

— Кто игумен?!

— Не ведаю! — И без того избитый, Паисий взвыл от нестерпимой боли. — Съехал со двора наш игуме-ен…

Два дюжих лиходея отбросили от огня Паисия и ухватились за Иоасафа — растянули ему руки, толкали бородой к пламени.

— Клад где-е… Кто казначей?!

Иоасаф захлебнулся в болевом крике. Несчастного подталкивали еще ближе к мятущемуся на ветру костру.

— Отпустите старца, ка-аты![49]

Из десятка избитых, стонущих монахов поднялся Дорофей. Его, молодого, здорового было не узнать — лицо, бороду заливала кровь. Он яростно противился насилию и больше других оказался избитым. Только удар по голове свалил его наземь.

Атаман, а он выделялся богатой шапкой, подошёл, уперся концом сабли в грудь монаха. Обрадованно заплескался словами:

— Казначеюшко… Слушай: князья в платье, бояре в платье, давай на платье и нашей братье!.. Где клад Сараклычский?!

Атаман дышал в лицо монаха горячим бражным перегаром.

— Какой-ой клад, да мы ни сном ни духом… — Дорофей едва

шевелил разбитыми губами.

— Жги-и-и! — взревел атаман.

Сзади на Дорофея навалились двое. Ему завернули руки и стали толкать к огню. В лицо ударил сухой жар, задымилась борода, он едва успел зажмурить глаза, едва услышал как сухо затрещали брови и начала лопаться кожа на щеках. Сцепив зубы Дорофей молчал.

Его отдернули от жадных языков пламени.

— Го-во-ри-и…

— Враки про клад, изве-ет…

Монах жадно хватал ртом горячий смрад своей бороды, дикая боль нещадно драла его опалённое лицо.

— Жги-и!!! — исступленно орал атаман.

Разбойники торопились и потому перестарались: голова Дорофея опала на грудь, он потерял сознание. Его, обмякшего, бросили к паперти церкви, и он уже не слышал, как истязали других монахов… Большинство из них претерпело муки, ибо знали, что страдают за Божье. Паисий, кого опалили первым, приподнялся с земли, вытер сукровицу с губ, силился улыбнуться.

— До красных знамён вы нас побивахом, злодеи. Придёт час и на вас. На Божье вы посягнули, строг будет спрос…

— Молчи, старый пёс! — атаман пинком уложил старика. Тот захрипел и затих.

Разбойники кинулись в церковь, сорвали в притворе второй замок, забрали в ризнице пятьдесят рублей, что хранились там, начали собирать облачения, церковную утварь и вязать узлы. Затем кинулись в конюшню, запрягли коней, сбросали на телеги уворованное и помчались с монастырского двора. Преследовать их было некому. На площади догорал костёр, несколько избитых связанных монахов валялись в пыли. Дорофей не подавал признаков жизни.

Вызволили из келий запертых, пошли к храму и развязали повязанных, принесли в келью Дорофея — он не помнил себя в жару. После — много лет монах не мог делать тяжелую работу, на всю остатнюю жизнь лицо его осталось с пугающей краснотой без бровей и ресниц, борода всё же отрасла, пробилась.

Приехал Иоанн и повинился перед всеми чернецами, перед Дорофеем: не разделил с братией красных знамен, не опалён жестоким огнём…

Лицо Дорофея было в страшных коростах, зарастала кожа медленно.

— Мое на тебя пало, друже, — скорбел Иоанн, сидя возле лежавшего Дорофея. — Болезнует мое сердце, прости!

— Попустил Господь… Что моё, то моё — не убивайся! —

силился улыбнуться Дорофей. — За други своя и ты бы претерпел. Аще случится и ещё претерпим. Бог терпел и нам велел!

Иоанн признался в давно обдуманном:

— Надо нам, Дорофеюшка, заводить больничную келию, как в Спасском в Арзамасе. Искусный там лекарь, из монахов же.

— А что-о… Случись какая беда вот так свалит — от ково тут, в лесу, ждать пособий…

— Фёдор к нам недавно пришёл. Молод, грамотен… Вот мы ево и пошлём в Спасский — пусть перенимает врачевство. Просил постричь — постригам! А теперь — теперь ночную дозорину держать станем. Всё поспокойней будет. Било у ворот повесим. А послуха-то ты взял себе?

— Тот же Фёдор сидельцем, квас подносит, брашно. Ништо, скоро оклемаюсь, зарастёт на мне…

— Крепись!

3.

Арзамас с годами несколько поблёк в глазах Иоанна. Он повидал уже разные города, пригляделся к яркой шумной Москве и поневоле иногда сравнивал…

Прошёл мост от Выездной слободы, и на горе открылись знакомые очертания крепости. Она и впрямь обветшала, осела нижними венцами, там и тут подгнили уже и срединные части стен, так что обнажилась слежалая земля с крупными оспинами белого камня, когда-то набитого в бревенчатые тарасы.[50] Виделись осыпи, поруши и следы пожаров, чёрные подпалины удручали — тленны труды рук человеческих, как и сам он, перстный… Скосилась Стрелецкая башня на северо-западной стороне крепости, только главная Настасьинская — восьмерик на четверике, стояла ещё гордо: подновляли, не иначе.

Иоанн перекрестился и вошёл в город.

Воротников — дневной стражи, что-то не увидел. С внутренней стороны крепостной стены, рядом с воротами белела вышорканная лавка для тех пожилых или обременённых ношею, кто поднимался довольно крутым съездом Воскресенской горы. На эту лавку Иоанн и присел, перевёл дух.

Рядом, в караульне, тихо переговаривались солдаты, оттуда тянуло табачным перегаром и дегтем смазанных сапог.

В этот небазарный день тихо, безлюдно на площади, и Иоанн полюбовался на каменную церковь его, Введенского, монастыря.

Предместник Тихон понимал красоту. Потому и перенес наружный облик древнего владимирского храма сюда, в Арзамас на церковь своей обители. Наличники окон лепо украшены и завершение Божьего дома легко и красиво. Прозревал игумен второй этаж поднять для летнего храма, да казна-то монастырская не прибывала — так, едва концы с концами сводили монахи. Был и он, Иоанн, строителем Введенского, а тож не скопил на благое дело — кормились только щедротами благодетелей. С удивлением подумал: как же он когда-то пришёл для пострига в этот монастырёк со стариками, которые тихо, один за другим уходили на вечный покой. Э, погоди, старики не успели поднять храм, но вот тебя-то они выстроили для святого отшельничества. Вечная благодарность вам, старцы!

Иоанн сидел в воеводской канцелярии — годовал в Арзамасе новый воевода князь Степан Иванович Путятин.

Косился зло на прибылые бумаги воевода и открыто сетовал:

— Вот опять целый короб набрался — разбирай и чеши затылок. И всё спешное, всё к несумнительному исполнению!

Знал, знал Иоанн — не за морем жил, сколь охочи чиновные в столичных и губернских канцеляриях переводить дорогую бумагу. В последние годы и впрямь воеводам покоя нет — указ за указом: собирали рекрутов под Азов… А давно ли тридцать плотников и столяров, да пятерых кузнецов самолучших Пётр забрал в Воронеж корабли строить. А сверх того на охрану новоявленного Таганрога — так, будто город-от нарекли, взяли наших же стрельцов, пушкарей, воротников крепости, а ещё и казаков впридачу.

— Наладился царь народ щипать…

— В последнем-то годе избышего века из Арзамасского уезда аж более тысячи мужиков угнал на север к «слюзному делу», канавы копать. Это пеших. Да ещё сто десять мужиков с подводами. И скажи: отбирали самых сильных. Как же бабы и дети выли — стон-стоном стоял в уезде. Сгинули селяне без возврату. И ведь тако по всему царству… А нынче, к прямым грозным указам царя добавились бумаги «Господина Сената» «которому всяк их указам да будет послушен». А ещё вот, по словам князя, теребит его очередной указ, в коем о судах нелицеприятных, о сборе молодых дворян для военной службы, а паче того даётся строжайший наказ печься воеводе об исправном сборе подушных и прочих окладов «понеже деньги суть артериею войны являются».

Путятин затяжно вздохнул, не таясь, пожаловался:

— Вона-а, из Казани присылки. И тоже упреждают: ответ дать в скорые сроки. — Воевода ворчит: — Тож удумали-учинили… К

Казани нас оттерли. Оселом затащили в Казанскую губернию. Нижний-то ближе. Да Нижний давно Арзамасу друг ближний!

Князюшка сидел в свете окна с босым лицом: бритые щеки и широкий подобродок отливали синюшинкой. Вот поглядел бы родитель на своего великовозрастного отпрыска — не узнал, за срам бы такое обличье счёл. Пёстрый, иноземного покроя камзол сидел на дюжей русской фигуре плохо, белый затасканный парик все время сбивался набок — истым чучелом сидел за своим столом воевода, и только умные пронзительные глаза под тяжёлыми веками и внушали к нему почтительное уважение.

…Для воеводы и Иоанна подьячий читал всё ещё действующую статью «Уложения» Алексея Михайловича от 1649 года. Когда он закончил, Путятин устало махнул рукой.

— Поди!

Остались одни. Князь погладил потрёпанный кожаный переплёт книги, улыбнулся одними уголками мясистых губ.

— Вот так Тишайший нас с тобой уложил… А Пётр Алексеевич родителево ещё и своими указами укрепил: не имать земли у инородных! Это мудро у нас установлено! Я в Петербурге от нашего флотского, от купца же нашева, что в Лондон плавал, наслышан: ворвался всякий сброд в Северную Америку — коренных индейцев, как зверей, стали отстреливать, а земли их закреплять за собой — что деется просвещенными-то!

Иоанн припомнил:

— Как-то старые бумаги я в Спасском перебирал… Иоанн Грозный наказывал первому епископу казанскому, чтоб не утеснял татар, нашей веры насильно не навязывал и только проповедью, только согласной любовью! Но возвращаю вас, Степан Иванович, к моей заботе. Когда искал я землю для храма, то уверился — окрест ничейные земли, потому и записали тридцать десятин на князя Кугушева. Пахотных угодий близко нет — леса и леса… И вот, ежели тот царев указ не про нас…

Путятин понял намёк, ему не хотелось огорчать игумена, и он с шутливой сердитостью, спросил:

— Вы, святые отцы, одначе сговорились…

— Не прозреваю намёка…

— С утра пришел священник Софийской церкви, отец Василий…

— Чево он?

— Прихожане усердные поставили каменну церковь вместо прежней, деревянной. А тут указ подоспел опять же: не посвящать храмы чудотворным иконам Божией Матери…

Слова князя отозвались в Иоанне болью: впервые слышал о таком указе. Как же это… Это же немыслимое царь повелел!

— Но храм-то сей стоит у нас в Арзамасе со времён Грозного. Новгородцы сюда царём поселены… В память святой новгородской Софии… В память прежней отчины…

— Знаю-ведаю, — воевода соглашался с Иоанном. — Сказал я отцу Василию: обожди малость — уляжется, забудется… Бог — Свое, Мать Божья — Свое в обиду не дадут ни смерду, ни царю!

— Дожили!

— Далее, чур не надо! — во время предостерёг Иоанна Путятин и перевел разговор на то, с чем пришел игумен.

— Давно ли арзамасцы считали, что устрояют твой монастырь на своей земле. Теперь губернии отмежоываны, и пустынь Саровская в тамбовской черте. Обидно… Ну, начну хлопотать, положим… А как скажут: не в ту губернию, князюшка, заехал! Святой отче, тебе тож могут сказать: не много ли похотел?!

— Воньми, князь… Монастырю жить впредь и впредь, учреждение сие общежительное, поселяются у нас ведь те, большей частию, кто на мирскую обочину вытолкан, кто готов своими трудами кормиться, как же без земли?!

— И без милостыны людской, без подаянья…

— Тако, Степан Иванович! Милостыня у православных, это же участие к другому, любовь и к незнаемому человеку. Милосердием народ наш веками от греховной черствости, жадности очищается, у нас ведь Христовым именем в любой и бедной избе за стол посадят!

— То верно! — добрел лицом Путятин.

— И последнее, Степан Иванович… Церковь, монастырь — очаг духовный. Всё преходяще, кроме духовного! Церковь и монастырь человека настоящего соделывают, а это для отечества дороже всево — так я мыслю!

— Учёно, красно говоришь! — князь встал. — Убедил! Пошлю земского писаря, пусть близ твоей пустыни потихоньку сведает о хозяевах земель. А ведь в Темникове мой хороший знакомец — напишу-ка я ему. Ну и сам ты, отче, дерзай. Тебя ведь из приказа, из дома помещика просто так не выгонишь — с жезлом!

Воевода подошёл под благословение, на том и расстались.

Зашёл Иоанн в Введенский, но Афиногена не застал и, выйдя на площадь, вспомнил, что подумывал зайти к архимандриту в Спасский — с кем же «отвести душу» в разговоре!

Обширный монастырский двор пропах яблоками, как и деревянный домок Павла за собором.

Архимандрит кутался в суконную однорядку, пожаловался, что сквозняк «прохватил». В глазах его поблескивал сухой болезненный жар. Но голосом Павел бодр, даже весел. Хвалился:

— В Пустыни и Чернухе прежний неуём раскольничий унял, но не всех ещё обратили к церкви. В Волчихе остатнюю мордву крестили. Отписал о сем митрополиту Стефану в Рязань…

— Зачтётся богоугодное!

— Мне уж никаких зачётов не надобно. Я пустынских и чернухинских от беды отвел. Послышу, власти наступают на старообрядцев круто. А ты чево глазами пасмурен?

— Воевода как горячим варом обдал! Поп Василий приглашал князиньку на освящение нового храма, а Путятин не пошёл — испугался.

— Он на службе, ево дело указы блюсти… — Павел помрачнел. — Царь православный[51] вроде бы, а не верует в чудотворные иконы — это же… Дальше-то и сказать страшно. Он и на монахов ругань поднял, не по нутру ему чёрное Христово воинство… Бродят-де по градам и весям бездельно… Кстати, один бездельный чернец ко мне цидулю мужицкую занёс и на стол выложил. Отогрелся у меня за столом да и признался, что переписывал крамолу — фискалов не остерегался, оставлял листы мирянам для прочтения. На-ка вот…

Иоанн принял сложенную четвертушку бумаги, развернул.

— Убористо написано…

— Вникай.

«…Как его Бог на царство послал, так светлых дней не видали, тяготы на мир, рубли да полтины, да подводы, отдыху нашей братии крестьянству нет… Какой он царь? Он крестьян разорил с домами, мужей наших побрал в солдаты, а нас с детьми осиротил и заставил плакать век… Мироед! Весь мир переел: на него кутилку перевода нет, только переводит добрые головы».

Иоанн отложил истретый, грязноватый уже листок бумаги, побывавший, как видно, во многих руках.

— Что ж, из песни слова не выкинешь — горько жалобится наш оратай…

Умный Павел приложил своё, отмолчаться было неудобно.

— На правду запоров нет!

Ободренный архимандритом, Иоанн посетовал:

— Нет у народа теперь патриарха-заступы, то и терпит он беды. Но что же архиреи наши, ужели нет такова, кто бы глас свой поднял противу нечестия царскова?

Павел насторожился, коротко, хитро взглянул на Иоанна, а потом доверчиво распахнулся в рассказе и дальше:

— Да нет, не оскудели мы в противлении. Помнишь, при Иване Грозном… А патриарх Гермоген в Смутное время. А ныне тож… Или ты забыл Митрофания воронежского. Вначале он близко сошелся с царем, когда тот корабли в Воронеже строить

начал. Помогал святитель царю и советом, и казной. Вот раз пригласил Пётр Алексеевич к себе владыку во дворец. Пришёл Митрофан пешком, а как увидел, что перед входом во дворец языческие боги из камня повыставлены — махнул рукой, да и повернул восвояси. Услышал об этом сам, впал в гнев, а он страшен в своём неистовстве, передал, чтоб готовился святитель к смерти. Митрофан выслушал посланца, да и отозвался словами апостола Павла: «Мне бо еже жити, Христос, и еже умереть, приобретение». Эк, напугал чем, смертью! И приказал ударить ко всенощному бдению, дабы подготовиться к смертному часу. Узнал об этом царь, впал в расслабление, приказал убрать идолов и успокоить святителя. Тогда только Митрофан и предстал пред царскими очами, и спросил: «Да ты чей царь, русский ли?!» Так-то вот!

Иоанн тоже доверился:

— Слышал я о Митрофане, да кратко… А вот в Москве же слышал: Патриарх Адриан не расстриг епископа тамбовского Игнатия до самой своей смерти, а слуги царские тово требовали. Вина-то Игнатия в чём… Умилился он до слёз, когда слушал Григория Талицкого, который назвал царя антихристом… А к воеводе я — начал хлопоты о земле. Видел ты наши места — будет у моей обители землица — жить-быть ей вовеки!

— Вона на что ты замахнулся — дерзай! А теперь маленько паточить стану Петру Алексеевичу. И этой правды не выкинешь… Царь у архирея сидел за столом. Служка подавал водку Петру Алексеевичу. В смятении, споткнулся молодёшенек, да и облил камзол государя. Что делать?! Иной бы помре со страху, а этот, архирейский, тут же нашёлся, да и весело так, как на блюде, подал: «На ково капля, а на тя, государь, излилась вся благодать!» Царь засмеялся и простил монаха! Ну… — Павел ласково взглянул на Иоанна, — поговорили, поярились малость — на сим вяжем узел…

— Завязали! — ответно улыбнулся Иоанн.

…Он пришёл в Арзамас и с тем, чтобы поклониться праху своего бывшего подруга Ивана Васильевича Масленкова — скончал земные дни свои достойный всяческой похвалы арзамасский купец.

Как вот не помянуть человека добрым словом. Ведь это Масленков надоумил о земле ещё тогда, когда приезжал на освящение церкви в Саров. После весёлого, долгого застолья посидели рядком на лавочке, и начал разговор Иван Васильевич так просто:

— Тридцать десятин у тебя — невелика с них разжива! Ты вот что, Иване. Прирасти земельки, пока на всё это лесное богатство

дворянство алчное лапу свою не наложило. Ты успей! Не тебе мне сказывать: монахам, как и всем прочим, земля Богом положена от веку. Торопись, друже, опереди иных, не останься на бобах!

За Спасским монастырём, под горой, в знакомом доме встретила хозяйка. Узнала, всплеснула руками, а потом уронила голову на ладони и тихо заплакала, долго вытирала скорые вдовьи слёзы.

Пригласила присесть в горнице, села сама.

— В хворости, в неможах, уж на последе… — вспоминала старушка, — Иван Васильевич прощальный поклон тебе, отче, передал. Осиротели мы в ничтожестве своём…

И скорбная вдова в тёмном летнике и чёрном повойнике опять заплакала.

— Полно, полно, матушка! — мягко утешал Иоанн. — Иван Васильевич старался жить по заповедям Божьим, чтил церковь, благотворил многим. Да он украшал саму жизнь, и место своево обитания…

— Проститься-то пришли — вся улица полна была… Святой отец, Иван Васильевич отказал тебе старую книгу и кошелёк на поминование, на нужду ли монастырскую. Погоди-ка…

Старушка вернулась из внутренних покоев с холщовым свёртком и мешочком из красной арзамасской юфти с ременным шнурком.

— Прими вот… В книге грамотка для тебя писана. Да что я, старая. Мой хозяин тебя всегда за стол вёл, подчивал…

— Сыт я, матушка! Как нито вдругорядь. Слышал, в храме Ивана Васильевича положили?

— Угодили его душеньке!

…До вечерней службы ещё далеко. Иоанн дошёл до церкви Рождества, попросил сторожа открыть двери храма.

Длинные полотенца приглушённого света круто падали из высоких окон на чистый деревянный пол, упирались в красную домотканую дорожку, что тянулась от притвора к амвону. В молитвенном полумраке кой-где поблёскивали оклады икон, мерцали золотом резная вязь царских врат и золочёный крест вверху.

Иоанн зажёг свечу перед образом Смоленской Божией Матери — эту икону Масленков недавно преподнёс своему приходскому храму, помолился об упокоении раба Божьего Ивана и, подойдя к западной стене церкви, на каменной доске прочёл:

«Лета 1712, генваря 17, на память преподобного Антония Великого, в 7 часов нощи, преставился раб Божий арзамасец, посадский человек, Иван Васильевич Масленков и погребен бе зде».

Монах в чёрном стоял, опустив голову, с грустью думал, как часто — всё чаще с годами приходится скорбно вспоминать то одного, то другого, то третьего, с кем сводила земная плачевная юдоль. Катючее время уносит всех и вся…

Вспомнилось — давно ли, в третьем году века нового, честен муж Масленков жертвовал от нескончаемых щедрот своих на этот вот храм, в котором теперь и положен на вечный покой. И давно ли с родителем своим, Василием Григорьевичем, поднёс церкви обложенное серебром напрестольное Евангелие…

Иоанн не заметил, как заговорил вслух:

— Ты все, друже, управил, всё успел… Дом твой не пуст, призревал нищих и убогих, был соучастником во многих градских делах — долгой будет о тебе в Арзамасе память![52]

Вышел из города через Настасьинские ворота — надо было побывать в часовне родной Саровской пустыни. Часовня с подворьем стояла в конце съезда у Тёши.

…За Выездной слободой, на развилке дорог, поставил, зажёг свечу в голубце у иконы на «стрелецком кресте», помянул казнённых, раздумчивым, печальным неспешно зашагал в родное Красное.

4.

Он уже собирался уезжать из Москвы.

Дело управил: ещё один кадомский помещик, живущий в первопрестольной, махнув рукой, уступил малые десятины своих окраек близ Саровы. Как, однако, они, баре, тщеславятся, как ждут низких поклонов — откуда столько пустой спеси!

Стоял январь, было снежно и тихо в Москве.

В Новоспасском, где всегда останавливался Иоанн, синели пышные сугробы, в ограде торопко ходил с лопатой старый чернец и расчищал занесённые дорожки.

Вот в такое-то тихое время, в одночасье, и заболел Иоанн. Какой такой недуг расслабил — ноги даже отказали, налились страшной тяжестью. Горело внутри всё естество, время от времени обдавало таким жаром, что он терял память.

В Москву ездил с послухом, тот уже приводил из больничной келии лекаря, но тот не смог сказать вразумительного, посоветовал только пить принесённое ромашковое масло. Сидел у изголовья и каким-то чужим, холодным голосом успокаивал:

— Масло сие всякую боль исцеляет, горячки снижает. Пользует и от других напастей: горячих, раздутых, и дрожь в

лихорадке унимает…

Второй раз на Иоанна эта хворобная беда. Когда-то на Старом Городище вот также заплошал. В одиночестве, страх захватил и потому взмолился ко Господу, просил отвести смертный час. Тогда он был молод и всем своим существом восставал противу неминучей, как казалось, кончины.

Так медленно тянулась эта ночь… Очередное забытье кончилось, вернулись проблески тревожного сознания. Весь мокрый, в поту, почувствовал, что в келье холодно, послух, что лежал напротив, густо храпел. Крохотный свет лампадки в переднем углу пред иконой вздрагивал — в единственное слюдяное окошко задувал тугой шалый ветер.

Немного отпустила боль, и тотчас Иоанн устыдился своей боязни смерти. Страшна память о смерти… Но ведь дивна память о Боге! Ежели первая вселяет спасительную, а может, и иную печаль, то вторая — наполняет душу духовным веселием… Мало он помнил и думал о кончине живота своего, давно бы надо приуготовить себя к неминуемому исходу, ибо смерть для людей, кои глубоко понимают её — есть блаженное бессмертие — удел для преподобной души. Робко бодрил себя: жало смерти есть грех, но он старался жить по владычным заповедям…

Где-то перед утром, после долгого забытья — Иоанн не помнил когда и впал в него, снова жаровая боль так ослабила его, что всё внутри и вне его уже сошлось на том, что смерть стоит у самого изголовья. Он принялся читать молитву и не уследил за собой, когда стал обещать принять схиму, если дотянет до утра. Это его последняя ступень на пути из дольнего мира в горний…

Как дождался Иоанн рассвета — этого он и не помнил. Он открыл глаза, когда в окошко начали сочиться розоватые блики далёкой весенней зари. Тут же забухали близкие колокола, поднялся послух, зажёг сальную свечу на столе, опасливо подошёл к Иоанну — жив ли отче?

— Не отлегло?

— Квасу, квасу… — чужим упавшим голосом попросил Иоанн. — Нутро от жара спеклось.

Выпил всего-то два-три глотка — горло было каким-то чужим, не воспринимавшим пития. Опять же чужим голосом прохрипел:

— Поди, призови Макария, ты знаешь, где ево сыскать. Передай: схиму принять желаю. Захвати денег — аналав, куколь купите… В сумке, в сумке деньги.

Испуганный послух ушёл. Едва он закрыл дверь, как на Иоанна опять напал постыдный страх: один в келье, а как начнёт кончаться, отходить и за исповедником послать некого…

Он опять терял сознание, оно вернулось вместе с криками воробьёв за окном. Иоанн отдышался, услышал, что сердце несколько выровнялось в своем биении и даже давящая боль внутри отлегла. Вспомнилось, что послал послушника за Макарием…

В эту последнюю поездку Макарий — случайной встречей. С игуменом Красногривского монастыря Гороховецкого уезда Владимирской губернии сошлись сразу. Сколько же святой простоты оказалось в этом человеке в монашеской рясе! Сошлись близко: во всём сокровенном признавались друг другу, не потаились, да и чего таить монахам! Единое настораживало Иоанна, как-то Макарий царские новины принимает.

Раскрылся Макарий сам. Шли они из Кремля в сторону Арбата, и Макарий, будучи в добром настрое, рассказал слышанное:

— Спросил как-то царь у шута Балакирева: что народ-то молвит о новой столице Санкт-Петербурге?

Балакирев и рубанул сплеча:

— Царь-батюшка, народ сказывает: с одной стороны — море, с другой — горе, с третьей, стал быть, мох, а с четвертой — ох! Пётр и взревел: ложись! И отдубасил шута своей палкой. Бил да приговаривал те балакиревские слова. Вот так, вот эдак…

Вдоволь они тогда наговорились, пожалковали о бедах, а беды всегда Москва поставляла, а теперь — вдвойне новая столица на болоте…

Пришёл припотелый Макарий. Грубое мужицкое лицо с реденькой бородкой и кустистыми бровями. Обеспокоился, светлыми глазками опечалился.

— Видишь ты меня скорбна…

— Болезный ты мой, и как тебя угораздило?

Иоанну бы взбодриться при виде игумена, а он опять впал в расслабление.

— Кончаюсь, постриги…

— Ты что-о… Молодой ишшо… Бог милостлив. Ты подумал: схима тебе воспретит многая…

У Иоанна непрошенно навернулись слабые слёзы.

— Твори-и, кончаюсь…

Макарий заторопился развязывать принесённый узел, начал готовиться к обряду.

— Ну, твоя воля…

И отослал послуха во двор.

Прежде чем начать постриг, Макарий объявил:

— Упреждаю… примешь схиму, а как на ноги встанешь, да доведет Господь вернуться в свой монастырь… Так вот,

заповедаю: строителем тебе не быти, а також никакова верховства над братией не принимать. И не священнодействовать, в обители находиться неотлучно, неисходно. Чернецов в церкви от Писания не учить. В пении церковном и за трапезой с монахами стоять и сидеть в числе последних..

Макарий наклонился над Иоанном.

— Уразумел ли… Принимавши?

— Принимаю…

Макарий повеселел, начал обряд великого пострига.

Начально Иоанн исповедовался перед игуменом.

Порядок пострига в схиму в монастыре долог и торжественен. Начинается он с пения канона: «Приходите люди, воспоем песнь Христу Богу, разделившему море и проведшему народ, освобожденный Им от египетского рабства ибо он прославился».

Иоанн, взволнованный величием события и оттого окончательно ослабевший, почти плохо слышал тропари, стихиры и антифоны из Требника, не всегда отвечал на обязательные вопрошения священника — мигал при согласии…

— Отрекаешься ли ты вторично от мира и от всего мирскова, по заповеди Господней?

— Отрекаюсь, святой отец.

Он опять плохо слышал длинное наставление.

— Обещаешься ли, по благодати Христовой, пребывать до самой смерти в своей обители?

И ешё нашлись силы:

— Принимаю и обещаюсь с Божией помощью, святой отец.

…Если бы пострижение здорового монаха происходило в храме — трижды бы бросал священник на пол ножницы, что прежде лежали на Евангелие и трижды постригаемый должен бы поднимать их, подавать священнику и целовать его руку.

Макарий приподнял голову Иоанна, крестообразно постриг седеющие волосы, бережно опустил на жёсткую монастырскую подушку.

— Брат наш второй раз постригает волосы…

Только это и слышал Иоанн.

Макарий поднёс к губам власяницу… неловко облачил голову схимника в куколь, соединённый с аналавом, взял в левую руку конец передней полы аналава и правою благословил Иоанна. Рясу, кожаный пояс и сандалии положил рядом.

— Прими, брат Иоанн, второй раз духовный меч, который есмь слово Божие, и постоянно пребывай в Иисусовой молитве, дабы всегда иметь тебе в своем уме, сердце и на устах имя Господа Иисуса…

Как держал Иоанн в руках крест — он после едва ли помнил.

А вот ласковый голос Макария ему слышался:

— Прими, брат Иоанн, вторично щит веры — крест Христов, которым ты угасишь все разженные стрелы лукавого, и всегда помни слова Господа: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Воззовем все о нем «Господи помилуй….»

Он не знал, когда ушёл Макарий, едва ли помнил, как послух поил и поил его ромашковым маслом, как кончился день, как перемог он следующую ночь…

Иоанн очнулся поздним утром — он понял это по ярко освещённой солнцем стене кельи. И столько солнца на улице! И такая синь неба над монастырской оградой…

Он ощутил куколь на своей потной ещё голове и вспомнил, что Макарий постриг его, вместо Исаакия нарёк Иоаннном, вернул его к изначальному — ласковому, семейному Иваше… Иоанн — это значит Божья благодать! И всё обрадовалось в монахе. Потянул спёкшиеся ещё в жаре губы в улыбке. Живё-ём… Жив, благодарение Господу!

Иоанн захлебнулся от радости, послух услышал смятенный кашель своего игумена, подошёл, приложил ладонь к сухому лбу и весело, молодо объявил:

— Оживел! Молился я за тебя авва! Я загадал: переможет ночь — жить будет! Во-от, жар спадает… Кваску надо?

— Давай…

Теперь он пил долго, узнавал вкус ядрёного монастырского кваса.

— Пойду, брашнова куплю, укрепляться тебе, отче, надлежит…

— Ступай, ступай, дорогой. Малинки там сушёной…

Иоанн сразу после ухода послушника уснул. Какие ангельские голоса ему пели!

5.

Он выздоровел, поднялся на ноги, отстранил смертную сень. Тихим, постаревшим и умудренным — на краю могилы ведь стоял, вернулся в монастырь.

В долгих раздумьях не заметил дальности дороги. Дважды отвёл его Господь от конца, от исхода — значит, ярем Всевышнего ещё не снят, значит, ему, ему кончать дело с землей!

Припоминал пережитое в Новоспасском: уже готовился принять свою кончину, но не оказал последнего малодушия, ибо

помнил и верил словам Антония Великого, что смерть для людей, кои понимают её — есть бессмертие, а для простецов, не понимающих смерть — смерть есть смерть. Да что Антоний! Разве не знает он сокровенную мудрость: смертию смерть поправ!

…Когда сквозь высокие прогалы в сосняке увидел знакомую церковку на горушке, братские келии, поставленные улицей к храму — ослабел, заплакал: как же, оказывается, мила сердцу монаха родная обитель!

Братия глазам своим не поверила, когда увидела куколь на голове своего игумена, знала, что сие значит: всё, отошёл он от них, при живом осиротели они, из первого стал схимник последним… Попритихли чернецы: как же изъяснится строитель, что с ним произошло, почему решился на крайнее — только, только обустрой обители начался…

С неложной радостью встретил своего духовного отца Дорофей. И тут же погрустнел своим багровым безбровым лицом. Сидели в келье Иоанна одни — за окном чуть слышно падала с крыши первая капель.

— Не думали мы, не гадали…

— Так меня хворь скрутила, так она меня разняла, что и жить не чаял. В беспамятство впадал, но наслал Господь одоление немочи моей.

— Понимаю.

Сидели за столом друг против друга тихие, грустные.

— Нынче напишу патриаршему блюстителю, признаюсь, что облачился в схиму. А пустынь отдам твоему попечению.

Дорофей отмахнулся красной обгорелой рукой — белёсые сросты кожи на ладоне монаха вызывали жалость к нему.

— Куда мне в калашный-то ряд… С землёй у нас ещё не управлено — всё, всё тут на твоих раменах. Не осилю упрягу!

— Ты давний мой содетель — осилишь!

На второй или третий день по приезде, подошёл Феолог и коротко сказал:

— Братия в смятении, собраться просит.

— Зови!

В трапезной церкви Иоанн рассказал о случившемся с ним в Москве. Теперь он отойдёт от настоятельства по обещанию…

Едва кончил говорить, монахи наперебой стали просить:

— Не отвращайся, авва, от нас, сирых.

— Ты нашим духовным вскормленником!

— Неоплошно доселе было кормило твоё..

— Челобитную напишем местоблюстителю…

— Самому царю!

— Буди по-прежнему наставником!

— Братия, может это ваши уста от преизбытка сердца… Вы подумайте, подумайте!

— Перемены в глаголе не жди, не дети!

Иоанна подняло единодушие чернецов: и он тут же решился:

— Ну, потворствую вашей воле… Тотчас напишу игумену Макарию, братия-де просит разрешить от обета. Только вряд ли — крепок владимирец в слове. А вы потрите-ка умные лбы, ещё поумствуйте!

Присылка от Макария пришла вскоре. Писал в цидуле игумен:

«Аще вся приказанная от меня и заповеданное тебе не исполниши и не сотвориши со смирением, без прекословия, аще ни во что же не вмениши и своим упорством не станеши тако творити, что тебе беседовал и заповедал, аще презриши: суда не убежити. А что отче Иоанн, через Писание свое извещаешь мне свое мнение, свое отчаяние, всякое сумнение и печаль о себе. Просветляйся святыми книгами и правилами Святых Отец, и об архирейском совете вельми вразумляйся и рассуждай смиренным видом и образом схимническим».

Такое грозное запретительное послание.

На первых порах Иоанн порадовался: вот он истинный молитвенник Божий из Красногривского! Сам блюдет заповеданное монахам, того ж требует и от иных…

После трапезы Иоанн зачитал ответ Макария, сложил бумагу возле суповой чашки и ждал, что скажет братия.

— Я упреждал вас…

Первым отозвался Дорофей:

— Не силён я в книжности, в правилах… скажи, отче, были ли случаи в монашестве, чтоб схимники не отрешались от тягот правления монастырём?

— Были!

— Тогда, братия, напишем мы преосвященному Стефану, на его волю местоблюстителя патриарша престола уповати станем!

С обеих сторон стола зашумели:

— Тако!

— Добре!

— Быть по сему!

Вышли из трапезной с надеждой. Иоанн попридержал Дорофея. Шля рядом, под ногами оседал раскисающий липкий снег. Кое-где на солнцепёке уже чернели подсыхающие полянки, порывистый мартовский ветер гнал с них прошлогоднюю сухую листву, жёлтые и бурые пятна её узорно рассыпались по засиневшему снегу.

Иоанн научал:

— Феолог из купцов арзамасских — знаешь. Грамотен, пусть и напишет от братии, а я своей руки не приложу, нельзя. Ещё раз говорю: что придёт день и передам тебе жезл правления. Ты недугом своим освобождён от тяжелых трудов… Знаю-знаю, послушание у тебя огороднее и пасечное… Всё же ищи время и для книг. Ага, постигай печатное, умудряйся — богаты мы, православные, и печатным словом. Вперед тебе смотреть надо!

Саровцы помедлили со своей челобитной к Стефану. Начально Иоанн должен был донести митрополиту о случившемся. Он писал:

«В прошлом 1715 году в январе месяце, ради нужд монастырских, был я в Москве и, волею Божиею, была на мне болезнь великая, смертная, в той болезни я посхимлен и исповедан от иеромонаха Макария. А прежде схимы, в той моей болезни, иеромонах Макарий дал мне заповеди, и я ему тогда обещание дал. А нынче в монастыре нашел стало быть смятение… монахи, ученики мои, собранные не смятения ради, а для общия пользы и церковных и монастырских ради нужд, принуждают меня по-прежнему в начальство и в строительство вступить. А я без повеления и разумения Вашего архирейского, в начальстве по-прежнему быть и священнодействовать, в церкви учить и исповедовать, и из монастыря за нуждами ездить и исходить не смею…»

Он не думал, не ждал, что придёт именной царский указ!

Невольно подумалось: «Сей государь проволочки не любит!»

Едва пробежал глазами начало указа, не выдержал, послал бельца за Дорофеем. Тот пришёл настороженным.

— Меняй лучину, друже — указ-то на моё имя! — Иоанн торжественно принялся читать: — Поведено: «Быть настоятелем и служить по-прежнему!» Вот как: коротко и ясней яснова!

Дорофей, взмахнув широкими рукавами рясы, кинулся обнимать своего игумена.

— Остепенись, Дорофеюшка. Ты что-о… — отбивался от монаха Иоанн.

Вскоре пришёл указ и от Стефана Яворского, митрополита Рязанского и Муромского, местоблюстителя патриаршего престола с наставлением:

«…И сие подобает творити и братии не оставляти по глаголу Христову: тем же убо схиматическое житие добре проходяще, можно, нужд ради братии на путь спасительный и священническая действовати и братию поучати и попечение имети и устроения нужд монастырскому чину и державному подобающих благолепию. Все же сим да будет во славу Божию. Властию нам от Бога данною соизволяем и благословляем и от

обетов в болезни — не раз судительное и не по обычаю подобающему бывших, разрешаем».

Иоанн улыбался. Как любит Стефан высокое, торжественное слово! А прежде и вирши присылал, но всё это от души родственной, православной!

Так Господь утешил саровскую братию и её строителя Иоанна.

6.

И опять запрягли добрую лошадку… Увязали мешок с хлебом, вяленой рыбой, ведёрный логушок с квасом в задке телеги укрепили и, благословясь, опоясавшись с дюжим послухом терпением, Иоанн съехал с широкого монастырского двора.

Гнало в мир доброе помышление, мудрый загляд вперёд. Вот опять невольно Иван Васильевич Масленков вспоминается, его неоспоримый резон: земля — дар Божий для всех человеков. Роздана она боярам да помещикам за верные их службы. Всё так, а разве мужик-лапотник не служит тому же Отечеству. А священство, монахи разве они не главная скрепа между Богом и человеком? И монашеский чёрный собор должен есть свой хлебушко со своей нивушки…

Земли, к которым давняя уж приглядка была, лежали на стыке Арзамасского, Темниковского и частью Кадомского уездов. Немногих арзамасских помещиков Иоанн навестил первыми. Своих-то воевода Путятин заранее подклонил. Наговаривал: ну не под руками у тебя эти окрайки, да и не пахотные — пески же, боровина да мочажина! И взывал князюшка к милосердию, а больше-то чем пронять! Торопитесь творить богоугодное дело, а монахи… запишут в помянники имена родителей, дедов и прадедов, будут просить у Всевышнего прощения грехов и усопшим, и ныне на земле обитающим…

Какое ещё время бытовало! Несмотря на все осудительное, что замечаемо в любом народе, русские люди в том XVIII столетии безбожия, за редким исключением, ещё не знали, церковь чтили и потому без особой внутренней натуги подписывали, кто отступную, кто просил скромный выкуп, а иные и дарственные писали…

В Кадомском уезде помогали склонить к доброму делу хозяев князья Кугушевы и Долгорукий, да помещик Вышеславцев пособничал. Но тут пришлось платить отдельным владельцам урочищ и боровин.

Напослед оставил себе Иоанн сговор с темниковскими татарскими мурзами и мордвой. Едва ли не большинство из них вовсе не имело никаких владетельных бумаг и планов на землю. Держались они родительских граней по устным преданиям. Пришлось Иоанну вместе с мурзами составлять родовые таблицы, определять на месте владения, а уж после этого, за подписями, составлять купчие или дарственные на отдельные участки, на уступаемые десятины. Облегчало дело то обстоятельство, что со времен Иоанна Грозного многие из мурз кормились государевой службой, так и не припали к земле. Ко всему благоприятствовало строителю и то, что в глухой тамбовской стороне стояло ещё довольно лесов и без саровских боровин…

Вот так, полюбовными сделками с 1712 по 1729 год Саровская пустынь и приобрела по 63 купчим, поступным актам и вкладным бумагам от 96 владельцев, из коих было 7 русских, 16 новокрещенных, 73 мурз и рядовых темниковских и кадомских татар — 22 тысячи десятин, в основном непаханной земли. Широкий лесной поясок, пока ещё на бумаге только, опоясал обитель…

До радости окончательного обретения земли было, однако, ещё далеко. На руках ведь документы двух согласных сторон, пусть и скрепленных печатями в воеводских избах. Только царская воля могла бесспорно закрепить земли за Саровской пустынью. Иоанн потерял покой. А если там, во дворце, как говорили тогда на «Верху», а более того — в Сенате ухватятся за памятное «Уложение» Алексея Михайловича, за указ Петра, который наказывал не ущемлять инородцев…

Когда в последний раз Иоанн вернулся из Кадомского уезда с бумагами на обретённую землю, монахи предались радости.

Сидели в тесном кружке, и Иоанн остужал молодых и старых:

— Рано, рано мне кричать осанну! Ещё далеко до праздника… Соделана только половина, но постараюсь о добром завершении и второй. Живу заботой о временах предбудущих. Чтоб не пришлось грядущим чернецам укорять нас в лености и недомыслии. Как рачительный, благопопечительный хозяин не оставит чад своих без полных житниц и хлевин, тако и мы с вами потщимся заслужить благодарность уже после того, как отойдём в мир иной…

Иосия, тот, которого царевны в Саров направили, вскидывал персты вверх.

— Умней нас придут в обитель, поймут твои труды, авва!

— Ну-ну! — поморщился Иоанн. — Только без елея! Я что ещё скажу, братия: призревайте всякова приходящева в пустынь. Окормляйте не только душу, но и тело — пусть добрая слава о

нашей пустыни разносится по градам и весям…[53]

— В Москве пустынь знаема! — не утерпел Ефрем, оглаживая свою светлую бороду. — Знакомец мне пишет, сюда просится…

— Добре! — Иоанн прихлопнул ладонями по коленкам. — Надеюсь, братия, что найду и в Москве и в Петербурге не чуждых нам господ. Теперь у нас вкладчиками князья, графиня, о купцах уж и не говорю. Да и в Сенате есть благодетель. Вот скоро поеду обивать пороги и кланяться…

Приехал Иоанн в Москву, пришёл в Вотчинную коллегию — без неё дело не могло решиться, а там, встречным, такой разговор:

— Братья Семён и Алексей Полочениновы противятся тебе, игумен.

У Иоанна внутри даже похолодело: вот на, вот тебе и препона с рогатиной!

— Это ж дети тово, кто облыгал, кто мне палки в колеса прежде вставлял, не давал храм поставить… Что они?

— А вот что, — вспомнил подьячий. — Пишут в прошении, что их деду Дмитрию Максимовичу в старые годы была отказана чёрная рамень по Сатису и речке Вечкинзе… А дальше — дальше, святой отец, жалоба: неведомые-де монахи устроили монастырь, берут у мурз в Арзамасе крепости на землю, а сие противно цареву указу…

Вотчинная потребовала от Иоанна ответа, доказательств.

Игумен Саровской пустыни предоставил коллегии не только купчие выписи из старинных писцовых книг, но и родословные таблицы мурз татарских — потомков хана Бехана Сараклычского, как истинное доказательство родового владения землями Старого Городища лишь одними татарами.

Вся окрестность поднялась в защиту монастыря.

Русские помещики, мурзы, рядовые татары и крестьяне написали в Вотчинную коллегию приговор, в котором отметали домогательства Полочениновых:

«Порутчик Семен Полоченинов с братьями своими показали, будто земля, на коей построен монастырь, дана деду их из порожних земель, по сыску в Кадомском уезде, по урочищам и владеют они тою землею больше тридцати лет. А монахов на оном месте житие и деды наши знали тому больше пятьдесят лет, как они на оном месте стали жить. И ради их смиренного жития мы, многие мурзы и татарове, поступились оным монахам землями и лесами в вечное владение».

Особо написали в Вотчинную коллегию помещики и крестьяне сел Веденяпино, Аксела, деревни Текушевой:

«…если они, Полочениновы, неправедно вселятся на те

земли, то крестьянам будет большое притеснение и изнурение, а с оного монастыря со строителем и монахами сколько лет уже живем и никому меж нами друг другу обид не было и впредь надеемся не будет».

Отверг доводы Полочениновых со своей стороны и Иоанн. В доношении от 8 февраля 1723 года он писал, что «…Дед нынешних помещиков приписал землю себе» и просил: «послать в Арзамас указ о розыске и освидетельствовать и чертеж учинить».

Полочениновы продолжали настаивать на своём.

Вотчинная коллегия медлила с решением дела.

Уже после 1731 года Арзамасская канцелярия послала комиссара Никиту Своитянова и земского писаря Ивана Максимова дознать о правах Полочениновых на указанную ими землю. Розыск показал, что местные жители действительно не знают о названных владельцах земли по речке Сатису и речке Вечкинзе… Короче, притязания братьев Полочениновых несумнительно отрицаются…

Вотчинная коллегия умела читать и между строк… Долго не думая, чиновники оной решили забрать все земли, обретенные Иоанном, как спорные, в казну впредь до выяснения… Такое выяснение далее могло длиться самое неопределённое время. Несколько обнадеживало саровцев то, что окончательного решения коллегия не вынесла и никаких документов не выдала ни той, ни другой стороне.

В земельных делах частенько споры решало к обоюдному согласию неторопливое время…

Иоанн не пал духом, опять собрался в Москву. Помнил пословицу: под лежачий камень и вода не течёт… И другую: капля по капле — камень точит…

Глава девятая

1.

В августе 1727 года с той же заботой о земле Иоанн отправился в Петербург.

В северной столице после немалых хождений и расспросов он разыскал Серебрякова и напросился к нему на постой.

Михайла обрадовался: свой, с родной сторонки… Гостевая комната пустует — живи хоть до морковкинова заговенья!

Ещё в начальные годы нового века родитель определил Михайлу в Петербург по зову царя, который приглашал торговых людей в строящийся «парадиз» и льстил им скорыми прибытками. Серебряков давно обжился неподалеку от главной «прешпективы» города и бойко вел торговлишку мясом близ «весовых амбаров». Жил прежний арзамасец своим домком с диковинной черепичной крышей.

Давние приятели непритворно порадовались встрече. Когда-то, совсем молодёшеньких, свела та же торговля. Иоанн — недавний постриженник Введенского, часто посылался в скоромные дни на Мытный за мясом для братии, и так уж вышло, что родитель Михайлы, по доброхотному уговору с игуменом Тихоном, уступал монастырю мясную обрезь и кости с мясом дешевле чем одиночным покупщикам. На подхвате у отца-рубщика всегда стоял с безменом Михайла, тогда ещё отроч.

После ужина, тихим тёплым вечером, хозяин увёл гостюшку в свою горенку. Он снял с себя тесное городское платье и ходил дома в длинной рубахе без опояски, в холщовых же портах и лёгких сапожках из арзамасской юфти. В чистой горенке, устланной яркими половиками, ближе к окну стоял крепкий стол под ковровой скатертью, привлёк внимание Иоанна красный угол со старинными иконами — монах вспомнил, что родители Михайлы «придерживались старинки».

Чёрный, ещё моложавый купец перехватил взгляд Иоанна, подошёл к киоту, поправил фитилёк в лампадке зелёного стекла и открыто погордился:

— Родительское благословение нам с Марфинькой — самым дорогим…

Иоанн не посмел отмолчаться:

— Родительское — свято!

Иоанн заговорил первым, какая нужда привела его в столицу.

— Я ведь в Саровской пустыни игуменом — это у дороги на Темников…

— Догадался: раз с жезлом — игумен! Рад я за арзамасца!

— Так вот… Отказывали, уступали, дарили, но и покупал, конешно… двадцать тысяч десятин земельки теперь вот пасу. Красный лес больше, пахотной-то лоскутки…

— Ну, отче, с таким ты замахом, ай-яй!

— Пасу своё и не своё… Сенат вот как решит… Много я, Мишаня, всяких порогов пообивал там — близ монастыря, в Москве, теперь, как на часах, стоять мне в сенатских коридорах — всяк день и час могут спросить по каждой бумаге…

— Заступа есть?

— Вкладчиками — князья, графиня, да и тут в Сенате сыщу благодетеля, а прежде царевны целый иконостас преподнесли…

— Высоко летаешь, отче… Ну, дай Бог!

Серебряков терпеливо ждал, когда выговорится Иоанн, чтобы поспрошать наконец о родных в Арзамасе.

— Благоденствуют ваши, — коротко успокоил Иоанн земляка. — Значит, помнится тебе Арзамас, не оборвалась ещё совсем-то пуповина…

— Да как забыть отчину, место где произрастал! — весело отозвался купец, встряхивая тугими чёрными кудрями. В левом ухе его мягко светила серебряная серьга. — Я с батюшкой любил на Рамзай за водой ездить — вода там — дар Божий! Всё в городу ладно?

— Работает Арзамас, торгует. А в Спасском ныне архимандрит с шапкой сребрекованной. На Высокой горе монастырь зачался.

— Как нарёкся?

— Вознесенский.

— Писали мне, что красный петух опять Арзамас поклевал…

— Наделал беды пожар. Крепостная стена почти вся сгорела…

— Распоясался Арзамас, всем ветрам открылся. Да ведь не только ветрам…

— Многие теперь по ночам страху подвержены. Прежде, бывало, закроют все четверо ворот и — бай дюже!

— Пополнел город?

— Раздался! Домов-то скоро до тысячи счётом, а народу до шести тысяч, как воевода сказывал. Скота стали много пригонять. Теперь сало для северного флота топят и солят…

— Знаю! — подхватил Серебряков. — Сальников навяливает мне сало для продажи. Отписал я, что согласен, дело выгодное

для обоих. Да, а как юрода-то арзамасский?

— Отошёл человек Божий, осиротели горожане… Ну, а тут что, в «парадизе» Петровом?

Купец встал, налил из кувшина квасу в два деревянных ковша.

— Конец августа, а такая теплынь стоит. Пробуй, отче, Марфинька моя мастерица квасы затирать.

Не торопясь выпили, помолчали, в горенку входила тихая сумеречь. Город за окном затихал.

Серебряков слыл среди торговой братии молчуном, букой, впрочем петербуржцы старались поменьше распускать язык — повсюду шныряли бойкие подслушники и тягали людей в Тайную, что наводила ужас и на последнего нищего, и на блистательного вельможу. Но сейчас перед земляком, перед давним приятелем и духовным лицом Серебряков охотно выговаривал всё то, чем давно он полнился.

— Ширимся, шеперимся на своём болотном усадище. Гиблое место! Моя Марфинька стала грудью маяться: сыро кашлять… Нездорово здесь! К моему двору мужичонко-бобыль прибился: смолоду он надрывался на здешних каналах. То и плачется: «Батюшка Питер бока наши вытер, невские воды унесли годы, а столичны каналы и совсем доканали».

— А в Москве-матушке, — невольно прервал хозяина Иоанн… Ведь там любая улочка, переулочек любой яко родненький. И дышится легко!

— В этом «парадизе», в этом раю — все на иностранный манир. Слышу, с Голландией сравнивают. А наша Голландия сплошь на русских косточках. Ведь, отче, как шепчут, до ста тысяч уж полегло на месте сем мужиков, а сколько ещё падет. Бедным православным в нашей Голландии и в земле покоя нет!

— О чём ты?

— Место здешнее — болотные зыби, копни чуть, и болотина ржавая выпирает. Вон, близ Охты кладбище-то назвали в народе Волчьим полем. Мелко хоронили — глубже болотина, волки свежие могилы разрывали и кормились…

— Господи-и… У нас же, русских, прежде чем город ставить, место облюбованное во все выси, во все шири и глуби прозрят… Слушай, Мишаня, что после смерти царя, народ-от как?

— Народ устал и тут. Народ о себе давно знает: была бы шея, а хомут найдется… Много мужичков наш царь-батюшка перевёл на полях бранных, а мало ли староверов кануло — я-то наслышан. Стань-ка бы мы с тобой пальцы загибать… Жену и сестёр в монастыри запер, сына роднова, наследника, со свету сжил, не пожалел… Это ж вашева, табовскова монаха у нас тут

предали казни за то, что антихристом Петра-то назвал…

— Слышал, слышал, бывал в Тамбове. Самуил Выморков открылся с этим. Царь-то у нас в двадцать пятом, в конце января, отошёл… А казнь чернеца уж после, в августе свершена… Сказывали: отрубленную голову привезли в спирту в Тамбов, поставили на площади каменный столб и при народе насадили её ж на железную спицу. Скорбели тамбовцы…[54]

Серебряков тяжело ходил по своей горенке, коротко поглядывал на Иоанна. Открылся:

— Нашева нижегородца Андрея Иванова причесть бы к мученикам. Ведь четыреста вёрст пешком отшагал, чтобы бросить с лицо царю, что он еретик. Сказнили простеца за предерзости, как нам тут объявили. Галицкого пытали — коптили на медленном огне за те же слова… Сколько напастей на нас, святой отец… А всё оттово, что немцами царь себя окружил. За корыстью сюда наползли, как тараканы, и не выкурить. Напились, насосались нашей кровушки, а всё-то русских в глаза и загласно хулят!

Иоанн согласно качал головой.

— Мало тово, Мишаня, от православия нас отвернуть хотят. Этот синодский, Прокопович, что поставлен нашей церковью править — протестант нутром — так сказывают!

— Добавляю правды! — купец резво подсел к Иоанну на лавку. — Есть у меня знакомец из синодальных же. Писец, а головастый детинушка. Как-то в моей мясной каморе засиделся за купленной водочкой и, с оглядкой, такое выложил… Живёт Феофан не как молитвенник и постник, а как граф или князь сиятельный. У нево ж четыре дома — три тут, в Петербурге. На Карповке — дворец, у моря — дом, другой на адмиралтейской стороне. Свои суда под парусами. Плавает по охоте от дома к дому и бражничает со своими да нашими… В домах убранство дворцовое… У него крепостных четырнадцать тысяч душ — как же было такому не любить мин-херца, императора-благодетеля!

— И этот человек объявляет себя православным пастырем…

…Один, а то и с Серебряковым Иоанн довольно походил по Петербургу. Побывал арзамасец в неказистом Исаакиевском соборе с часами, в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Не принял он того, что православные церкви по приказу Петра I венчались не куполами, а острыми протестантскими шпилями — ущербность какая — лишить храм Божий небесного купола, что лучшие места на Невском отданы инославным церквам.

Случайно оказался на Царицыном лугу, свернул направо в Летний сад, но как увидел обнажённых болванов, тем же ходом и

вышел. Подивили каменные палаты, похожие на сундук с высокой крышкой. «Остермановы» — пояснил кто-то из прохожих. Дошёл Иоанн и до дома Прокоповича — опять же какой-то он иноземный… Провёл Серебряков по деревянному, в два яруса Гостиному ряду. За ним осыпала свою светлую желтизну листвы берёзовая роща, её уже теснил шумный базар. За Невой, на Васильевском, торчали многочисленные мельницы на валу, поразил на том острове дворец Меньшикова. Занятно было смотреть на корабли на Неве. И как эти деревянные скорлупки носятся по морям…

— Не наш, не русский это город! — как-то признался Серебряков.

Они возвращались домой после очередного хождения по набережной.

— Русский дух навсегда в Москве осел! А отсюда одни беды попрут, — добавил Иоанн и скорбно покачал головой.

Скоро, скоро наскучил Иоанну Петербург. Тоску нагоняла уже погода: на дню и по пяти раз то сеется дождик, то воровато проглянет солнце. Не чаял как и уехать в свою милую палестину арзамасец. Удивлялся: по Москве тоскует! Это в его-то лета! И укреплял, убеждал себя: не хватало, чтобы рассолодел, старый. Ходи знай!

Ходить приходилось к сановитым вельможам — к тем, кто заседал в правительствующем Сенате, или уж к тем, кто водил дружество с сенатскими. И всё за тем, чтобы как придёт тот час, как начнут обсуждать искания саровских монахов земли, так кто-то бы первое, очень важное слово молвил в пользу обители, а остатние бы пудренными париками покивали в знак высокого согласия…

2.

Сентябрь стоял…

Дорога Москва — Петербург содержалась вполне сносно и жалоб среди поезжан большого рыдвана не слышалось. Да и спутники попались люди всё простые, знать, привыкшие к дорожным тяготам.

Иоанн сидел в углу рыдвана довольнёхонек. Вот и всё, благодарение Богу, устроилось. Считай, с искательством земли кончено: Правительствующий Сенат своё мнение объявил.

А ведь в Петербурге сперва в Верховный тайный совет пришлось ходить. Вотчинная-то коллегия, после жалобы

Полочениновых было отписала землю в казну. С бумагами в руках, а бумаги с печатями и заручными подписями, убедил Иоанн «верховников»: Саровская пустынь явлена по указу на отказной земле князя Данилы Кугушева. А братья Полочениновы, как показали темниковские татарские мурзы, подлог устроили — на Старом Городище их отродясь не знали. Посрамил Иоанн посягателей, пошли бумаги в Сенат, и там русские мужи мудро решили: православию, просвещению — быть к вящей пользе всех: мордвы, русским и татарам!

Славно это возвращаться из Петербурга с решенным делом. А сколько пережил, пока бумаги в Верховном тайном со стола на стол ложились, пока до Сената дошли, да и в Сенате не вот сразу. Это ведь только сказка скоро сказывается. Хватил немало и огорчительного, благо куколь схимника на голове открывал-таки двери палат и дворцов. И славно, что случилось быть в северной столице генерал-губернатору Москвы Семёну Андреевичу Салтыкову, родичу императрицы. Он-то и порадел «по-соседски»: Салтыковы же владельцы Выездной слободы, что под самым Арзамасом… Поговорил кой с кем Семён Андреевич из господ сенатских.

Иоанн поглядывал в окошечко рыдвана. Давно ли стояло средолетие, а теперь уж остывшие леса сквозят, ветер-листобой птиц кидает и белые платки журавлей прощально машут родной земле. А вон справа тёмная косина дождливой тучи заходит, и уж первые капли дождя падают на дорогу, дырявят пылевой намёт.

Он отвернулся от окошка, опять ушёл в себя, в свои приятственные воспоминания.

…Служитель Сената по выдаче указов запомнил, знать, приходящего не раз монаха, со служивой осторожностью, посунулся поближе и не сдержал себя, широко улыбнулся.

— Сеял ты, святой отче, слезами, а пожинаеши радостию. Высокий Сенат обнаружил все козни Полочениновых…

И, торжественно взявши копию указа, прочёл его окончание:

«…по выписке против челобития Темниковского уезда Саровской пустыни строителя с братиею о купленных, поступных и вкладных той пустыни землях, приказали: „Доложить Ея Императорскому Величеству с мнением, что не соизволит ли Ея Величество указать земли за оною пустынью утвердить вечно, для неимущества доходов, крестьян и руги другим не в образец“».

— Вот таково мнение Правительствующего Сената! — служитель тут же успокоил: — Уж коли Сенат определился во мнении — государыня умилостивится… Надобно немного подождать. Полагаю, что невдолге императорское величество соизволит подписать указ. Надейтесь, святой отец: обрящете!

Уезжал Иоанн из Петербурга в начале октября.

Накануне отъезда у Серебрякова вечером долго сидели за столом. Саровец, умягченный непритворной грустью Михаила, тихо пожаловался:

— Устал я донельзя. Давно бы мне сидеть в обители неисходно, а всё-то трясу свои старые кости по дорогам, а дороги не гладки… Ну что ж, не мной сказано: на сем свете не устанешь, так и на том не отдохнешь!

— То — правда! — подхватил купец. — Спасибо тебе, отче, что не погнушался — завернул ко мне во двор. Я с тобой, как прежде с батюшкой, отвёл душеньку в разговорах, исповедовались мы друг другу. Ныне створы души открыть дорогова стоит! Кланяйся в Арзамасе нашим, а и городу поклон!

Иоанн благодарил Серебрякова:

— Благодарствую за привет, за хлеб-соль! Не знаю, не знаю, в эту Голландию я боле ни ногой. Ни в кои веки!

На повороте, у развилки дороги, сильно тряхнуло рыдван, но воспоминание о Серебрякове не оборвалось. Зачем-то Михайла в тот прощальный вечер напористо возразил:

— Ни в кои веки… Не говори так, отче. Не зарекайся!

Не знал тогда Иоанн, что выпадет ему и ещё раз дорога в Петербург. Его последняя дорога…

В Москве давний доброхот из Синодальной конторы порадовался подвижке дела о земле. Склонил голову набок, выслушал о хождениях в Верховный тайный и Сенат, умно посоветовал:

— Не торопись, святой отче, в свои палестины. Бумаги сенаторов долго не задерживаются — государыня утвердит заключение сановных в самой скорости теперь же, в октябре. Ну, уедешь, и тем же следом трястись обратно — ужели этова тебе надо?

— Не хотелось бы…

— Вот и я об этом!

Наконец-то настали праздные дни.

Теперь Иоанн то просиживал в книжной келии Новоспасского монастыря, где всегда находил пристанище по приезде в Москву, то, как не было дождя, ходил по Москве, раз и навсегда покоренный её красотой, домовитостью, её шумной повседневной жизнью.

Он хорошо знал Китай-город, Белгород, третье окружье центра — Скородум и четвёртый пояс — Стрелецкую слободу, что опоясывали Московский Кремль — Царь-Город.

К началу XVIII столетия Москва стала быстро перестраиваться. В Белом городе уже большей частью, поднялись

каменные дома. На бровке Неглинной, противу Кремля, возникли каменные палаты Голицина и Троекурова. Выше этих палат вздымался дворец Гагарина. На Ваганькове появился дом дьяка Иванова с диковинными «голландскими щипцами», на месте Опричного дворца — дом адмирала Апраксина, выстроенный на итальянский манер. Все эти дома смотрелись на Кремль и не случайно — жили-то в них родичи бояр Романовых по женам царей Михаила Фёдоровича, Алексея Михайловича и Фёдора Алексеевича.

В этих своих хождениях по белокаменной Иоанн покупал книги. Он давно собирал то, что окормляло духовно, что будило мысль. Ещё Павел — архимандрит Спасского в Арзамасе изрекал не раз в долгих беседах: книга — это знатье минувшего, нынешнего и загляд навперёд — помни сие!

Иногда попадало в руки и то, что не выходило из печатни — такое рукописное, чего бы осторожному монаху и сторониться. Донесут, при случае, недобрые люди до той же Тайной канцелярии — обеляйся потом, доказуй, что разум затмило, как обретал. На что же запрет? Видел, понимал Иоанн, что давно уж на православие наступает латинство через тот учёный Киев, а через немцев — лютеранство. И что далась им Россия?! Не дерзает же нагло православие на Запад… И вот русское священство в постоянном борении с иноземным, а это чуждое волей-неволей поддерживал то царь Пётр, а теперь императрица, плотно окруженная немцами. И тот же Феофан Прокопович, что главенствует в Синоде. Пишут умудренные православные противу хитроумных ересиархов, взывают свято хранить чистоту православия, не поддаваться вражьему лукавству. Ищет, ищет Иоанн обличения отцов русской церкви — пусть просвещаются нынешние и будущие монахи, чтобы духовным мечом отражать нашествие инославных…

3.

Три года было царевне Анне, когда умер её родитель царь Иван Алексеевич, родной брат и соправитель Петра Алексеевича.

Девочка выросла с двумя сёстрами в селе Измайлове под присмотром своей матери Прасковьи Фёдоровны из рода Салтыковых.

Царь Пётр жаловал племянницу и по политическим соображениям выдал ее замуж за принца Фридриха-Вильгельма сына герцога Курляндского. Супруг Анны оказался не очень-то

крепким и сразу после свадьбы в январе 1711 года, после «небывалой попойки герцог мог доехать только до мызы Дудергоф и здесь, в сорока верстах от Петербурга, скоропостижно скончался».

Так вот и овдовела Анна «без воспоминаний о супружеском счастье» и ставшая герцогиней без власти, ибо фактически Курляндией управлял резидент Петра П. М. Бестужев.

Отстранённая от царского двора, униженная, замкнутая, Анна Иоанновна-таки дождалась своего звёздного часа: после внезапной смерти в Лефортовом дворце пятнадцатилетнего Петра II 19 января 1730 года она стала в 37 лет русской императрицей.

Два года Анна Иоанновна не решалась выехать из первопрестольной столицы в Петербург, пока не удостоверилась в преданности гвардии, пока не укрепилась её власть.

25 октября 1730 года. Москва…

В рабочем кабинете императрицы, обитом штофом с золотом, жарко натоплено — муравлённая печь, поблёскивая зелёной поливой израсцов, дышала сухим жаром. У окна в золочёной клетке верещал яркий попугай.

В кабинет твёрдой походкой, сопровождаемая кабинет-секретарем в синем камзоле, вошла очень высокая полная женщина с широким грубоватым лицом, в свободном платье зелёного цвета. Её тяжёлые чёрные волосы сдерживал от распада простой красный платок.

Императрица пребывала в полном здравии и добром настрое, она подошла к клетке попугая, окликнула его, потом медленно прошлась вдоль окон — в Кремле хозяйничал ветер, прямо под окнами, на каменных плитах бойко хороводилась чистая желтизна сухой берёзовой листвы.

Наконец Анна Иоанновна, несмотря на свою могутность, легко села за рабочий стол, деловито осмотрела письменный прибор, затейливую скляницу с песком, вывезенную из далёкой теперь Митавы.

Императрица подняла тяжёлую голову, лёгкая улыбка скрасила её смугловатое лицо с большими тёмными глазами. Кивнула, по-домашнему просто сказала:

— Что у нас нынче?

Кабинет-секретарь, уже хорошо зная, что царица не любит долго утруждать себя подписом бумаг и устными докладами, с нарочитой лёгкостью в голосе начал с дела необыкновенного.

Анна Иоанновна слушала доклад рассеянно: особой важности в содержании представленного указа не содержалось, а потом этот, как и все прочие указы, в последние дни подготовлены и

одобрены Правительствующим Сенатом, в коем сидят мужи зело рассудительные…

Шёл первый год царствования бывшей Курляндской герцогини, и уж само-собой надлежало раздавать монаршие милости направо и налево: дворянству, гвардии, чиновным, а також и духовенству — дядюшка Пётр Алексеевич изрядно-таки поприжал оное «Духовным Регламентом».

Секретарь, оправляя свои кружевные манжеты, заученно ласкал слух своим бархатным голосом:

— На грани Нижегородской и Тамбовской губерний, уж боле двадцати лет, завелась, велением Божиим, Саровская мужская пустынь. Тамошние монахи бездоходные — ищут непахотные пустоши и борового леса для пропитания…

— Кто радел чернецам?

— Земли отказали и продали татарские мурзы, мордовские старшины и наши помещики. А радели прежде в устроении пустыни и царевны, — мягко тянул голосом кабинет-секретарь. — Ну, а вкладчиками монастыря: боярин Пушкин, князь Василий Долгорукий, князь Одоевский, граф Артамон Матвеев с супругой… Полагаю, что и генерал-губернатор Москвы благоволит… — кабинет-секретарь с умыслом задержался с произношением фамилии Салтыкова — близкого родича Анны Иоанновны.

— Довольно! — императрица смотрела и не смотрела на первый лист сенатского указа. — И каково мнение?

— Утвердить другим не в образец…

— Что так? Ах, да…

Анна Иоанновна минутно задумалась, опять вспомнила: крутоват дядюшка-то был с монахами… Она только-только утверждается на троне. Подписать этот указ, о коем станет ведомо всем монастырям — оказать благоволение всему российскому монашеству. Поймут, долгогривые… Императрице понравилась формулировка Сената, она весело взглянула на своего изящного секретаря, дробно побарабанила толстыми пальцами по столу.

— Не в образец, так не в образец… Зер гут! А кто строителем пустыни?

— Иеросхимонах Иоанн, арзамасский родом.

— Он же в таком духовном чине! Его место скорее в затворе безмолвном…

— Личным указом вашего дядюшки Петра Великого дадено разрешение верховодить братией и впредь. Известен праведностью…

— Ладно, напомни монаху, что каждый монастырь есть

царское богомолье!

— Ваше императорское величество! Пожалуйте монастырь землёй

— монахи вечно будут благодарить ваше имя перед Всевышним!

Анна Иоанновна всё же пригляделась к содержанию указа, заметила:

— А долгонько же тянулось дело у чернецов с Полочениновыми.

— Из письма ваших богомольцев видно, что князь Меньшиков долго не радел…

— Поди-ка мзды ожидал?

— За Александром Даниловичем водились такие слабости…

Кабинет-секретарь угодливо подал императрице перо. Она старательно, чуть выпячивая яркие губы, начертала: «Учинить по сему докладу. Анна».

— Отошли указ в Синодальную контору — там порадуют схимника. Поди, ждёт?

— Ох, давненько ждёт…

Императрица подняла на кабинет-секретаря свои прекрасные глаза — они подлинно украшали её.

— Гляди, чтобы в Сенате не держали бумаги подолгу. Живуча же у нас старинушка — наш долгий ящик…

Кабинет-секретарь поддакнул:

— Живуча, живуча, матушка!

И ухватился за скляницу с песком, принялся засыпать написанное.

Перечёт бумаг, ожидающих резолюций, Анна Иоанновна остановила скоро.

— Довольно на сегодня! Пошли сказать Салтыкову, что жду его нынче на пристрелку новых ружей немецкой работы. Да, тут, в дворцовом саду.

…Снег ещё не пал на землю, стояло тихое погожее предзимье. Москва-река ещё не дышала стынью, в этот солнечный день в лёгкой ряби воды отражалось пронзительно голубое небо.

Синодальный выдал указ скоро, открыто радовался — на погляд, куда больше пустынского ходатая.

— Всему, всему бывает конец… Выстрадал ты угодья, святой отец. Как только и удалось — добродеи сбоку пособничали?

— Все в руце Божьей! — нарочито тихо, смиренно отозвался Иоанн и полез за серебряным рублём — он с утра нынче «поближе» положил его. — Это на радостях, моей благодарностью…

Осторожно завернул указ в чистую холстину, бережно уложил

в свою кожаную суму и вышел на площадь, хваля Господа, понимая, что отныне его обители жить безбедно вовеки…[55]

В другие-то разы как-то недосужно, всё-то на потом оставлял. А тут пошёл и решительно признался звонарю о давнем-давнем желании подняться на колокольню Ивана Великого, увенчатую золотой главой.

Иоанн знал, был довольно наслышан в Москве, что колокольня возведена на месте церкви, которую построил ещё великий князь Иван Данилович Калита в честь святого Иоанна Лествичника.

Могучий, высоченный столп как бы собрал вокруг себя кремлёвские соборы.

— Не вниз, а вверх, в небо с надеждой глядим, — признался в многозначительном звонарь. — В колокольне, считай, сорок восемь сажен.

— Высоконько! — закидывая назад голову отозвался Иоанн, чувствуя, как заранее замирает его сердце в ожидании незнаемой прежде высоты.

— Два яруса надстроил на втором году царствования Борис Годунов… — разохотился в слове звонарь. — А под колоколами — Патриаршая ризница. Тут и собор святителя Николая с чудотворным образом Николая Гостунского. Нет, в ризницу сейчас доступа нет…

Приустал, что и говорить! Не скоро отдышался и, ошеломлённый открывшейся высью, медленно, даже с неким испугом, огляделся: захватывающее видение — явь открылась монаху.

…Многоглавый Кремль жарко горел золотом глав и крестов своих соборов, казался диковинно-красивым венцом над всей Москвой.

Особое, ни с чем не сравнимое ощущение высоты, всегдашний позыв в эту голубую высь…

Велика белокаменная, не окинешь взглядом…

И какая она вся тёплая, родная. И всюду, куда ни брось взор — купола православных церквей — какое сияние Божьего и земного!

А вокруг Москвы широким поясом осеннее сухое золото бескрайних лесов…

Молчат в этот час колокола. Но знает Иоанн, как озвучит себя всё-то многоголосье меди и серебра града стольного — в святом молитвенном состоянии возвышается и пребывает вся белокаменная. Священные кимвалы семи древних звенящих холмов… Благовествующее небо… Кажется, кинься ты, Иоанн, с колокольни этой, и плотный, могучий погуд колоколов сдержит

тебя на своей откатной волне и легко понесёт в высь поднебесную…

На другой день выехал из Москвы.

Едва объявился в своей пустыни — увидели монахи, высыпали на улицу, обступили, не дали и до кельи дойти.

Дорофей с пунцово-красным взволнованным лицом, не зная исхода дела, сдержанно спросил:

— Впусте приехал?

Иоанн, глядя как скоро и плотно окружили настороженные чернецы, подумал, а не с известием ли они о новой беде, не пала ли она опять на обитель. Монахи молчали. Тогда он и обвеселил братию:

— Не впусте, с указом! — и широко раскинул руки. — Земля на-а-ша!

Саровские монахи, кажется, не знали более счастливого дня. Шутка ли: они стали владельцами двадцати трёх тысяч десятин земли!

Чернецы отслужили благодарственный молебен Божией Матери — покровительнице пустыни со всенощным бдением за царствующую императрицу государства Российского — Анну Иоанновну, а затем устроили весёлую братчину.

И далее ежегодно 25 октября в монастыре стала свершаться торжественная суточная служба.

Этот день навсегда был определён «лесным праздником» для саровской братии.

4.

Иоанн возвращался из Темникова — проведал там монахов, что несли послушание на подворье Саровского монастыря. Что-то угнетало игумена, и он просил послушника торопить лошадь.

Дорога разгрязла — кой-где в прошлогодних колеях ещё стояла снеговая вода, а на пригретых взгорках колёса телеги утопали в раскисшей земле едва ли не по ступицу.

Воздух затяжелел, полнился весёлыми весенними запахами. В низинках, у мочажин, разубралась верба, поднялась пахучими жёлтыми стогами. В поднебесье жаворонки пробовали своё первое журчанье…

Не напрасно тревожилось Иоанну: по обители снова хлеснула беда.

У Сатиса объявился белец с топором и вязанкой сушняка. Увидел возвращающегося игумена, бросил вязанку, подбежал,

припал к руке. Плачущим голосом излился:

— Горюшко-то какое…

Иоанн далее слушать не стал.

— Гони-и…

В монастырской ограде первым из амбара выскочил Дорофей — длинная выцветшая ряса из грубой домоткани хлестала его по ошарпанным сапогам.

— Да что тут стряслось?

Дорофей подошёл устало, его обожжённое, навсегда иссиня-красное безбровое лицо виновато вытянулось.

— Сказывай!

— Опять пограбили нас тати.

— Да как уж так, Господи…

— Мало тово, Ерофеюшку ослопом убили…

Сели у поварни на дровяные чурки. Иоанн торопил с рассказом, но Дорофей скоро говорить не умел.

— Кто же ждал такова… Мы уж на утрене стояли. Вдруг двери — настежь, врываются в церковь с грозным лаянием. Одни с дубьем, другие с рогатинами, но и с ружьями — развелось ноне ружей… Кинулись, было, злодеи на амвон, мы опередили и встали лицом клицу. Тут и кончили Ерофеюшку. Такое свирепство… Ну, какие мы вояки… Повыбрасывали нас из храма и начали грабеж, потащили облачения, утварь, до укладки с деньгами добрались. Что рёву, что стону было… Бросились душегубы шарить по кельям, — рабочим избам — семь подвод наших же нагрузили и — за ворота, только их мы и видели. В церкви больше порушено, чем взято…

— Не посылал вдогон?

— Ково же, отче?! Побитых, искалеченных, с голыми руками… Ино дело: барские мужики из Кремёнок и кинулись с ружьями вверх по Сатису, да где-е… Там такая чащоба, такие глухие боровины — иголку в стогу сена искать…

Иоанн тут же обошёл кельи, обнёс пострадавших тёплыми словами, утешил, а утешением одни слова: наш удел терпеть! Бог всё видит, ничто для Всевышнего не утайно, и каждому Он воздаст по заслугам…

Сходил игумен и на поклон праху Ерофея. Какой простосерд был, до седых волос оставался дитём кротким, а тут — гляди, восстал!.. Вечная ему память!

В поварне, голодный, похлебал щец пустых с чёрствым хлебом и пошёл к себе. Ещё на свету прилёг, да так, намученный дорогой, и уснул до утра.

…Кончалась обеденная трапеза, и Иоанн частенько закрывался для письма и чтения.

Уж довольно у него книг и бумаг накопилось.

С годами открылось монаху, что книги имеют особую власть над ним. Он знал содержание каждой, но оказалось, что и внешний вид их не безгласен — он зовёт чтеца к главному, к содержанию страниц, но и ждёт, чтобы хозяин дотронулся до них, поласкал взглядом и чуткими пальцами переплёт, хотя бы просто так полистал, дал пошуметь, подышать старым страницам. И не случайно Иоанн сам переплетал обретённые книги, подклеивал ветхие страницы — монахи вменили ему переплётное послушание, как и плетение лаптей…

На отдельной полке, в лубяной коробке, лежали его письмена.

Как хорошо иногда вернуться к ним, полистать, приглядеться «свежими глазами» к написанному, опять, пусть и не в прежней полноте, пережить прошлое, часы напряжения ума и сердца.

Четыре рукописи оставит после себя первоначальник Саровской пустыни.

Устав монастыря. Он хорошо отразил опыт православного монашества, признан был ещё современниками Иоанна «строгим». В нём две части. В первой — 24 главы, во второй — 8 глав. В них изложены строгие правила иноческого жития. Начинаются они с обязанностей игумена и кончаются обоснованием его удаления из пустыни за могущие быть нарушения устава. К первой части устава Иоанн присоединил наказ о пользе монашеского общежития. Вторая часть устава посвящена церковному благочинию, воскресным службам, чину молитвенного правила общего и келейного, с поклонами. Завершает вторую часть устава «пристежение», суть которого выражена в таких мудрых словах: «Всяко дело мера красит. Лучше меньший подвиг устава творити на малое время постоянно: нежели высоко начинати и многая творити на малое время и по своей воле».

Иоанн сознает: устав — это свято, навсегда. И через много-много лет его слово, воля первых иноков Саровской пустыни — тем лучшим заповеданием, на камне которого и будет предбудущими монахами созидаться высокое служение Богу и Миру.

Он берёт, листает и свое «Сказание» — знает, что не завершит его, оно продолжится следующим игуменом…

С добрым умыслом начато летописание пустыни. Он начал его так: «Сказ о пустынном месте (Старом Городище), о знамениях, бывших на месте оном, и о начале монашеского жития на том месте, где ныне строение церквей Божиих, и о земле оной, и о пещерах… о всём том писано подробно в особой книжице».

Иоанн склоняется над рукописью, читает: «Книга сия если и не риторическая добротными словами упестренная, но истинна… простых речей и произношений зрима, более самим первоначальником была писана вчерне».

Особо дороги для Иоанна два других его труда: «Сказание о обращении заволжских старообрядцев и раскольников заволжских» и «Похвала на обращение заволжских старообрядцев и увещание к обратившимся».

Обе работы говорят о том, что игумен Иоанн воспринял раскол православной церкви как беду в родном отчестве. Он знал историю раскола, с пониманием и с братской любовью относился к отпавшим от церкви, этой любовью, тепрением возвратил в неё немалое число заволжских старообрядцев и, более того, продолжал увещать прежних скитников, духовно окормлять их.

О миссионерских трудах Иоанна в конце XIX века сказано: «Он сам и его сочинения представляют… исключительное и в высшей степени отрадное явление в православной полемике против раскола XVII и первой половины XVIII столетия… Иоанн в беседах своих со старообрядцами в полной мере использовал трактат „Жезл правления“, „Увет“ и другие труды отцов церкви, но приведённые доводы у него смягчены кроткою искренностью, в беседах нет гордого презрения и насмешек, все они дышат искренним участием к староодрядцам. Наряду с этим в его работах немало и собственных размышлений и определений в делах веры».

…Звонили к вечерне.

Как, однако, засиделся, вот и в церковь идти. А и ладно: добавил и сегодня к «Сказанию», не утаил бывшего, того что должно оставить памятью.

Опуская гусиное перо в глиняный стакан, подосадовал: опять, не спросясь, послух долил в плаконец воды, и чернила побледнели — как же сразу-то не заметил? Летописание — надолго вперёд и чернила должны изливаться на бумагу в полном насыщении своего цвета. Чернильных орешков у келаря пустыни хватает и чего же он, послух?

Вечером не усидел в покое — весна будоражила, имеет она власть и над старым человеком, над его вечно молодой душой.

Под окном домика разрастается молодая черёмуха. Начала она цвести, и Иоанн услышал её тонкий пахучий зов. Подошёл, тронул пальцами побуревший ствол — он совсем ожил за долгий весенний денёк и ласково отзывчив.

Черёмуху Иоанн привёз отсадком из палисада родительского дома. Это сестрица Катенька как-то откопала и завернула вместе с землёй в сырую тряпицу, и подала молча. Только сердца брата и

сестры тогда не молчали…

Иоанн порывисто отошёл от черёмухи.

Она неизменно, по-особому расслабляла его.

Вот стоило только вдохнуть её крепкого горьковатого аромата, закрыть глаза, и тотчас увидел он давно бывшее, виденное: свою любую Уленьку в белом холщовом платьице с яркой вышивкой на груди, рукавах и по низу широкого подола. Она в черёмуху лицо своё прятала, и так зазывно глядели из белой кипени пышного цветения её синие влюблённые глаза…

Давно запретил себе старый монах вспоминать это давнее, весеннее, но вот каждый год об эту пору так будоражит его цветущая черёмуха. А в июне, в ту душную купальскую ночь в её волшебном таинстве — второй раз за год, является перед ним волнующим белым видением его юная обавница…

Жива ли ты, ладушка…

5.

С утра собирался дождь, но потянул с полуденной стороны ветер, и тяжёлая, рваная синева туч как-то разом завалилась за обеспокоенный сосновый бор. К вечеру духота спала, и Иосия собрался на Сатис удить рыбу.

Тут, в удалении от Сараклычской горы и от пустыни, монах давно присмотрел сухое место, в одно из долгих отсутствий Иоанна срубил себе небольшую келью и подолгу, случалось, живал у Сатиса.

Как-то приехал из Москвы Иоанн, в трапезной увидел незнакомого монаха: молодой, но какой-то изнуренный, с беспокойными вороватыми глазами.

— Как наречён в малом чину?

— Георгием… — робко отозвался чернец и ринулся было на улицу. Иоанн заступил дорогу.

— Я тебя ведь не отпускал. Куда ты так сорвался? Откуда, каким ветром к нам занесло…

Монах пожал худенькими плечами, диковато блеснули его чёрные глаза.

— Ладно, ступай!

— Иосия знает…

Иоанн послал послуха за Иосией, начал тому выговаривать — давно, мало-помалу, накопилось:

— Не честолюбив ли ты, брат? Донесли, что келью срубил втай от меня — я на оное благословения тебе не давал и не даю!

Кирпич мы готовить начали, камень для нового храма — пошто тебе в стороне быти, на ково же твоя-то доля трудов падает — думал о сем? Это — присказка, а сказка такая: принимаешь тут, без меня, пришлых, постригаешь молодь — указ же царский нарушаеши! Не пришлось бы после нам с тобой власы на головах драть, как казённый спрос-то явится. Спрос первый с меня… Думай и не подводи беду под монастырь…

Они сидели у Сатиса, у самой воды — рядом горел маленький нежаркий костерок, лёгкие языки пламени мягко лизали яркую медь начищенного котелка — вода для ухи в нём ещё не закипала.

Иосия чистил рыбу, строго взглянул из-под насупленных бровей на Георгия — тот полулежал на мягком лозняковом прутовье, подкидывал в огонь мелкие сушинки. Уже завечерело, худощавое лицо молодого монаха хорошело от розовых отсветов костра.

Иосия едва не кричал:

— Явился ты к нам без указа о пострижении, безвестно в каких монастырях живал, какое нёс послушание. Чево скрытничаешь? Навязываешься в духовные дети ко мне…

— Грехи бы ты мне отпустил, Иосия… — тоскливо отозвался Георгий.

— Так, велю распахнуться, сказывая как на духу. Не в церкви мы, чужих ушей тут нет — развязывай язык обычным рассказом! Ворчит Иоанн, а он ведь прав, прав…

— Страшна моя подноготная… — жалобно сознался Георгий.

— Не испугаешь — пуганы многим…

Георгий кривил губы, пощипывал молодую русую бородку.

— Что ж ты, молодо-зелено… — Иосия осторожно закладывал куски рыбы в кипящий котёл. Склонился над костерком с растрёпанной пегой бородой, страшный своей глубокой теменью глаз.

— Коли приказуешь— признаюсь. Великое своё прегрешение открою…

— Не душегубство ли?!

— Как можно! А и без тово тошнотой живу…

— Не запирайся!

— В миру был я Григорием Зворыкиным. Родитель мой Абрам Никитич служил в драгунах и убит под Полтавой. Двух годков остался я без отца при матери в сельце Погорелках Костромского уезда. Подрос, тут матушка отдала к дьячку в научение грамоте. Осилил азы, а после пленные шведы испытывали в латыни и арифметике… Я, Иосия, из хорошей фамилии. Один дядя

Кафтырёв — стольник, другой Кафтырёв же — флигель-лейтенант гвардии, а дядя Зворыкин дворецким во дворце его императорского величества…

— Важные дядья! А чево ты в монашество-то кинулся при такой родне?

— Сказать правду — запутался… В двадцать четвёртом году века нынешнева приехал в Москву к дяде Кафтырёву для приискания места. Как-то, в долге, в коротке ли — иду одинова разу в задумчивости по мосту через Москву-реку, вдруг останавливает незнакомец и так-то ласково спрашивает: что, милой, запечалился? Чтой-то вид у тебя нездоров. А я и отозвался, ответил, что точно скорбен: на голове за ухом нарыв вскочил и не сходит, хоша и пользовался аптекой. Машет тот встреченный рукой: аптека не всё долит. Пойдём, я тебя сведу к знатному лекарю…

— И пошёл?

— Затмило голову — пошёл! Пошёл, как тот бычок на вервии! Завернули в какой-то домичек, некий старик — сказался он мне мельником Адмиралтейской волости, тут же нарыв у меня посмотрел, прощупал, присыпал оный некоей толчёной травкой, сверху чистую тряпицу приложил и — скажи, спустя неделю стала оседать моя шишка, а после и вовсе осела!

— Какой лекарь! — Иосия присел рядом, рассказ Георгия захватил его, и он уже торопил: — Ну, дале, дале!

— Пошёл благодарить. Старик спрашивает: здешний ли я. Признался: костромской, приискиваю хлебное место. Старик не сразу стал заманивать: «А хошь, чтоб к тебе люди были добры, судьбу твою устроили?» «Как, говорю, не хотеть такова, очень даже желательно».

— И что же?

— Дал мне старик каких-то кореньев носить на груди. Тут дядя Кафтырёв сыскал мне место у графа Сантия, что служил по герольдии — гербы городам являл. Собрался он в Петербург и повелел мне собираться с ним. Меня, как дёрнуло: надой зайти к старику! Зашёл, сказываю, что коренья ево без пользы ношу. Усмехнулся: закопай ты их тут! и — наставляет: «Как явишься в Петербург, то пойди ночью на перекрестье дорог и скажи: хочу идти к немчину Вейцу. Тут явятся к тебе двое и отведут. Вейц-то и сделает, что захочешь».

Иосия встал, пригляделся к котлу, снял своей большой ложкой поднявшуюся пену в ухе и подложил в костерок несколько сосновых шишек.

— Ну-ну!

— Через день-два там, в Петербурге, явился я ночью на

перекрестье дорог и сказал, что велено стариком. И тотчас, как из-под земли выросли двое и повели меня каким-то садом. Ввели в некий дом, в комнату и оставили перед Вейцем. Горели свечи… Поклонился я… Рассказал о московском старике, что службу ищу, пожить хочется во всякое удовольствие… Вейц ответил, что готов он устроить мне удовольствия, только надо отречься от Христа.

— Вот те на! — изумился Иосия, он даже о надзоре за ухой забыл — стоял перед костерком с открытым ртом. — Что же ты?!

— Испугался! Хотел тут же убежать, да Вейц ухватил за руку и так-то ласково мне: «Чево испугался… многие мной удоволены…» И тут же передал мешочек с серебряным замочком. Поглядывает на меня. Он молчит вроде, а я слышу его голос: «Тут тысяча червонцев — трать на что похочешь — битте!» А дальше… Пока я держал тот мешочек в руках, Вейц развязал у меня галстух и неистово сорвал с шеи серебряный крест, забрал его себе, а мне велел положить деньги в карман.

— Как же ты мо-ог… Изъяснись!

— А вот так… Как у меня вырвалось, говорю: «Быть уж так, стану жить на этом свете по твоей воле, чтоб было за что в грядущем веке муку терпеть». Ну, после этова Вейц велел мне проговорить слова отречения от Христа и покаяния и готовность следовать сатане… Подсунул мне бумагу, и я написал клятву и подписал под ней свое имя кровью, которую Вейц пустил из правой руки моей большой булавкой. Тут же Вейц запретил креститься, читать молитвы, потом позвал во внутренний покой, принесли вина, и он меня поздравлял. Пили много, до беспамятства: я и ночевал у Вейца. С тех пор в церковь я не ходил, крестного знамения на себя не накладывал — являлся к немчину, брал денег сколь хотел и тратил их на распутство…

— Злочастный! Эк ты ему, вражине, угодил! Да-а… Не зря молвится: грех ходит не по лесу, а по людям…

Монахи помолчали. Где-то у Сатиса, у Саровы ли тревожно кричал коростель. Костёр садился — постреливал по сторонам мелкими угольками.

Георгий, задумчиво глядя на пепельные окрайки костра, продолжал:

— Дале боле! Вейц как-то толмачит: «Вот если бы ты моей воле последовал несумнительно — я бы приставил к тебе двух бесов в услужение». Последовал!.. И, как бывало потребую — являются в человечьем обличье и прислуживают: приводят людей, лошадей. Только лошадей я оставлял не доезжая до дома, где жил. Считал, что лошади-то сиречь бесы. Вейца бесы называли князем.

— Ты что, не помнил о себе, как уж так предаться дьяволу? —

ахал Иосия.

— Так уж… Теперь вот дивись. Сказано же: коготок увяз — всей птичке пропасть! Но вот однажды пригласил меня хозяин дома, где жил, на обед. Зашёл, сидим, и среди прочево, разговор о священных предметах. Так горячо хозяин говорил! И будто кто разбудил меня: совесть, ужас поднялись во мне — душа вскинулась: что же, окаянный, наделал! В святки двадцать пятого года отпросился я у графа Сантия в родную деревню. Гостили мы с матерью у дяди Кафтырёва до масленой недели… Во дни Великого поста я исповедался в своём селе, объявил священнику о своём грехе страшном и решил уйти в монастырь. Купил платье чернеца и, не сказавши матери, поехал на богомолье в Киев…

— Чево же матери-то не признался, пошто притаил своё. В чём помешка была?!

— Да тоже, в каком-то ещё затмении… Ну, доехал до Калуги, тут встретился с неким иеромонахом Иоанном из Богородичной пустыни, что близ Путивля, поехали вместе. И надо же: так я что-то занемог, распался, что находился почти при смерти. Тут и попросил Иоанна постричь меня в монашеский чин. Нарёк меня Георгием, это уже в Севске… А ведь отлежался, поднялся с постели и стал ходить по монастырям — на житье просился. Но нигде не принимали: паспорта нет, указа о пострижении в монахи нет…

— Поприжал царский указ таких, как ты… Теперь строже некуда!

— Это меня и испугало. В марте двадцать восьмого явился в Московскую декастерию и слёзно просился или во владимирскую Флорищеву пустынь, или уж сюда, к вам. Дали мне указ во Флоришеву, но и года не прожил — упросил строителя Иерофея отпустить в Саров. Ты меня и принял, пригрел…

Иосия пробовал уху, обжигался.

— Кажись, готова. Глазыньки рыбьи повылазили — верный знак, что ушица на стол просится. Неси хлеб из кельи. И — лук, лук!

После ужина, молча посидели ещё у Сатиса — очень уж хорошим устоялся этот долгий и тихий вечер.

Затянувшееся молчание первым прервал Иосия:

— Ладно, приму тебя к покаянию.

— И разрешительную грамоту напиши!

— Напишу. А ты пока о грехах своих сокрушайся. И вот что: рабства не приемлю, собачьей службы тож. Одначе держись меня, покорствуй мне — хуже не будет! Помышляю я о днях предбудущих… Как не поживётся мне тут, не сумею подняться — пойдёшь со мной?

— Куда иголка, туда и нитка…

И Георгий диковато хохотнул в тёплую сумеречь наступающей ночи…Надсадно скрипел неподалеку, у Сатиса, неугомонный коростель.

6.

Не впервой то откладывал, то приступал да вяло Иоанн к монахам с этим разговором, и вот сегодня-таки собрал всех в трапезную храма.

Чернецы знали, конечно, о чём их игумен поведёт речь, жалели его и потому, наверное, громко поднимали свои похвалы:

— Благоустроена обитель!

— Стала яко крин посреди терния пустынного!

— Землёй, всеми дарами Божьими удоволена…

— А кто боле всех радел?! — как-то радостно спросил у собравшихся Иосия, вскидывая чёрные крылья рукавов своей рясы. Монах весел, втайне он давно ждал этого дня. Имелись на это у него свои причины.

— Нас уже тридцать трудников сошлось! — добавил неторопливый в разговорах Ефрем.

— Я тут хомута тяжкова не спознал, обид не скопил, — открылся молодой Георгий. — Славно тут.

Иоанн поднял руки, попросил тишины. Смущённый похвалами, заговорил:

— Эка вы, братия, лесть греховную распустили. Уж кому-кому а монахам надлежит держать её в укороте.

Чернецы на пристенных лавках трапезной не унимались, добавляли к похвальбе: братских келий в пустыне довольно, три амбара недавно подняты, две кузни в работе, больничную келию завели…

Иоанн с хорошим удивлением поглядывал на братию, радовался: сейчас единомысленны, всегда бы так, а то ведь случаются и в обителях всякие несговорки и разногласия, да и распри. Бывает, что и устав монастырский попирается иными — многая бывает! Но в его-то пустыни, кажется, непотребству ходу не давалось — едины чернецы, а к нему самому вроде бы неложная приязненность, хоша всем и каждому не всегда угодишь.

— Ну-ну, остепенись, братия! Долго держать не стану. Я о неотложном. Мне за шестьдесят — устаю почасту, недужества меня не обходят стороной. Да, всё чаще приступают хвори и,

стало быть, обители всякие упущения и нестроения грозят. А теперь, когда мы каменный храм ставить вознамерились, когда особенно нам согласие надобно — пастырю надлежит быть здорову. Отпустите, братия, меня на покой. Земно кланяюсь за все труды вам. Упрежу: станете и впредь блюсти наш устав, а он у нас строг — всё исполнится во Славу Всевышнева и ко благу общему.

Монахи зашевелились на лавках, закричали:

— Не покидай, авва!

— Не гнушайся, святой отец! С тобой мы не обнищали благодатью.

— Не запирайся, брате, от нас…

Пока шумели — тревожился: как объявить свое мнение. Назвать преемника легко — обдумал, решился. Но сим объявлением затрагивается другой — Иосия! В одиннадцатом году в Москве, просили принять в пустынь иеродиакона Симоновского монастыря сёстры царя Петра — Мария и Феодосия Алексеевны. Принял Иосию… Через пять лет его, грамотного, усердного во всём избрали казначеем — вторым лицом в обители. Теперь вот осень тридцать первого. И ждёт Иосия, что его назовут игуменом. Противится душа этому! Знает он, Иоанн, уже не раз уверялся: коль скоро не лежит душа к чему-либо или к иному человеку — многожды обмысли делать ли задуманное, ласкать ли приязнию названного. Есть, есть в Иосии червоточина — открывалась она не раз и не по малостям, особливо в последнее время. Опасно отдавать власть тому, кто тешит себя желанной или обретаемой властью! Ведь Иосия в помыслах уже правящий. У него, кстати, есть связи и в Москве, в Синодальной конторе…

Иоанн едва водворил тишину:

— Эка вы, братия, ласкатели и скорые угодники — негоже! Говорливые… Прошу, не невольте меня. И прошу вас принять строителем возлюбленнова брата нашева — Дорофея! Все эти годы он рядом со мной, согласник. В трудах усерден — часто в потном запряге. Молитвенник, разумом не беден, во всех наших заботах и делах поспешен и упорист. Много за ним дел во славу Божью и монашескую…

Феолог первым подал голос:

— От налетных татей боле других знамен на себя принял!

— Буди по-твоему, святой отче!

— Разумом не обижен, это не-ет…

— Добре! Несогласных не вижу… И вот что: давайте, братия, возьмём у себя за обычье: строителей не искать на стороне, а выбирать из своих. Должен избираемый тут, на глазах у всех, долголетием трудов своих показать себя. Самый последний пусть

заслужит право ходить первым и водить других!

— Под твоим надзором, авва, легко ходилось… А теперь вот как…

Дорофей приуныл, тихо отозвался на предложение Иоанна:

— Господи, опять Ты меня испытуеши…

— Все мы на испытании у Всевышнева, на всех нас ярем Его. — Иоанн заговорил весело: — Подь сюда, Дорофеюшка!

Солнце клонилось к лесу, вливалось в окна — вспыхнула в трапезной позолота окладов икон на столпах, что поддерживали поперечные потолочины, на тёплых стенах церкви, на чистом полу лежали его тёплые пятна.

Дорофей подошёл, встал рядом, скорее опечаленный, чем смущённый.

Иоанн поднял вопрошающий голос:

— Принимаете, братья?

Монахи одобрительно зашумели.

— Ну, быть по сему!

Дорофей кланялся и благодарил.

— Веди наш духовный корабль, Дорофей!

— И Господь те встречу!

…Последним выходил из трапезной Иосия. Горбился больше обычного, ни на кого не смотрел.

Братский приговор направили в Синод.

Невдолге пришёл указ, а в нём добрый совет:

«…понеже оная пустынь построена прежним строителем Иоанном, в которой он и был многие годы строителем и от того строительства отказался, чувствуя в себе изнеможение, а порока на нем никакого не показуется, того ради новоопределенному строителю Дорофею, для лучшего по правилам святым и по указам исполнения, всякое в той пустыни правление иметь со оным строителем Иоанном согласие».

В присланном указе иеросхимонаху Иоанну поведено оставаться первоначальником, а Дорофею — строителем.

После повечерия вроде бы и по нужде в домок Иоанна пришёл Дорофей. Едва ли не с порога заговорил:

— Надысь, приехал муромец-мастер, завтра бы часы на колокольне укрепить. Прошу подсобников.

— Теперь ты для всех указ! На тебе распоряд…

— Ты же в боровину монахов определил — лес ронить.

Иоанн развёл руками.

— Моя провинка! Но ты куда-то давеча сокрылся.

— На мельницу ездил.

— Ладно! Что дверной косяк подпираеши. Проходи, садись. Муромца накормили?

— Удоволили. Так, я придам монахов к муромцу?

— Понеже надобно — посылай сколь надо.

…Сидели рядышком, долго молчали. Иоанн догадался: Дорофей пришёл не только с заботой о часах.

— Что, брате, долит?

— Так ведь не всякий камень во главу угла дома кладут…

— Ах, ты об этом… Ты радуйся, что Господь тебя испытует на новом ему служении. Вот с этой радостью и трудись. Я, прежде в управлении Введенским в Арзамасе ходил — тоже зело мучился, сам в себя не верил. Но сказал мне старец: любовью всё управиши. Тако! Ну, ступай, бумагу вот мараю…

Вечер тянулся долго, как и многие вечера для монашествующих. Вспомнил, уже как лёг, о приехавшем часовом мастере из Мурома и тяжело, по-стариковски завздыхал: вот и часы подоспели… Мои остатние дни и годочки считать. Сколько же их осталось?..

Глава десятая

1.

Строевого леса у саровцев хватало, и жилые покои строителя поставили не скупо. Просторные сени, прихожая со стенными деревянными спицами для одежды, братская с лавками — частенько монахи собираются тут: монастырь — это же и хозяйство, всякого рода нужды обговаривать должно. А потом и разные пришлые, приезжие в пустынь, все они к игумену со своими нуждами… На оголовке приоконной лавки постоянно стоял жбан со свежим квасом и деревянным ковшом-утицей. Второй покой — личный, его, про себя, Иоанн называл книжным. У самого окна большой рабочий стол, рядом поставец для бумаг, у боковины печи широкая лежанка, а по стенам полки с книгами. Недавно Иоанн обрёл «Феатрон, или позор исторический с описанием повсюдной истории».[56] Занятно немец написал книжицу — жизнь земную зрелищем, позором объявил. Вот так! Остаётся протестанту только Бога винить в «позоре жизни»… Да и винит скрытно! Вот и такие писания появились на Руси святой, и понятно зачем они продаются — расслаблять православный ум! И еще один малый спальный покой в домике игумена — нары, застланные рогозницей и покрытые серой арзамасской кошомкой. Во всех покойцах, в красных углах — тябла и киоты с иконами, теплый свет негасимых лампад. Стены в домке строителя не оштукатурены, полы не крашены — сухо в жилье, чисто и строго.

…Пришёл послух, принес в пустой жбан просимого квасу, налил в ковш и тихо вышел. Иоанн выпил, прошёл в рабочую комнату и присел к столу. В добром настрое перебирал залежавшиеся на столе бумаги — надо определить, что положить в архивную шкапу ризницы храма, что отнести в корзину к печи.

Пригляделся к очередной бумаге — своё писание братии из Москвы!

Помнится, в прошлом двадцать седьмом году, когда в Москве обретался, случилось — известился от Дорофея, что Иосия лежит в последнем изнеможении, монахи не чают видеть его живым.

Первым побуждением было тотчас собраться да погнать лошадку в Саров, но уехать — это бросить дела: в Вотчинной коллегии он давал обязательные пояснения о каждой дарственной, о каждой купчей и отступной на землю. Вот тогда и

написал чернецам свою присылку, больше-то в слабой надежде, что оклемается, отлежится Иосия. К нему и обращался с открытой душой.

Иоанн чуть отодвинулся от стола — солнце било через окно так ярко, что заслезились глаза. Отложил чётки, читал несколько удивлённый той давней своей душевной расслабленностью:

«Получили мы от вас письмо о крайне болезни Иосии, которая премногим сокрушением сердце мое уязвила…

О, кто не познает зде на мне грешном праведного гнева Божия… О сыне мой, сыне дражайший, сыне Иосие, души моей грешной утешение, немощи моей и старости твердый жезл, безмерным моим душевным скорбям и печалям утешение, трудам моим покой и крепкое подтверждение. Не терпит бо ныне во мне дух мой и нутро мое твоего от меня разлучения. И кто ныне даст мне крыле, да полечу и в час сей к тебе предстану и увидев персональне, дабы хотя обрел тя, облобызал тя, хотя оный един час духовно: но зде ради трудного и зелопродолженного и прискорбленного мне настоящего пути, не видев тя, попремногу жалостно с тобою приемлю разлучение. Но вы, дражайшие и возлюбленные мои отцы и братия — аще по воле Божией за мои прешгрешения не благоволит Господь его ныне в живых увидеть — вы отец Дорофей и вся братия, до нашего к вам в монастырь прибытия тела его не погребайте, но по отпетии в церкви над телом его панихиды, хотя где в земле у церкви, но в знаменитом месте и пристройном ископайте пещеру, из которой возможно б гроб паки вынуть, понеже аще благоволит Бог в обитель нам возвратиться, то купно предадим погребению тело его». [57]

Выправился тогда Иосия. Вернулся Иоанн из Москвы и со слезою обнял его: хвала Всевышнему!

Давно ли братски любил, верил безоглядно и доверял многое. А ныне ты, Иосия, первая боль души, заноза саднящая. Не чрезмерная ли любовь братская тебя ложно подняла в своих глазах и ты, к прискорбию, покривился, вот, сразу-то необъемлет ум твоего падения…

Не сразу, не-ет, не вдруг стал замечать притворную угодливость и то, что Иосия не по-братски отзывается о том, о другом… Не так давно надерзил едва ли не намеренно.

Вчера Ефрем с устным челобитьем. За тридцать чернецу — красив, статен: ему бы — книгочею, знатоку греческого языка, сведущему в музыке, пении в ином месте славить Бога дарами, коими награждён свыше.

Иоанн забыл про Иосию…

Этот Ефрем редкой находкой для пустыни. Так искусно отправляет с монахами столповое пение Знаменского распева, так

согласно, так стройно поют голосистые чернецы. Побывал недавно игумен Санаксарского монастыря, послушал службу, да и молвил в восхищении: «Всякий, всякий и сторонний в храме вашем по псаломному изречению почувствует, яко благ Господь и яко несть лишения боящимся Его…»

Иоанн Ефрема особо выделял. Тульский, из купеческой семьи, учён довольно. Рукоположен в иеромонахи в Знаменском монастыре Нижегородской губернии, в Сарове с двадцать седьмого года. Теперь вот он в клиросном послушании, да по просьбе Иоанна переписывает редкие книги для пустыни.

— Ну, сказывай, брате, раз уж приспичило тебе!

— Авва, не вмени во грех… Нестроение, неукладное у нас вкореняется!

— Оле! — признался Иоанн, прохаживаясь по покою. — Ты ведь о разброде стада… Виноват! Столько лет я землю искал, то в уездах, то в Москве, Петербурге… Без пастуха, без догляда зоркова, вседневнова как порухе не быть!

— Я не по злобе или там какой зависти… — Ефрем волновался. — Однако Иосия опасно рассупонился. Как ты тут, в пустыни, он перед тобой состояния льстивова, слово ево гладко, поклоны низки. А как съедешь со двора — хульным словом вослед, так и сяк тебя оболживит…

— Ужели?! Вижу, что уклончив стал, слышу — от братии все в сторону норовит…

— Не-ет, кой-ково шибко к себе льстиво же тянет. Всё это отто-во, что ты Дорофея властию наградил. Алчет он сам противу других подняться. Попустил ты ему, он и обык: что хочу, то и ворочу.

— Давно мне душа вещала… Всё ждал, что умнеть начнёт, ан не вышло. А Дорофея — Дорофея вы же вознесли обще!

— Вразумить надо Иосию! Пришлые у нас, молодые, не все ещё окрепли в общежительстве…

— Спасибо, Ефрем. Ступай!

На другой день, сразу после утрени, Иоанн позвал Иосию к себе, и едва тот вошёл в покой, начал этот мучительный для них обоих разговор:

— Не раз, Иосия, говорил я тебе походя, упреждал, просил… Ты что, брате, забыл, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят… Я ли к тебе не благоволил… Знать, напрасно: много ты о себе возомнил. Повторюсь: за моей спиной принимал в пустынь и постригад без должной оглядки. Зачем такова молодова Боголепа постриг — это же противу царского указу, а оный гласит: до тридцати годов не постригать!

Иосия сразу начал дерзить:

— Что мне указ! Мне тверже то, что в Евангелии написано. А там сказано: грядущий ко мне не изжену вон!

Иоанн едва усидел за столом.

— Иосия! Мы живём не в евангельские, и не в святой Руси времена… Есть — Богово, есть и кесарево. А как грядут в пустыню с розыском, что сейчас наблюдаем в других обителях… Ты ж без паспортов напринимал. Этот Георгий твой… Без всяких бумаг! Какой-то он скользкий, право, не чисто у него на душе. Теперь о главизне.

— Какая ещё главизна? — потянул губы в нехорошей улыбке Иосия.

— Опять же повторюсь, преж сказывал… Не давал тебе благословения, а ты келью вдали поставил, прикормил-приголубил новоприбылых и, слышу, свой монастырек в голове лелеешь — это уж ревность не по разуму! Хитроумию твоему потачки не дам, скажу прямо: я тут смолоду, многих трудов мне стоило, по смотрению Божию, сию пустынь населить, уставом скрепить. Помни, землю императрица закрепила за Саровской пустынью и — этим все сказано!

Иосия сидел на постенной лавке, что ближе к порогу, уже явно злой. Лицо его занялось красными пятнами.

— Словно кошка ты лапой медведя задиравши… А как, обратясь, медведь давнёт тебя, так ведь и духа твоево не будет!

Иоанн поднялся-таки из-за стола, не стерпел угрозы.

— Да уж не ты ли медведем, Иосия?.. Э-э, вижу крепко тебя бес попутал… Ступай и одумайся, поторопись в общую упрягу с братией. Не мне — Господу послужи со смирением! И знай: я ещё в силах и не один, а с верой в Господа — осилишь ли?!

Иосия как-то разом сник, но косящие глаза его посверкивали. Он встал и вышел, резко хлопнут дверью.

Вскоре, не прощаясь, Иосия ушёл из пустыни — увёл своих сторонников. Невдолге прошёл слух, что доброхоты из Синодальной конторы определили его строителем в запустевшую Берлюковскую пустынь, что в сорока верстах от Москвы. Туда же отпросились у Иоанна монахи Сильвестр и Иаков.

Успокоилось в Саровской. Остались со своим первоначальником те, кто смиренно служил Богу, а не своим жалким прихотям.

2.

Что-то плохо спалось, вот и встал рано и пошёл к церкви.

Звонил к утрени Иоанн частенько — колокольня, высота, как и встарь, неизменно звали к себе.

Разобрал сплетение верёвок, потянул увесистый язык большого колокола, и чуткая медь тотчас отозвалась:

Боу-у-ум…

Боу-у-ум…

Басовый погуд — благая весть, зовущая в храм, мягко полилась сверху на монашеские кельи, на тёмно-зелёную утреннюю боровину…

Встречать утро на колокольне, когда весь видимый мир открывается перед тобой в своём прекрасном таинстве рождения нового дня, когда душа радостно емлет это таинство и особо возвышается — это желание живо в нём! Высота колокольни — начало безмерной высоты духа, и так всегда сладостно ощущать это возвышение над всем земным, но прежде над самим собой. Скоро, скоро уж спадёт с него бренная плоть и суть — душа его легко воспарит в горние пределы…

Посидел на паперти, поджидая братию. Вспомнил слова священномученика Киприана. Поучал тот: должно молиться и утром, дабы утренним молением прославить воскресение Господне… А Дух Святой предвозвестил в псалмах: «Заутра услышу глас мой: заутра предстану Ти, и узришь мя».

После трапезы в своих покоях писал в село Ковресь ближнего Кадомского уезда ответ на присылку княгини Марьи Долгоруковой. Беда пала на княгиню, и нуждалась она в духовной поддержке. Княжеская чета — вкладчики пустыни — каждый год присылали по пятидесяти четвертей ржи и ярового хлеба. Кроме того, масло и рыбу. Монахи не оставались в долгу. Недавно передали княгине сруб для сельской церкви, а она прислала парсуну юродивого Тимофея Архиповича, которого так почитала царица Прасковья Фёдоровна, урожденная Салтыкова. Дошло до слуха Иоанна, что иные его монахи чтят юродивого за святого, а дело сие запретное — не причтён же к числу святых! Надо внушить причастным: никакого самочинства, никакого особого почитания!

Письмо княгине так и не написал: пришёл Георгий.

Вот и этот занозой у первоначальника.

…В конце августа прошлого тридцать второго года в монастыри российские Синод отправил строгий указ, а в нём говорилось о немедленной переписи всех наличных монахов, о закреплении их за той обителью, где застал их оный указ.

Записал Иоанн новоприбылых — тех, кого Иосия постригал и принимал уже монахами, и отослал список своих чернецов в Синод. И ладно, как сразу положат этот список пылиться с

прочими бумагами. А как некий служка особо приглядится к именам новоприбылых, к той строке, где тот же Георгий вписан. Указа о пострижении нет, где, в какой обители доселе обретался — и ничего этого нет — почему?!

Как вот и тут без оглядки… То царь Пётр наступал на священство и монастыри, а теперь и его племянница на троне тоже с утеснениями по указке того же любимца Петра — Покоповича. Да-а… Какие годы пошли, сколь поспешных, неразумных перемен во всём. Старое бытование рушится, а оно ведь временем, обычаем утверждалось к вящей пользе народной…

Мучается Георгий — видно. Все туги души на лице его. Какой-то он несобранный…

— Ты что севодня плохо трапезовал? Такой ещё молодший, а хлебушко жуешь лениво.

— Что-то нутро не алчет.

— Эт-то я вижу, извелся ты весь. Не зову тебя к исповеди — есть у тебя отец духовный, жаль, сбежал он от нас. Всё же, сын мой, должен я знать о каждом пришедшем в пустынь нашу, хотя теперь это спрос с Дорофея…

Они вышли из покоя первоначальника, присели на чистом крылечке — из-под рясы Георгия выглядывали переда его новых красивых сапог, Иоанн поймал себя на мысли, что шили обувку подмосковные кимряки.

— Ты далеко-то не отседай, брат. Гнездись поближе. Вот так!

Они так хорошо смотрелись — старый монах с добрыми, глубоко запавшими светлыми глазами из-под седых прямых бровей и другой — красивый в своей молодости, но с беспокойными болевыми глазами. Чёрная ряса молодого не скрывала его худобы.

Ефрем ещё издали увидел хорошо сидящих братьев и не подошёл, не прервал разговора, а была нужда поговорить с Иоанном.

Первоначальник сходил в свои покои, вернулся с новыми кожаными чётками — делал сам.

— Это тебе памятью от меня.

Георгий потеплел глазами, потянулся к руке Иоанна.

— Ну-ну… Слушаю, ты ведь не просто так пришёл.

— Прежде просил Иосию, да утёк он от нас… Указа у меня о пострижении в монашеский чин нет, нет других бумаг… В дороге меня постриг священник Иоанн — едва не при смерти я лежал… И потом грехи на мне тяжкие…

— А может ты напраслину на себя возводишь? Знавал я одного чернеца молодого же, как убивался болезный, а после узналось, что его грех с лесной орех…

— За мной много всякова.

— Повествуй!

Георгий покусывал тонкие губы под светлыми усиками, короткая бородка его красиво вилась.

— Я ведь живал при дворе в Москве и Петербурге. Но по кончине царя Петра скрылся.

— Что так?

— Сошёлся по молодости с людьми, кои в своём кружке кричали о нарушении передачи престола, завещанного Петром. Имел я список с указа о преемстве воцарения… Ведь по указу-то царя не исполнено…

— Где список с указа?

— Иосии отдал.

— А тот что?

— Велел объявить Дорофею, тебя-то авва, в пустыни не было.

— А Дорофей?

— Сказал: важности в бумаге мало, можно и бросить.

Помолчали. Георгий разохотился, рассказал о том, как его дядья Кафтырёвы, а один из них служил дворецким у Петра-императора, устроили «прожект», и стал он жить при дворе. Там и наслушался о несчастном положении Елизаветы Петровны: безвинно лишена она престола. А всё по вине немцев, которые повязали императрицу крепче всяких пелён и привели её к трону…

Не ожидал Иоанн услышать от Георгия и ещё одно неожиданное признание.

— Что меня ещё мучает… Бесы искушают! Бывает, бьют, давят. А то в воздухе, аки я пуховиком каким, и они меня удручают…

Иоанн руками всплеснул.

— Да ладно ли у тебя с головой, сын мой? А может измышляешь бредни… С каким умыслом?! Неча со мной в эти игры играть, стар уж я для них. Да, милой, трудна будет твоя лествица к чистоте монашеской жизни. Разумею… Но на какого молодца оплох не живёт! Ладно, поеду в Москву, заберу тебя с собой, мы там сходим кой к кому и управим твоё, добудем указ о твоём монашеском чине. Слушайся Дорофея, других старших: в добром послушании и есть свобода человеческая, только понять это надо. Ну, ходи веселей — уныние сиречь грех!

Георгий ушёл.

Иоанн остался на крыльце под широким навесным козырьком. Оглядел пустынь: храм на горушке, он тепло уже загорел на солнце, а вот острожная ограда с внутренней стороны что-то скоро почернела… Плотно стояли крепко срубленные

монашеские келли, чуток на отшибе — амбары, скотные дворы, поварня — давно обжитое, породнелое место… Помечталось о каменном храме — высоком, белом. Будет он устремлён своими главами ввысь, поднимется выше боровины, белый, так хорошо выступит на зелёной полосе леса. А потом явится миру колокольня — отдельно, выше церкви… И колокола — на всю округу звучные колокола…

Не на высоте ли той воображаемой колокольни объявились в голове высокой тревоги мысли о прошлом, о настоящем. Как зримо, как круто за его только шестьдесят с лишним лет изменилось всё в государстве Российском. Давно ли царей простой мужик волен был называть на «ты», давно ли цари запросто показывались московскому люду. Кончились Рюриковичи и какая смута пережита — поляки и шведы терзали Святую Русь. Теперь вот кончилась мужская линия Романовых и опять нестроение там, вверху. Как-то неожиданно скончался последний отпрыск Романовых юный Пётр Алексеевич. Ну, простудился, а где, он кого заразился оспой? Не умышленно ли кто сгубил отрока — так шепчутся в народе, вспоминая, что содержался он в последнее время у немца. Вот поневоле и вспомнишь слова дьякона из Московского Новоспасского монастыря. Осторожничал дьякон, только наедине жалковал: Бирон взял всю силу: царица у него на коротком поводу, без его воли она ни шагу. И доколе терпеть будем чужаков?!

Невольно вздыхалось старому монаху…

3.

Был в Сарове Иосия — Георгий ещё держался наставлениями своего духовного отца. Но как принял Иосия Берлюковскую пустынь — растерялся молодой монах и в конце года ушёл в Москву. Ему повезло. После он рассказывал, что родич Кафтырёв устроил племянника помощником духовника императрицы Троице-Сергиева монастыря Варлаама. Но в Москве Георгий пожил недолго, неспокойная душа его снова погнала в тишину саровских лесов.

В самом начале 1733 года Иоанн, как и обещал, взял Георгия в первопрестольную. Начались хождения молодого монаха по монастырям. В них и наслушался он о строгости взысканий с неправильно постриженных в монашество или самовольно перешедших в другие обители и в испуге, в великом смятении явился 13 декабря в Синодальную контору с доносом на самого

себя!

Конторой правил архиепископом Ростовский Иоаким. Вот ему-то и подал Георгий донос, в коем выставил себя замученным совестью грешником, отступником от христианства и просил о принятии его покаяния и об умирении его души архипастырским наставлением.

Иоаким отослал Георгия в Московскую же Синодальную канцелярию на расспрос, где от чернеца потребовали уже полного показания.[58]

Георгий сидел перед синодальным с виду безучастным к рассказу, но с быстрыми и внимательными глазами на зобастом лице.

— Ты там Иоакиму такие огороды нагородил… Позабавь-ка меня своим глупословием!

И Георгий повторил тот свой рассказ о грехопадении, который прежде он поведал у Сатиса Иосию.

— Одначе ты забавник! — чиновный сидел за столом, подперев волосатую голову пухлой ладонью. Простец, а наворотил такой несусветицы, не часто слышим такова. Не пустые ли это вымыслы? Теперь давай подноготную![59]

Ласковый, смешливый голос синодального успокоил молодого монаха, и он охотно продолжал:

— Отвернулся я от Вейца, пришёл в Саровскую пустынь, там и нёс послушание. Думал, что отстали от меня бесы, только не-ет! Вспомнил, что Вейц сулил отправить меня в Италию — бросился в Москву. А Вейц тут как тут: увидел я ево за знакомым окном в знакомом доме. С ним увиделись и его бесы, что мне прислуживали в Петербурге. Стал Вейц прельщать меня льстивыми словами, и я опять было начал склоняться, но просил способ отправить меня в Италию, а нет, так ввёл бы меня он в почётную монашескую должность. Опять эти черти потребовали, чтобы я отрекся от Христа[60]. Я и согласился и хотел кощунственно попрать икону, но тут явился некий старец и возбранил. Что тут бесы подняли — ай-яй! И давили, и душили меня… Кой-как я потом опамятовался… А открыл всё это я отцу духовному Иосии, что ныне строителем в Берлюковской. Теперь же приехал с иеросхимонахом Иоанном. Прошу скончать дни своя в Саровской пустыни в покаянии вседневном…

Чиновный наконец-то встал из-за стола с лицом недоуменным, скучным. Озабоченно сказал:

— Тёмнодушный ты скрытень… Я тебя задержу! Не спроста ты на себя наговариваешь.

Георгия увёл расторопный служитель. Он тут же вернулся.

— Коли розыск, какое же положить начало?

Синодальный уже решился:

— Возьми завтра двух-трёх дюжих молодцев и этого гостеньку в рясе. Пусть он поведёт за город и сыщет тово старика-мельника из Адмиралтейской волости, что давал ему некое зелье из корений. Мешочек оных мних закопал — сыщите упрятку. После со стариком сюда под строгий караул!

Следующим днём Георгий повёл служивых вроде бы на то самое место, где некогда повстречался он со стариком и где закопал мешочек со снадобьем. Проходили едва ли не целый день в окрестностях Москвы, но не опознал чернец ни того маленького домочка мельника, ни самого старика, ни места, где зарыл коренья.

На третий день синодальный чин велел привести Георгия.

— Ты что же нам головы морочишь, а?! — грозно потянул он слова. — Отправлю я тебя в камору, может, после скажешь ты что за вральством… А нет ли за тобой ещё каких плутней?! Ты об этом Вейце ещё ни кому не рассказывал?

— Только Иосии. А после и на бумаге ему всё показал…

— Знаю! — небрежно бросил чиновник. — Где ж бумага-то?

Георгий не успел догадаться, что его завели в словесную ловушку.

— Так, под престолом в Саровской пустыни…

— Что у тебя ещё греховного, чему свидетель? Говори без запину, раскайся, сниму с тя грехи — душу облегчишь…

Георгий менее всего думал о том, что признания сгубят его. Выслушают его откровения — свои же духовные, простят ему прегрешения и отпустят с миром…

— Ещё принёс записку… Писал-то её теперь берлюковский монах Сильвестр. А в оной изложено, как отправлять церковное правило… После святых угодников, коим полагается по одному или по два поклона, велено класть поклон и святому угоднику Божию — Тимофею Архиповичу…

Синодальный настрожился, даже пухлую свою ладонь к уху приложил.

— Не ведаю о таком святом!

— Да как же! В Саровской пустыни видел образ Тимофея, написанный на бумаге, с венцом! Блаженный провидец, всей Москве знаемый. Проживал на дворе у прежней царицы Прасковьи. Преставился в недавнем тридцать первом годе. В Чудовом монастыре положен. Там, на парсуне у правой стороны алтаря он сам изображён во гробе, а рядом с оным изображена стоящей ныне здравствующая императрица Анна Иоанновна…

— Так-то так, но ведь не свят Тимофей! Кто же наущал самочинно почитать тово Архиповича святым?!

— Иосия…

— Кто клал поклоны Тимофею?

— Боголеп! Он теперь тож в Берлюковской пустыни. На шейных крестах, в воске, власы Тимофея Архиповича вмале носили…

— Довольно на сей день! Отпускаю тебя, Георгий, покамест, со двора на все четыре, но из Москвы ни шагу! Не то сыщем и беды насвищем… А ты где же на постое-то?

— Так, на подворье Новоспасскова!

Георгий вышел на улицу в самом добром настрое. Он излился и перед церковными властями — снял с души тугу. Он и без Иоанна получит указ на монашеский чин, всё содеется куда с добром!

4.

В Синодальной канцелярии служители, видно, подобрались говорливые, и потому тем же берлюковцам скоро открылось, что Георгий приходил с покаянием.

Иосия перепугался. И было отчего. Только вот строителем определён — сбылось давнее тайное желание, и на тебе! Этот Георгий, этот измышлятель слишком уж о многом наслышан, да и сам по себе опасен, говорлив, простак, не в меру.

В январскую стужу, сидели с Сильвестром в жарко натопленной келье, и строитель, явно в расстройстве, ширкал сухими ладонями — никак не мог успокоиться.

А Сильвестр будто нарочи пугал:.

— Кабы этот болтун не открыл о нас чево-нибудь годнова к истязанию в пытошных горницах…

— Житье наше… — Иосия больше себе жалобился, вспоминал ходячее по народу: теперь ничево нет легче, как попасть в Тайную и нет ничево трудней, как вырваться из неё!

И начала сухотить, давить тоска: понимал Иосия, в какое время живёт. Всюду шептуны-изветчики зырят кого бы поволочь в застенок.

Сколько ни размышлял, а ничего твёрдого не придумал дурманной теперь головой Иосия, как самому пойти с доносом на Георгия. Призабыл, знать, не провидел монах, что ежели чужую бороду рвать, то и свою подставлять…

Второй раз сели с Сильвестром рядком на лавку, опять кумекали, как же быть? Теперь Иосия поднимал себя поносными на Георгия словами:

— Помню, болтал он в Сарове, будто бы хотел своими руками извести царя Петра…

— Каков зло-о-дей! Чево же лучше… — поди с этим, — едва не возовопил Сильвестр. — Да за это помышление шкуру ему без всякова послабления спустят. Казни лютой предадут!

— И это монах толкует… — тихо укорил Иосия своего чернеца и тотчас прогнал его из кельи.

Всё же решился. Посидел Иосия за столом, изрядно-таки поскрипел пером. Тут же вышел на двор своей пустыньки — секущий ветер со снегом малость остудил разгоряченную голову. Наконец-то метнулась пугливая мысль: так-то так, да обратно-то как?.. Ну, явится в Синодальную, поднимут саровских на ноги… Однако сию же минуту из-за левого плеча кто-то кинул с хохотком, а вот и ладно! Пусть и старче Иоанн повертится, как и к нему с тем розыском…

Запряг Иосия лошадку в дровенки, надел нагольный тулуп и погнал в Москву. Всё та же секущая снежная крупка малость и теперь осадила зло: саровцев не впутывать — такое может начаться…

Прежде чем явиться в Синодальную на строгие очеса служивых, зашёл к князю Ивану Одоевскому, вкладчику Саровской, а теперь и Берлюковской пустыни.

Князинька, в пёстром просторном халате из восточной камки и в мягких козловых сапожках, кормил у окна диковинных птиц в клетке. Подошёл под благословение, пригласил сесть и сам опустился в покойное мягкое кресло. Умное лицо князя повеселело:

— Я, кажется, уже облегчился: два воза хлебов и круп в твою пустыньку отправил, отче. Ещё за оброком?!

— Премного благодарны, довольствуемся! — Склонил свою голову Иосия. — Дай Бог князь вам и вашему семейству всяческих благ за кормию моих сирых. Я же теперь за советом…

Иосия рассказал с чем пришёл, признался в намерении.

Одоевский повздыхал, поёрзал в кресле, зачем-то стал перекладывать с места на место книги на столе. Мягко укорил:

— Уж если вас, духовных, мир не берёт… Не советую я тебе, отче, идти с бумагой. Ох, эти наши пагубные страсти, как погрязают в них человеки… Как же ты, Осий… Георгий тебе как на духу своё выложил — неразумие зело! Ведь я о чём: боле умирают от языка чем от меча — такое теперь времечко…

Вышел от Одоевского в смятении. Покор князя как не принять. Только Георгий-то выложился и жди ты, берлюковец, повелительного вызова из Синодальной, а там учнут сверять показания, а там сразу вину объявят: почему по сю пору молчал,

тебе Георгий своё когда выложил, излил. Ты знаешь, как наказуются за умышленное сокрытие злодейских факций?! Мучился Иосия: Ну, Вейц, ну черти придуманные, а ещё-то что мог купно с ними наговорить этот дурачок?!

Иосия постучал ещё в дом бывшего кабинет-секретаря царя Петра I А. В. Макарова — не худо бы и этого умственного человека послушать. Макаров уже не служил, в это время находился под следствием по какому-то маловажному делу и тяготился этим. К сожалению, бывшего кабинет-секретаря и нынешнего духовного сына Иосии дома не оказалось, а жена его не нашлась что-либо посоветовать монаху.

Кой-как промучился Иосия ночь в Москве.

На всякий случай написал-таки донос на Георгия: Вейц, черти — что-то с головой у Георгия, явно! Помня остерёг князя Одоевского решил начально увидеться с тем же Георгием — хуже не будет!

На подворье Новоспасского, где всегда останавливались саровцы, Георгия не оказалось. Знакомый чернец отправил на Варварку — туда наряжался с утра Георгий, там у саровцев вкладчик жительствует…

Знал Иосия того вкладчика, застал у него Георгия. Закрылись в гостевой комнате настороженно, словно чувствовали, что не разойдутся полюбовно.

Иосия, едва отдышался с дороги или от подступившего волнения, сразу и осудил:

— Зачем же ты со своим худоумием в Синодальную побёг, а?!

Георгий тряс — тоже, знать, от волнения, своей кудрявой бородкой, тонкими казанками пальцев правой ладони пристукивал по столешнице.

— Ты духовным отцом моим назвался, а палец о палец не ударил, чтобы спроворить мне указ о пострижении в монашеский чин. Всё-то жданками кормил. Теперь вот я Иоанна озаботил. Ну, а в Синодальную… Думал, что там умные бороды — послушают, да и простят мне мои прегрешения, отпустят в Саров. Испугались они — розыск начали и теперь, теперь не знаю, что и будет…

Иосия надвинулся через стол на Георгия.

— Лишков наговорил?! Ах, ты простец несчастный! Забыл, что я твой духовный отец… Ты ведь там и на меня наплёл…

Иосия тяжёло осел на стул и дикими глазами смотрел на Георгия. Тот чему-то своему улыбался.

— Отныне ухожу из-под твоего начала… И ты на меня не ори! Я в дворянах ходил! — Георгий резко встал, запахнул шубу и пошёл к двери. — Прощевай!

Схватился за шапку и Иосия. Почти взмолился:

— Ка-ак не мой сын? Не презорствуй, не поднимай во мне зла… Постой, потолкуем, надо нам столковаться!

— Не-еча мне! — Георгий рванул дверь.

Иосия опешил. В голову ударило злое: если он мне в лицо такое… Жалкая душонка, да он в Синодальной столько нагородил… Уже на улице, почти не помня себя, в иступлении, крикнул:

— Слово и де-ело!!![61]

Тут же, будто и впрямь из под-земли, выросли дюжие слуги царские. Один упёрся в грудь Иосии стылой рукавицей.

— На кого указуешь?

Иосия махнул рукой.

— Вона-а от железной калитки монах пошёл…

Георгия схватили. Он не сопротивлялся, не удивился тому, что схвачен.

Один из служивых, тот что постарше, покачал головой.

— Тю-ю… И чево вы, монахи, не поделили — копейку нищенскую… Одумайтесь!

А младший почти радостно закричал:

— Тамо разберутся скоро! — и блажно, на всю улицу заорал: — Сторони-ись!..

Встречные шарахались, прятались в подворотни. Мёрзло скрипели зимние калитки и двери…

— Ты начально в Синодальную нас, — попросил Иосия старшего.

— Дело-то государево… В Тайную!

— Государево… — тяжёло вздохнул Иосия, лицо его мертвенно побледнело. — Успеешь сволочь в Тайную…

— Только из почитания твоего чина. Игумен, говоришь?

— Игумен Берлюковской…

— Ладно!

В Синодальной конторе держали недолго — дали знать Тайной канцелярии. Оттуда скоро пришло грозное повеление: доставить монахов под крепким караулом!

…Поскольку в Синодальной конторе имелся донос Георгия, а к нему добавился ещё и донос Иосии, и поскольку обе бумаги прочитали скоро, то ведающий московским отделением Тайной С. А. Салтыков немедля направил в Саровскую пустынь солдата для взятия крамольных бумаг, о которых письменно объявил Георгий.

Так началось дело саровских и берлюковских монахов.

5.

Прибежал со двора послушник и едва ли не с порога сполошно закричал:

— Солдат из Москвы штафет привёз. А теперь Дорофея зудит!

Иоанн недомогал: сильно простудился — много ли старому надо! Пахнуло не тем ветерком не в тот бок и вот майся. Разняла хворь: лежал в жару, сухо покашливая, с трудом отозвался:

— Солдат так солдат… Ты кваску принеси — горит нутро. И вот что: сбегай на поварню, пусть солдатику добрый обед сготовят.

Служивый пришёл с Дорофеем. Пронырливые глаза солдата жадно шарили по жилью Иоанна. Он тут же вытащил из-за пазухи плотную бумагу и бойко начал читать. Присано было в Тайной канцелярии. Повелевалось под страхом наказания не чинить препятствий посланцу в досмотре бумаг пустыни.

Опечаленный Дорофей с грустью смотрел на своего первоначальника, ждал слова.

— Ты, Дорофеюшка, покажь всё, до чево глаз посланца дотянется, а меня — увольте, невмоготу.

Дорофей с солдатом ушли.

«Вот сразу и наследил тут, — вздыхая, подумал Иоанн, глядя на лужицу снеговой воды у передней лавки. — Кабы так с нынешним делом: приехал — уехал и всё, и одно только воспоминание. Ан нет, как ещё в душах наследит! А как ждёт та верёвочка, то осело… обратают да и поведут подъяремного».

Бумаг у игумена Дорофея скопилось ещё мало, и досмотр их не отнял у солдата много времени. Дорофей отправил к Иоанну своего послуха, и тот опять с порога едва не прокричал:

— Георгия с Иосией под крепкий караул взяли. В Тайной они, в Тайной!

Иоанн отмолчался. Махнул рукой, отпустил послуха, повернулся на постели — борода упёрлась в тёплую сосновую гладь стены. С горечью думалось: вот и прикатила беда — открывай ворота. Поволокут в Тайную и других… И вытянут из них, что было и не было. А что за ним самим? Да ничего осудного, кроме жадности познания, тяги к постижению любомудрия.

Вместе со всем русским учёным монашеством и священством Иоанн вполне разделял взгляды архиепископа Тверского и Кашинского Феофилакта Лопатинского[62] и архимандрита Псковского Печерского монастыря Маркела Родышевского,[63] бывшего архиепископа Рязанского и местоблюстителя Патриаршего престола Стефана Яворского, написавшего мудрый трактат «Камень веры» противу лютеран… Эти и другие мужи церкви крепко стояли за чистоту православия в России, смело

изобличали его явных и тайных противников.

Прибывший солдат с обыском разом поднял в Иоанне давно жившее в нём уже непреходящей болью. Возмущалось нутро: тяжкие времена! Дожили! Не лезут же православные в Европу, в дела других церквей, а на Русь едва ли не с времён Владимира-красно солнышко под разными личинами, а то прямо, нагло, как при Лжедмитрии в Смутное время, прут, чтобы уязвить главную скрепу народа. Вольготно стало иноверцам при Петре Алексеевиче. Вице-президент Святейшего Синода, это бывший католик Феофан Прокопович, так и этак рушит устоявшееся в делах церковных и монашеском быту. Обличил его Маркел Родышевский, что написал книгу «Житие Новгородского архиепископа — еретика Феофана Прокоповича». Маркел служил рядом с Феофаном — нагляделся, наслушался, понял: архиепископ скатился к протестантству. А царь ему благоволил, поставил главой «Ученой дружины…» И вот попираются стяги православия! Коломенский архирей Игнатий, Воронежский — Лев, Ростовский — Георгий отторгнуты от мирян, в опале — сосланы. Феофилакт Лопатинский, лишённый высокого сана, пытан на дыбе и заточен в Выборгскую крепость. Прокопович со своими немцами упрятал Маркела Родышевского в Кирилло-Белозёрский монастырь, а за чтение книги его грозят суровыми карами.

Как велика наглость чужаков! Только и слышно о русском пастыре: суевер, ханжа, лицемер, ни к чему не годный… Сим и царю голову заморочили. Так, просвещали бы шибко учёные, налетные, ан не-ет… Сколько благочестивых, верных православию пастырей заточили в смрадные узилища, в темницах морили голодом, пытали, да и теперь мытарят как хотят. Дошло ведь до того, что и в московских соборах не хватает священников!

Заговорился, забылся, лежа на своей рогознице Иоанн…

А солдат-доглядчик-то тут, в пустыни. Затмила хворь редкую осторожность первоначальника, а чтобы встать да кое-что убрать с полки…

Он отвернулся от стены, было задремал, но по крыльцу послышались знакомые легкие шаги.

Послушник осторожно спросил от порога:

— Авва, солдат приказует открыть церковь, а Дорофей противится…

— Велю открыть. Чево это солдатика в храм Божий повело?

— Кто знает! Неиствует на паперти…

— Отчините двери, может, устыдится воин.

Знал расторопный служивый где и что искать. Давно у фискалов на службе, а потом с крепким наказом из Тайной в

Саров погнали.

— Зови двух долгогривых с топорами! — солдат едва в спину не толкал Дорофея. — Борзо, борзо!

Дорофей послал за монахами, те пришли скоро.

— Саблю оставь в притворе!

Служивый было вызверился взглядом, но отстегнул оружие.

В скудном свете серенького зимнего денька московский посланец вскинул руку.

— В алтарь!

— Да ты что-о… — Дорофей заступил полосу домотканого цветного половика, что тянулся на амвон.

— Пусти!

Вошли в алтарь. Солдат весело покрикивал:

— Поднимай пол! Вот тут, у стены… Сем-ка, давай!

Монахи подняли широкие половицы, и солдат сразу ринулся к левой стене — там, внизу, на сухой земле, оказывается, лежала прикрытая чистой рогожей липовая дуплянка.

— Полным-полна! — открыто возликовал солдат, постукивая казанками пальцев по сухому дереву. — Ну, дуплянка-мордовска поселянка… Ты-то нам и надобна…

Дорофей стоял с опущенными глазами, не знал, что и сказать. Не ведал он об этой упрятке. Ну, Иосия…

— Сии бумаги — противность велия! Сам прятал, рожа жженая?

Вышли из церкви. Густо пуржил снег, залеплял стоящие фигуры монахов у своих келий.

— Ты мне еще надобен! — веселел голосом солдат и почти игриво подталкивал Дорофея. — Пошли к старцу!

— Наш Иоанн в ангельском чине, — поднял голос Дорофей.

— Вот бы и жил по-ангельски! — рокотал позади Дорофея служивый. — А то смотри: крамола у нево в монастыре. И где прячете — в храме святом!

— Наш авва знать не знает о дуплянке, как и я вот, игумен.

— Ангелу прозревать надлежит!

…Иоанн опять призабылся в дреме. В покоях его натоплено, размерно.

Над постелью склонился озабоченный Дорофей.

— Отче, солдат дерзает у тебы бумаги смотреть…

Иоанн едва открыл тяжелые в болезни веки.

— Пыль на руки собирать… Пускай!

После сытного обеда, а солдату и чарку водки поднесли, служивый там же, в поварне, стал диктовать Дорофею.

— Пиши, что найдено. Ну, чево воззрился? А это где тебя так угораздило, ликом-то ты страшен. Солдат прежний, на приступ

хаживал?

— Нет, разбойные тати оставили метины — пыткою измывались.

— Тут?

— Здесь, на монастырь налетели…

— Не сказал о злате-серебре…

— А ево и не было! Не в монашеских кельях богатства копятся — богатства стяжают бояре, вельможи сановные для себя и своих кровных. А мы… ряса, сапоги не у всех — чаще лапти, рубаха-перемываха, армячишка на зиму…

— То верно… — тихо согласился солдат и попросил: — Давай строчи, мне засветло от вас выехать надо. Пиши: в дуплянке листы, писанные монахом Георгием. Содержат в себе отречение от христианства. И лист с покаянием… Готово, борзо ты пишешь.

— Дале…

— Второе, значит… — служивый отирал большим пальцем свою крепкую шею. — Разрешительное письмо иеромонаха Иосии — Георгию в его грехопадениях. Написал? Теперь в покоях первоначальника. Ба-а… Тетради Родышевского! Да это ж самое искомое, особо в Москве оговаривали…

— Что с ним, с Маркелом-то? — забывшись, спросил Дорофей.

Солдат с удивлением уставился на саровца.

— Тебе бы впору от страха трястись… Да вы тут, лесовики, не простецы, не-ет. А когда так, то упрежу: на крючке сидите у властей. Ну, давай кончать…

Тайная канцелярия, испугавшись предположения Прокоповича о том, что в России идет заговор против верховной власти, немедля попросила Святейший Синод со своей стороны послать в Саров «духовную персону в крайней скорости», чтобы допросить всех монахов, обшарить кельи и выявить, нет ли еще каких книг и бумаг с «непотребными вымыслами».

По распоряжению Святейшего Синода от 11 июля 1734 года Московская декастерия отправила в Саровскую пустынь игумена Можайского Колоцкого монастыря Пахомия с солдатами.

…Начали рыскать по кельям, по всем укромным местам пустыни. Под застрехой кельи еромонаха Ефрема нашли подозрительные рукописи. Оказывается, знаток нотной грамоты и высокого слова Ефрем сочинил и переложил на ноты текст церковной службы умершему юродивому Тимофею Архиповичу, которого так долго и ласково привечали при дворе царицы Прасковьи Федоровны. Служба, составленная человеку не причисленному к лику святых — за такое следовало суровое наказание.

Сорок шесть тетрадей (книг, не переплетенных еще) и отдельных «сумнительных» листов, да полусотню книг — со страху больше, уложил в лубяной короб игумен Пахомий для доставки в Москву.

Перед отъездом после трапезы признался колоцкий игумен Иоанну:

— Не чаял я увидеть у тебя столько печатнова и рукописнова слова.

— Арзамас, Нижегородская ярмонка, да и Москва недалеко… с грустной улыбкой, отшутился Иоанн. — Нас, русаков, недруги ведь невеждами, глупцами считают. Не хлебом единым человек жив…

Пахомий понял, кивал тяжелой лобастой головой.

— И у тебя в келье все на виду… Ну, чтобы в потай!

— Да потому и не прячу, что мы тут никакова вреднова замышления в головах не держим. Ты так в Синодальной от себя и скажи. Кто зло-то копит, тот камень за пазухой носит. Мои чернецы Богу служат, как и твои. Ну, а что деется в нашем царстве-государстве и монашеским чинам знать не грех…

— Добрая слава о твоей пустыне пошла… Ну, что меня касаемо — напраслину возводить на тебя не стану — и смолоду мало греховодничал. А что книги и бумаги иные взял — прости, служба. Я же — сам видишь — на глазах у грамотных солдат, а они, как те собаки прикормлены, вышколены, дозорят молодыми очесами…

Иоанн махнул рукой.

— Бог простит! Верю, что и ты там под надзором. Вижу, служивые ни на шаг от тебя, все на догляде.

— Вот то-то и оно. Ну, прощевай, Бог не оставит своего молитвенника.

Иоанн вспомнил:

— На-ка, Пахомий, три рубля, передай там Новоспасскому дьякону — займовая…

Провожал москвичей до ворот монастыря Дорофей.

…Густо шел снег, сосновый бор за Сатисом едва проглядывался в густой белой сумятице.

6.

12 июля 1734 года в недрах Святейшего Синода в Петербурге появился такой документ:

«…Его преосвященство и высокосиятельные гг. министры по

секретному важному делу, которое следуется ими в Тайной канцелярии о Саровском строителе Иоанне и Берлюковском Иосии, о монахах Георгии Зворыкине, иеромонахе Иакове и монахе Сильвестре, рассуждали, что из тех плутов чернецов оные Берлюковской пустыни строитель Иосия, яко первый предводитель оному зело важному злоковарному делу, и иеромонах Иаков и монах Сильвестр — явились в жестокой важности, о которой значится в оном деле (а о прочих их винах по ответам их известно и Св. Синоду понеже допрашиваны оные плуты при Св. Синоде), и по общему рассуждению предложили, чтобы сняв с них — Иосии, Иакова и Сильвестра священнические и монашеские чины, отдать их к следствию оной злодейской важности в светский суд».

Итак, монахи превратились в обыкновенных людей со своими прежними мирскими именами и фамилиями и подлежали светскому судилищу, могли подвергнуться пыткам при допросах.

Саровцев и берлюковцев под крепким караулом привезли в Петербург — началось повторное жесткое расследование в Тайной канцелярии. Оной ведал генерал Ушаков.[64]

Андрей Иванович уже чреват годами, ему за шестьдесят. Начинал он свою страшную службу фискалом при царе Петре I. Ушаков не только свыкся со своим ремеслом, но давно вошел во вкус и, как многие люди его занятий, познал все глубины слабостей и падений человека, незаметно для себя стал опытным следователем. Знаток и ревнитель тайных дел предпочитал умных людей и умел их допрашивать. Чем более запирался, путался в своих показаниях иной несчастный сиделец каземата, тем больше внутренне напрягался и внешне добродушничал Ушаков, тонко, иезуитски вел подследственного к признанию настоящей или мнимой вины. А если это не удавалось, генерал искренне огорчался и передавал умника заплечных дел мастерам в пыточную «горницу» и тот после «вразумления» скоро становился податливым, сговорчивым. С особым сладострастием Андрей Иванович заглядывал в широкораскрытые от боли и ужаса глаза своей очередной сломанной жертвы и так-то ласково, так вкрадчиво вопрошал о нужном ему. И скоро-скоро получал желанные ответы. Конечно, случалось, что первая пытка иногда не «вразумляла» иного «плута» или «злодея» — тогда в «горницу» вели еще раз… После сего приступал к работе уже секретарь — споро строчил признания, которые вскоре и оборачивались неотвратимым приговором…

Ушаков сразу уразумел из бумаг Московской Синодальной канцелярии, да и канцелярии Московского отделения тайной, что Саровское и Берлюковское дело притянуто к проходящему делу

бывшего архимандрита Маркела Родышевского, а само по себе никакой угрозы государству российскому и верховной власти не представляет. И уж кому-кому, а генералу сыска тут же стало ясно, кто там сверху навивает вокруг Родышевского — автора сильной книги против первейшего члена Святейшего Синода — Феофана Пропоковича.

Одно смущало Ушакова: монахам-заговорщикам не хватало видной фигуры предводителя. Ну, что там Иосия! Все это где-то в лесу, в таежине… Уж если не в Петербурге, то в Москве обязательно должна жить-быть та фигура. Покамест ее нет, но надо ждать, ждать — Прокопович зело-зело умен… А монахи… Положим, Иосию-то надо крепко наказать, а остатних разослать бы по дальним монастырям под строгий присмотр и — дело с концом. А то в Сибирь, в ссылку соболей ловить, как шуткуют судейские!

…Григория Зворыкина — еще недавно монаха Георгия, нечаянно остановили возле пыточной… Поди-ка случайно дверь ее оставили открытой малость — из щели рвался непрерывный ужасный скулеж истязуемого. Кого-то подняли на виску, и трещали кости, резко несло горелым мясом. Уже один этот запах в тесном коридоре Тайной поверг Григория в неведомый прежде страх, его забил трясучий озноб — беднягу едва тут же не вырвало. Только теперь осознал несчастный всю пагубу самооговора, понял, что это ему не в Сарове выдавать себя перед Иосией страдальцем от происков Вейца и его подручных.

Ушаков взглянул ласково — увидел перед собой расслабленного молодого человека, но не удержался, едва не сорвался на крик:

— Что-о, раб страстей своих… Вот ты и в Петербурге, нет ли желания свидеться с Вейцем, а?! Может, он пошлет своих бесов, возьмут они тебя под белы руки, да и в золоченую карету… У тебя такая родня: Кафтыревы! Твой славный родитель под Полтавой пал храбрецом, а ты, шелапут такой, в монахи кинулся, вместо тово, чтобы честно, как дворянину, служить государыне. Да какой ты монах — самозванец, указа-то у тебя на монашеский чин не-ет! Ну, ладно, запутался, спрятался в пустынь, так и обретался бы там тихоней — нет, заметался, воду мутить начал, к заговорщикам приставал… Ну, говори допряма!

— Оговорил я себя со страху… — едва выдавил из себя тяжелые слова Григорий. — Запутался и понесло меня, но я прощения, защищения хотел обрести у синодских, а они меня вона куда определили…

— Дура-ак! Ты же наболтал в бумаге и то, о чем бы молчать да молчать… Ты знаешь, простофиля, что доносчику первый кнут.

Эх ты, молодятина пустая! Ну, твое мне более не в интерес. Давай повернем к Иосии, то бишь к Якову Самгину…

Зворыкин замялся, ужался и без того в узких плечах. И тотчас его хлестнул властный крик:

— Жалкая, мерклая твоя душонка… Говори, а не то на дыбе встряхну и все ребра пересчитаю! Кнут не Архангел, души не вынет, но язык скоро развяжет…

К чему угрозные слова! Иосия словами многожды своемыслия выказывал бранчливо. Сказывал, что государыня-де лицом груба, что при ней иноземцы лишь только на головах наших господ не сидят. И то вспомнил Иосия, что вдова графа Матвеева — Анастасия Ермиловна жалобилась, что иноземцы у нее четвертую часть имения неправо отняли…

Андрей Иванович ухмылялся, потные руки потирал, то и дело торопил секретаря записывать:

— Не таись, милый, не запирайся… И тут же кричал и опять доходил до ласкового шепота: — Что еще, что-о…

— Так, что еще… — пугливо озираясь на пыльные голые стены допросной каморы, мучительно припоминал Григорий. — Противности Синоду поднимал: не надобен, дескать. Надлежит быть Святейшему патриарху, как при прежних православных государях. Хорошо бы патриархом видеть архимандрита Троице-Сергиевова монастыря Варлаама, тот брегет о нашем…[65]

— А что о Родышевском, о Маркеле? Нут-ка…

— Откуда вам ведомо… — лопотал заплетающимся языком Зворыкин и все ниже и ниже опускал свою непутевую голову. — Радовался Иосия, что в тетрадях Родышевского писано то, что Богу угодно и всем православным. И надобно всякому человеку за оное стояти крепко. И, коли какой случай позовет, то и живота своево не щадить. А ежели кто костра ждет, то к мученикам причтен будет!

— Да это ж!.. — поднял было голос генерал и захлебнулся: не спугнуть бы этого простеца… — Тебе это, Гришенька, только Самгин сказывал или еще кто? Говорено всей братии или…

— Не упомню, все ли собирались. Первоначальника-то точно не видел.

— Ну и что чернецы?

— А они сказали: и мы за оные тетради смерть примем. Иаков, тот так и изрек: дай Боже, тому спасенья, кто о сем попекся и оные тетради написал.

Не ожидал Ушаков, что расскажет Зворыкин столь важное. А всего-то и делов: остановили давеча Гришку у пыточной, потом завели на минутку… В очаге огонь весело выплясывал, набор разных щипцов на длинных рукоятках поблескивал, кровь под

дыбой еще не застыла, не почернела — умирала тихо…

«Пожалуй, самое главное выложил!» — радовался генерал и опять упрашивал:

— Давай, миленький, давай, что там еще. Я скоро тебя отпущу… Григорий был рад-радешек, что его наконец-то серьезно выслушал генерал, что он готов отпустить его из Тайной…

— Он же, Иосия…

— Яков Самгин!

— Ну да, Яков… Говорил о Прокоповиче, называл его ересеводителем. Порицал за то, что не любо ему наше священство. Он же, Самгин, сказывал мне, что ныне иные знатные наши персоны в научении странном, с уклонами. Одни нахваляют римскую, а другие люторскую церковь, и все это из угождения немцам…

— Еще, еще, миленький…

— А напоследок изъяснил Иосия отягощение народное. Тирански вельможи собирают с бедного своего подданства слезные и кровавые подати, употребляют их на объядение, пьянство и разные потехи. А на все это иноземцы и государыню наущают…

— А ты, дворянских кровей, соглашался?!

— Молчал… Кричал Иосия о здешних иностранцах, что не брегут они о нашем мужике, хуже собак почитают. Пропащее-де наше государство! Случился тут рядом Сильвестр, монах же. Он сказал: Бог милостлив, а при падении… будет и восстание, да еще такое, что паче прежнева…[66]

Зворыкин замолчал. Крупный пот покрывал его бледное изможденное лицо. Серые глаза потухли. Он едва не падал с лавки.

— Все сказал? Никово не оболживал — смо-отри-и…

— Все, как на духу!

— Увести!

Зворыкин шел впереди солдата и спотыкался.

Андрей Иванович сцепил ладони на столе, уперся взглядом в какие-то застенные пределы, с испугом думал о России. Да и о себе тоже. Монахи и те видят немецкую пагубу — всем она давно поперек горла! А самого-то судьба какова? Слева — палочье немецкое, справа — свой, русский, батог… И какой будет первым взнесен карою Божьей над головой сыскнова генерала? Ой, не оступиться бы где ненароком…

Не оступился Андрей Иванович по службе, смертельных врагов себе не нажил, верно служил царям. Потому-то после и был награжден графским достоинством.

Достиг степеней известных Ушаков, но мало радовали они

новоявленного графа. У палачей тихой, спокойной старости не бывает…

Глава одиннадцатая

1.

По бумагам Московской Синодальной канцелярии Ушаков тотчас определил и возможную меру вины каждого из одиннадцати монахов, привезенных в Петербург. Запугав пыткой Григория Зворыкина, он вытряс из него все. Дело, как писал из Москвы С. А. Салтыков, точно замыкается на Якове Самгине.

Генерал на первом допросе, как бы невзначай, подкидывал Самгину то одни, то другие слова из показаний Зворыкина, но Яков делал вид, что не понимает о чем идет речь. Тогда Андрей Иванович отправил противленца в пыточную. С улыбкой напутствовал: кнут не свят Николай, а истину скажет…

В маленькое окошко пыточной едва проникал свет сумеречного зимнего дня. Сальные свечи в шандале освещали лишь край стола, где шуршал бумагами писчик.

Самгин успел подивиться, как скоро просунули его руки в хомут с пришитой к нему веревкой и ловко вздернули на дыбе.[67] Давним навыком палач просунул между связанных ремнем ног его сухое бревно, опустился одним коленом на него и стал осторожно прислушиваться — «чувствовать».

Все разом оборвалось в Якове. Дичайшая боль мгновенно замутила его сознание, и он уже не слышал, как хрустнули выскочившие из предплечья руки. Палач увидел вскинутую пухлую ладонь Ушакова, его брезгливое лицо с оттопыренными губами и отнял ногу от бревна. Самгин не кричал — тянул дикий непрерывный скулеж.

— Будешь ты говорить? — ласково спросил генерал. — Отвечай без умедления и запирательства?

Яков Самгин перестал скулить, прохрипел:

— Неча мне говорить.

— А Гришку Зворыкина мы привели к языку — все после плетей выложил, — опять же ласково врал Андрей Иванович. — Многонько нами дознано…

— Не пожалели молодшева, ка-аты… — сплюнул Яков.

— Пять плетей для началу! — вскинулся со старенького вышорканного кресла Ушаков.

Палач привычно хлестал с оттягом. Из синих полос тела брызнула темная оскорбленная кровь. Яков безжизненно обвис,

кровь залила очкур штанов. Свистел и тяжело впивался в изодранную спину кнут заплечных дел мастера.

Сколько ни вопрошал от стола Ушаков, бывший монах «закусил удила» — молчал.

— Сними, водой ево, водой!

Самгина бросили на слежалую солому в углу, облили водой из деревянной бадьи, но он и при этом не подал признаков жизни.

— Оклемается! — скорей себя бодрил Андрей Иванович.

— Такова не скоро проймешь… — покривил губы здоровенный палач. — Зла в нем много.

Через несколько дней, пока других монахов допрашивали, Якова подвергли пытке на дыбе опять с той разницей, что закладывали в тиски большие пальцы рук и ног и свинчивали эти тиски. Монах не вытерпел долгой страшной боли — изнемог и после «роздыха» начал давать показания.

…Глаза монаха горели злым огнем. Это удивило высокого следователя — он побаивался тех, кто после «изумления» — потери сознания при пытке, представал перед ним с такими злобными глазами, кто уже торопил смерть.

Надлежало покамест тушить зло увещеваниями:

— Ты чево кричал «слово и дело», коли знал, что Гришка Зворыкин напраслину на себя возвел? Тоже с дуру?! Эх, ма-а… А теперь отвечай: тетради Родышевского, церковную службу юродивому под застрехой у себя в келье прятал — это тож по недомыслию? А зачем дуплянку со зловредными бумагами Зворыкина под алтарь церкви велел прятать. В лесу живете — неуж схорону путнева не углядели — ну, простецы!

— То и простецы, что дурнова замышления и в голове не держали! — угрюмо отозвался Самгин. — А упрятал тетради и бумаги, чтоб молодым и новоприбылым чернецам на глаза не попадались.

— Пусть так! Но ты же тетради Родышевского заставлял переписывать молодых — это как? Ты же и их в беду ввергнул! Теперь особь статья. Посягнул ты на монаршую честь, когда на лик государыни хулу изрыгал. Да тебя только за это предать казни надо, чтоб другим не повадно было. Хоша бы Зворыкина ты не впутывал в беду.

В Якове еще не утихло зло противу Зворыкина. С него же, отступника от веры, зло-то кругами пошло…

— Не такой уж он и простачок, Гришенька, как себя показывает.

— А скажи, — осторожно потянул ниточку допроса Андрей Иванович. — Этот монах из Саровской, Аркадий… Тот, что

прежде придворным портным у царевны Марии Алексеевны…

Самгин не успел уловить подвоха.

— Ево, по старости, отпустили в пустынь. Наслышан был о сторогости устава Саровской, вот и пришел.

— Гол как сокол… Без всяких пожитков? Бумаги только имел при себе…

Яков побледнел, ужался, его длинные седатые волосы упали ему на лицо. Догадался: Гришка объявил!

— Может, освежить память?.. — тихо, вкрадчиво спросил Ушаков и опять поднял голос. — Ты же и с этим стакнулся!

Самгин понял страшный намет.

— Принес портной список с грамоты царя Петра о порядке престолонаследия. Из оной следовало, что государыней быть Елизавете Петровне.

И ты тот список опять же припрятал — заложил на хранение, авось понадобится! А мог бы и сжечь… Ну, как говорят немцы: зер щлехт! Плохо твое дело, расстрига! Скажу: Гришка многое о тебе выложил.

Яков негодовал: обнажил Зворыкин всех! Ну, и тебе воздаем.

— Ево бы сюда, на дыбу! Он сознался бы, что в тайном сговоре тут, в Петербурге, замешан. Метили преж Елизавету Петровну возвести на престол!

Генерал, с умыслом, закричал:

— Ты, Яшка, ври да не завирайся!

И опять Самгин, в своем поднявшемся зле, не догадался о подвохе.

— Не завираюсь! Называл Белова, Петра Чистова из купцов, что постоянно с иноземцами якшается. Да и Вейц Гришке много чево обещал. Прельщал дурачка высоким местом, чуть ли не царевна ему уж приготовлена. А жил он, Гришка, тут в доме графа Сантия.

Генерал махнул рукой.

— Итальянец давно обретается в Сибири не своею волею.[68] Ты был духовником бывшего кабинет-министра Макарова…

Яков понял: мало ему, Ушакову, монахов — он еще и славного служаку Петра решился пристегнуть к делу — какой узел вяжет…

— Побойся Бога, Ушаков! Тайну исповеди не предам! Не причастен господин Макаров ни к Родышевскому, ни к нам, монахам — нужды ему нет… Да и стар, немощен. У царя Петра он в великой чести был, а теперь захотел ты приплести ево… Давно ли ты, генерал, пред Макаровым вью свою гнул…

— Он еще и с обличением — како-ов поганец! — заревел Андрей Иванович и осекся. — Переведу на другое: монах

Пахомий из Саровской сказывал, что ты в отстутствие Иоанна не служил царских молебнов и панихид, упирал на то, что это не дело пустынников. Тот же Пахомий указал тебе на сии упущения, а ты на нево с наскоком… Еще напомню: новгородского епископа Феофана ты с чужих слов ересеводителем называл…

Самгин встрепенулся, персты над собой воздел.

— Не побоюсь — так! Маркел Родышевский сему свидетель! На православной кафедре протестант нутром!

— Будет, эка ты взыграл! — попробовал пошутить Ушаков. — Ну а про отягощении народа ты распинался, хульное об иноземцах выкладывал, о тех, кто государыне верно служит…[69]

— Карману бездонному, брюху своему ненажорному они служат — нашел ты слуг…

— Ты монаха Сильвестра к крамольным речам толкал. О какой этой заварухе предрекал, а?!

Яков едва не рассмеялся. Пошире покривил спекшиеся губы, показал крепкие зубы.

— А когда, в какие это веки наш мужик жил и радовался?! Генерал вскочил, вскинул кулаки.

— Злобствуешь? Дерзишь нагло! Мало тебя на дыбе держал— погоди, я тебя опять вразумлю — шелковым станешь… На запор ево!

Самгина увели.

Андрей Иванович махнул писцу.

— Поди, оставь!

Оставшись один в каморе, Ушаков подошел к двустворчатой архивной шкапе в углу, открыл дверцу, налил из штофа водки в оловянный стакан и с охотою выпил. Тяжело, мешковато заходил по сырой затхлой комнате. Водка взбудоражила, взбодрила главу российского сыска, но настроя доброго не подняла.

Только и порадовался внезапному озарению: в этом чужом для генерала Петербурге выколачивать признания от сидельцев Тайной легче, чем бывало в Москве. Там, в какое окно ни глянь — храм Божий, кресты на маковках церквей неизменным укором, а то и грозой… А тут, в петровском «парадизе», чаще протестантские шпили и люди, с коими служба вяжет — куклы в седых париках…

Андрей Иванович незаметно для себя опять приблизился к шкапе, но не сразу открыл дверцу — его опять, как уже случалось, захватила навязчивая мысль: куклы-то, куклы… Как же это случилось, как допущено, что кругом указующий перст — перст немецкий?! Паучье племя, лицемеры, плуты последние — прав Яшка Самгин! Да разве Яшка только, разве монахи одни… Вот поди ж ты: сыск, караул, пытки, палач на торговой площади,

могильщик — это все русские исполнители. А кого сюда, в «пыточную горницу» волочь, приговоры втихую нашептывать — во имя благоденствия государства российского — это все чужаки, тем же немцам отдано. Вот и разводи руками: те чужаки в стороне, а мы, русаки, всегда в бороне! Эх, ма… Сами своих бесчестим, нещадно топчем, да еще и руки потираем — не так ли, Андрюшка?!

…Ушаков открыл-таки заветную шкапу, налил себе еще стаканчик, степенно выпил. Пора было ехать домой обедать.

2.

Императрица Анна Иоанновна по приезде из Москвы в Петербург в начале 1732 года выбрала себе огромный дом адмирала Федора Матвеевича Апраксина, который был завещан им Петру II близ Кикиных палат на месте будущего Зимнего дворца. Комнаты дома не отличались величиной, роскошью, и потому Анна Иоанновна повелела сломать рядом стоящие Кикины палаты и начать строит Зимний. 27 мая состоялась его закладка по плану обер-архитектора Расстрелли.

Императрица ждала на прием первенствующего в Синоде, архиепископа Новгородского Феофана Прокоповича. Теперь, когда он явился и сидел в приемной, почуствовала, что с недавних пор Прокопович стал несколько раздражать ее.

Анна Иоанновна сидела не за письменным столом, а по-домашнему у окна близ большой клетки с попугаем. В этот день она не намечала выезда и потому одета в простое голубое платье, а голову повязала платком, как повязывают себя женщины из простонародья. У ног императрицы увивалась маленькая левретка с высоко вскинутой спиной и большими умными глазами.

Думалось о Прокоповиче. Еще недавно в Москве дворец наполняли слухи, которые-таки доходили до племянницы Петра от кабинет-секретаря, с которым Анна Иоанновна держала себя запросто — слухи, недобрые. Алчен, изворотлив Феофанушка. Живет явно по дерзкой методе: «губи других, иначе эти другие тебя погубят». Да один ли Прокопович держится сих страшных правил. Тайная канцелярия, слышно, не сидит без дела…

После краткого доклада и подписа бумаг, кабинет-секретарь впустил архиепископа.

Императрица пригласила присесть на стул подальше от себя и с правой стороны так, чтобы Феофану не было видно, как карлица-шутиха растирала ей левую ногу.

Прокоповичу уже за пятьдесят. Сидел он красивый, внушительный. Крутые в изломе черные брови, открытые пресыщенные черные глаза, прямой нос и густая с проседью борода, раздвоенная к низу.

После смерти царя Петра I духовенство и монашество России вздохнуло было в надежде, что ослабнет воздействие Феофана на следующую царствующую особу. При Екатерине Алексеевне воздействие это действительно ослабло, но затем Анна Иоанновна, окончательно предавшись «немецкой партии», верхушку которой составляли Остерман, Бирон. Миних, Левенвольд, стала благоволить и Прокоповичу.[70]

Императрица мельком пожалела Феофана: лицо его выглядело утомленным — множество дел, личных интересов и удовольствий сладкой жизни сильно состарили его. Ей вспомнился 1730 год, когда князь Дмитрий Голицын предложил ее в царицы — о том объявил уже и Верховный совет, но Прокопович стал возражать. Ей принесли присягу и вместе с тем около года держали почти под караулом в ожидании, чью сторону примет гвардия в Петербурге: сторону «верховников» или ее, Анны… Вот в это время Феофан и «одумался» и тайно, в часах, прислал ей доброжелательное письмо. Тогда, очень нуждавшаяся в поддержке, она благосклонно приняла прежнего любимца Петра, просчитала сколь будет нужен он ей дальше… Вскоре отблагодарила архиепископа — он стал во главе Святейшего Синода и тотчас начал устранять своих недругов.

В каких местах томились или прозябали видные православные иерархи, императрица не помнила, но нет-нет, да и вопрошала ее совесть: не много ли их разослано в отдаленные монастыри, где строгим наказом обращены они в немотность…

Прокопович с великой предосторожностью, краешком глаза, косил на Анну Иоанновну с особым приглядом. Не молодеет матушка! Заметно потучнела за последние четыре года… Эта мужеподобная женщина, большая любительница дворцовых шутов и шутих, игральных карт, биллиарда и особенно охоты — стрелок она отменный… Да, очень подурнела Анна: широкое лицо багрецом взялось, мужские черты выперли и даже голос огрубел…

Архиепископ ответно улыбнулся императрице, когда она, наконец-то вяло позволила ему:

— Изъясняйтесь, владыко!

Феофан встал со стула.

— Не терпит отлагательства… Граф Андрей Иванович Остерман зело любопытствовал и торопил меня… — Прокопович выпрямился и начал доклад спокойно, прислушиваясь к своему

напористому голосу: — Для вас, ваше императорское величество, сокрытого у нас нет. Мне, по верховенству в Святейшем Синоде надлежало рассмотреть тетради архимандрита Маркела Родышевского. Не стал бы я докучать вам только этим. Теперь дело приняло, не обинуясь скажу, зловредный оборот. Замечу, что Родышевский превратно толковал о моем «Духовном Регламенте», а ведь об оном Пётр Великий сказывал, как о весьма полезном. На его основании благодетельные для России указы изданы… Он же, Маркел, написал мое житие презло, пасквилем. Показал меня сущим еретиком, дал словам и жительству моему превратное, завистливое толкование. Книга пошла по духовным… Причту к сему: Тверской архирей Феофилакт Лопатинский напечатал в Киеве книгу «Камень веры», опять же с поношением моево имени…

— Знаю, разбросаны плевелы…

— И вот теперь от этих плевел, как и ожидать было должно, поднялись зловредные факции!

— О чем ты?

— Саровские и берлюковские монахи переписали тетради Родышевского и подметывают их другим. Сии пустыни стали прибежищем настоящих мятежников, которые замышляют противу власти и чести вашей…

— Сие доказательно? — Анна Иоанновна приласкала левретку и щелкнула по носу толстую шутиху, которая явно заслушавшись докладчика, перестала растирать царскую ногу под голубым шелковым чулком. Императрица засомневалась, ее красивые глаза потемнели, взглянули на архиепископа строго. — С монахами-то не перебор ли? Как в других монастырях?

— Тихо…

— Так, ты считаешь, что монахи угрожают мне-е… Это уж слишком! Ну ладно бы там злодеи вроде Стеньки Разина или Кондрашки Булавина… Ужели угодники Божьи так не приемлют меня — за что-о?! Да я эти два года только и делаю, что милостиво раздаю от своих душевных щедрот. Те же саровцы более двадцати тысяч десятин земли по моему указу получили! Феофан, владыко, да ты помнишь ли, что царская рука тяжела…

Прокопович внутри похолодел, но внешне остался спокоен: третьему венценосцу служил в России, наслушался всякого: лести, похвал и даже памятных грубостей от царя Петра — всякого хватало!

— В Синодальной конторе, в Москве, порядочно сыскано. Еще раз, ваше императорское величество, осмелюсь повторить, что крамомники составили злодейскую факцию! Тот же Родышевский… Головка весьма неучена, тупая… Одним словом,

книжица ево не что иное есть, как готовый и нарочитый факел к зажжению смуты, мятежа и бунта!

Анна Иоанновна высоко подняла брови.

— Книга — это одно, но какие же обнаружены вины монахов, в чем они?

Архиепископ прямо не ответил:

— Были и есть некие прилежные наустители, которые чают нового в государстве состояния. Немало, немало таковых есть. Вся книга Родышевского полна ругательствами, лаем на царствующих в России государей, на их указы и уставы. Он, Маркел, порочит их, отметает яко богопротивные. А ко всем монахам, священству и мирским людишкам приласкивается, чтобы толкнуть их к неприятию и негодованию…

— Да неужто всех государей этот Маркел порочит? Ужели все, все указы ему не в пронос, а? — императрица опять строго взглянула на главу Святейшего Синода. И невольно задумалась: как же свиреп Феофан! Ему должно быть первой заступой за священство, монахов, за мирян, а он — уж который раз трактует: московиты грубы, тупы, во всем полные невежды, а вот он единым в отечестве светилом, этот выученик иезуитов… Вон, истинный святитель — Дмитрий Ростовский… И после смерти чтим всеми. Милостивцем был для всех при жизни, а теперь архирея называют святым. А этот?! Дай-ка ему волю — всех распнет! — Прости, владыка, я в мыслях отстранилась, запинаюсь…

Феофан расстегнул свой сафьяновый портфель с золотой застежкой. Он боялся одного: замешательства царских особ в разговоре — думают! Это замешательство может ведь обернуться и страшной бедой. Он нарочито заспешил:

— Ваше императорское величество! Мой экстракт на книгу Родышевского заключен в трех частях, льщу себя надеждой, что вы соизволите полистать эти трактования. Оговорщики налицо: от одново гнила яблока целый воз загнивает…

— То верно!

— По некоторым данным иеросхимонах Иоанн в Саровской повязан с немирными раскольниками.

— Кто свидетельствует?!

— Будут свидетельства — Ушаков достанет.

— Дыбой… В Тайную, значит… — императрица скорбно улыбнулась. Ее большие темные глаза подернулись грустью. — К любезнейшему Андрею Ивановичу, что вины добывает пыткой… [71]

Прокопович открыто льстил:

— Ради неомрачения дней царствования вашева величества!

— Так, что делать?

— Примите совет: корень злодейства исторгнуть, выволочь наружу и силу его испразнить! Мнение мое: пока не поздно, сыскать тех наустителей-советников, помощников и передать их светскому суду. Дело преважно — несумнительно государственное!

— Уж и не знаю. Так вот, сразу…

Просвещенный шибко Феофан Прокопович достаточно хорошо знал историю древних и новых времен… Первенствующий член Святейшего Синода накрепко усвоил — чего боялись и страшно боятся сильные мира сего: страшатся они потерять власть-сласть. Дядюшка-то нынешней императрицы давно ли своего сына-наследника избыл из-за этой боязни, жену и троих сестер в монастыри заточил… Так что стоит только насторожить Анну Иоанновну, которая всходила на трон так трудно, с такими оговорками верховной знати…

И архиепископ осторожно открыл свой заготовленный козырь — царица так чутка к козырным картам…

— Государственные преступники трактуют, что престол ваш принадлежит Елизавете Петровне. Они порочат вашу монаршую честь!

Лицо Анны Иоанновны и без того полнокровное разом побагровело, глаза блеснули гневом.

— Зер шлехт! Уж коли так… Только вот что: схимонаха Саровской ангельского чина не лишать… Он теперь должность игуменскую не исполняет, на покое. Матушка моя, царевны Мария и Феодосия к старцу радели — подземный храм в Сарове устрояли. Известно мне, что монахи там ежегодно зеленый праздник празднуют, имя императрицы возносят перед Богом…

Феофан осторожно, тихо вернул Анну Иоанновну к главному предмету разговора. С тончайшей язвинкой, произнес:

— Оставим всех в покое, дадим повод Елизавете Петровне…

Императрица вспомнила о своей затаенной противнице, в гневе закусила свои полные вишневые губы. Рожденная от «подлородной» матери ищет трона…[72]

— Пусть светский суд решит! Я — умываю руки…

Анна Иоанновна коротко взглянула на часы, затем за окно: там, на Неве, играли подсвеченные июньским солнцем легкие взблески плескунцов.

Прокопович понял, что аудиенция окончена, и встал.

— Владыка, оставьте трактат — охотно прочту, ваше красноречие принадлежит истории… И передай графу Остерману, что жду его завтра к обеду. Повести приятеля, порадуй ево: опять по-твоему вышло у бедной Анны…

Архиепископ ушел раздраженным. Про себя пошутил по-

русски: не дотянулся Феофанушка до Иванушки… Ну, не все волку теляти жрати…

Оставшись одна, императрица, с невольной грустью, воспомнила своего родича Семена Андреевича Салтыкова. Тот как-то в семейном кругу объявил ходившую в народе молву: честным людям нынче жить нельзя. Кто получше, поумнее разумеют о немцах при дворе — в кратном времени пропадают, зачисляются в нети…[73]

Анна Иоанновна опять посмотрела в окно: на улице заморосил мелкий белесый дождь. Как всегда непогодь портила ей настроение — давала знать о себе ревматическая нога.

— Манька, вели дуракам собраться — потешьте государыню!

Толстая шутиха проворно укатилась за дверь.

В тишине кабинета резко заверещал попугай, звал к себе. Императрица подошла, кинула в чашку птицы несколько орешков и неожиданно для себя заговорила — оправдывалась:

— Ради непомрачения дней царствования моего старается Феофанушка. Как провидит, и как стелет, как настораживает! Но и то верно: Елизавета, кровушка-то дядюшкина, в затылок дышит, ждет… Да, народ помнит дщерь Петрову. Молода, пригожа собой — такая только пригляди инова молодого, вернова полковника — страшно подумать! Нет уж, Елизавета, погоди, погоди… Веселись там себе… А твоих обожателей, а они и средь монахов объявились, мы тово… укротим!

И Анна Иоанновна, чтобы забыться, широким мужским шагом заторопилась к шутам.

3.

Вдруг так потянуло в Красное, в Арзамас — туда, где все начиналось и все открылось.

Это, знать, предчувствие неминучей беды погнало в прошлое, к своим, душа тихо нашептывала: пришло прощальное время, поди на родные стогны — ты удручен годами юдольной жизни, изнурен трудами и скоро отыдеши в иной мир…

Стоял теплый сухой сентябрь. Над сжатыми полями, над желтой блестящей стерней плыло мягкое серебро легких тенет.

Едва миновал Дивеево — невдолге, догнал в своей легкой тележке знакомый священник.

Иоанн остановил свою лошадку — поздоровались, порадовались нечаянной встрече.

— Давненько не виделись!

— Не доводилось…

— Камо поспешавши?

— В Арзамас?

— А я сперва в родительское село.

Батюшка, еще моложавый, в простом мужицком армяке, пригласил в свою тележку.

— Святый отче, у меня конек еще свеж…

В плетеном коробке связенника, на соломе, покрытой старенькой рядниной, места хватило — свою лошадь Иоанн привязал к задку тележки.

Поджарый мерин у священника оказался и впрямь побежливым, покатили споро.

— Какая нужда гонит в Арзамас, отец Пётр?

Священник то щурился — солнце встречь изливалось, то поблескивал голубизной своих больших глаз, длинные светлые волосы его то и дело выбивались из-под легкой валяной шапки. Иоанн полюбовался бородой батюшки — мягким золотым скатом опадала она на широкую грудь.

— В Духовное правление кой-что накопилось, а потом и воеводе челом бить.

— Воевода Воейков в Арзамасе — муж суровый, но и слушать умеет.

— Сие мне ведомо. Послал меня мир…

— Беда какая?

— А коли наши поселья без нужды, без беды.

Иоанн вспомнил присловье:

— Нужду мужик в реке топил…

Священник подхватил — знал ходячую в народе поговорку:

— Да не утопил! Вниз вода несет, а вверх кабала везет! Но нынешняя беда хужей прежних. Объярмили мужика донельзя! Немецкий кнут спину православных дерет с последней жесточью.

— Да что такое?

— Ты же, схимник, не в затворе неисходном сидишь, знать должен. Недоимки выколачивают сатрапы бироновские. Аки волцы ненасытные налетают на мужиков и ставят их на правеж. [74] Палочьем выколчивают не только саму недоимку, так еще и пени! Скот забирают, амбары чистят. И плач, и стенание отовсюду. Что деется, что деется — такова не было на памяти мирян. В моем приходе двое мужиков не выдержали палочья. Вот поехал заявить воеводе о забитых. Мало тово, три семейства прошедшей ночью утекли безвестно куда. Сказывал мне один мужик, пошептал: куда-то в твои сосновы пределы наладились.

— Мордва народ понятливый, не выдадут! Гляди-ка что-о, — качал головой Иоанн. До последнева свирепства дошли власти…

— Вот тороплюсь по мужицкой воле, и в страхе пребываю: «Духовный регламент» над попами завис. Ведомо ж тебе, что указ Синода повелевает нам, духовным, тайну исповеди доносить начальству.

— Ведомо, ведомо это прискорбье. Выше Священного писания поступают синодальные, но и то сказать: под началом чиновных ходят.

— Начнется у нас в селе сыск — учнут мужиков на исповедь ставить, а как кто из них наговорит лишков на беду своей головушке…

— Аты не нарушай тайны исповеди. Прими на свои рамена мирское: не оглашай того, что ждать будут от тебя баскаки мундирные. Упреди загодя мужиков и баб, чтобы тех лишков не баяли…

Помолчали. Тележка постукивала колесами по сухой дороге.

Наконец признался и Иоанн.

— Мою обитель тож, батюшка Пётр, беда не обошла. Тоже поплачусь. Несколько монахов под крепким караулом в Москве, а может теперь уж и в Петербурге. И чует душа: вспомнят таки и о обо мне…

— Оборони Бог! — священник даже конька своего попридержал. — С какой же бедой повязан…

— Ты про архимандрита Псковского Печерского монастыря наслышал ли?

— Про Родышевского… Хоша и на отшибе живу, но в Арзамасе бываю — просветил нынешний архимандрит Спасского Иоасаф. Вестовал о Маркеле довольно.

— Так вот, ревнивец правды Родышевский написал крепкую книжицу противу Прокоповича, ересиархом ево назвал…

— Сказывал, сказывал Иоасаф, что вместе-де они служили…

— Потому-то Родышевский и знает Феофана насквозь. Взъярился глава Синода, подверг Маркела страшной опале, а заодно волокет в Тайную и тех, кто слову Родышевского внимал, кто книгу его хранит. Держали оную и мы в монастыре. Так вышло: я то в Москве, то в Петербурге, то по уездам с исканиями земли. Кому доверился — тот своевольничать начал и других смущать…

— Ну, ясно…

Опять помолчали. Иоанн загляделся на млеющие в теплыни пустынные поля, на легкие облака с теплыми подпалинами — день клонился к вечеру.

— Тебя, поди, в Синоде, в Синодальной канцелярии в Москве хорошо знают. Там, ежели что, ищи заступу.

— Знать-то знают… Чую, Прокопович дело завел, а уж он как

вцепится… Вот и живу в тревоге. Не смерти боюсь — бесчестья — не заслужи-ил!

— Ужели правосудия нет? Хоша о чем я… Ведомо мне, что закон — узда только для слабых и бедных!

Они давно во всем доверялись друг другу — годы выверили их дружбу. Только жалковали при встречах: редко видятся… Расставались у развилки дороги — поясно поклонились друг другу и свято облобызались. Отец Пётр успокаивал:

— Может, обойдется, мало ли…

Иоанн пересел в свою тележку, уже с вожжами в руках загрустил:

— Ты, батюшка Пётр, с народом каждодневно. Это тебя и величит. Любовью окормляй мужиков — они первыми хранителями нашей веры. А ежели послышишь, что меня уже нет на белом свете, помолись обо мне: да не буду лишен тех обителей, где упокоиваются праведные по милости Господа нашева.

Отец Пётр светлел лицом, его васильковые глаза светились детской чистотой.

— У тебя, Иоанн, — ангельский чин… Но помолюсь, помолюсь о тебе перед Всевышним и теперь, чтоб пронесло беду мимо…

— Прощай!

…Давненько он не бывал в Красном. Вона что… Дом помещиков Матюшиных поновел: подняли его на каменный подклет да и рассторонили. Окна поверху новомодным полукружьем, на итальянский манер… Появилась красивая ограда, за домом — новые службы, сад загустел. Яблони виделись кое-где уже и на крестьянских усадах, и это особо радовало: деткам-то по осени яблочки в какую усладу!

Ехал улицей села медленно, намеренно не торопил лошадку. А почти никто не узнал из встречных старого монаха в куколе — унесло катючее времечко, знать, многих ровесников…

Иоанн одарил собравшуюся родню давно купленными московскими подарками. После ужина выложил мужу сестры деньги и тут же успокоил:

— Это графиня Матвеева мне лично… Отнекивался, не брал, так она поминком фамилии своей. Вот тут и помянник Матвеевых — поминайте!

— Как же! И о здравии самой графинюшки…

Муж Екатерины рано ушел спать в горенку, Иоанн с сестрой засиделись в избе.

Иоанн полез в свою дорожную торбу, вытащил сверток в чистой холстине и открылся:

— Вот, Катя, тут твоей старшинькой. Этот плат когда-то я на плечи одной девоньке накинул — ты знаешь… Не выпало мне судьбы, вернула Улинька с верным человеком…

На столе полыхнули по шелку яркие радужные цвета.

У Екатерины блеснули слезы в глазах.

— Братка, роденька…

Иоанн поднял седую голову, посуровел голосом.

— Ну-ну! Божьей волей живем. А это — две «Азбуки». По одной станешь своих учить — ты бойконько, помню, читала… А другую отдай дьячку — дьячки все больше отрочей учат.

Екатерина вытерла уголком платка слезы.

— Дядя Михаил помер, слыхал ты?

— Передали, как же! Часто вспоминаю слугу Божьева… От нево я все святое перенял, как он меня терпеливо наущал. Книгу о Сергии Радонежском вовремя дал — с той поры я и загорелся…

Сестра пригорюнилась у темного, уже ночного окошка.

— Ты, братка, что-то всево себя опростал, всю торбу роздал, будто в последний раз приехал…

— Может, и в последний — все под Богом ходим… — грустно отозвался Иоанн и опять твердо закончил: — После, чтобы без слез обо мне. Не отягощайте мою душу горестями — я Богу служил!

Назавтра пошел в Арзамас.

Город давно прослыл крупным ремесленным и торговым. Только купеческого звания людей мужеска и женска пола в нем проживало более двух тысяч человек, а приказчиков более полторы сотни.

В воеводской избе, а теперь в канцелярии сидело два асессора. камерир, казначей, секретарь, три канцеляриста и шесть копиистов. По велению Петра I появился в городе магистрат с двумя бургомистрами и тремя ратманами — не люб был царю-батюшке русский язык! А оприч того в городу имелась таможня, кабацкая контора, конская (ямская) изба, в городской и уездной канцелярии содержалось более тридцати рассыльных.

К 1727 году население Арзамасской провинции уплачивало четырнадцать тысяч рублей государственных сборов. К названному году недоимки арзамасцев составили тридцать тысяч рублей. Так вот «цвела» богатая арзамасская земля, замученная неслыханными доселе поборами. Как собирались недоимки в селах и деревнях — вот об этом «птенцы гнезда Петрова» в книге о цветущем состоянии Всероссийского государства не распространялись…[75]

Умер в Введенском иеросхимонахом родитель Федор сын Степанов, царствие ему небесное!

С грустью вошел Иоанн на крохотный монастырский двор: здесь он постригся таким молодым-молодым…

Братии в обители не оказалось. Ветхий монах со слезящимися глазами объявил, что все уехали в городской лес за грибами: вчера теплый дождик прошел…

Очередной архимандрит Спасского Иоасаф к концу жизни стал говоруном — монах будто хотел наговориться перед скорым концом. Что-то он покашливал — в боках у него покалывало, все-то прикрывал худенькой ладонью вялый стариковский рот. Говорил он открыто, без боязни:

— Патриарха — заступника нашева нет! Худо: сидит в Синоде чужой человек! С ево, поди-ка, подсказки царь Пётр разделил монастыри: вот тебе монастырь, а вот приписной к нему. У нас в Нижегородской епархии осталось двадцать мужских обителей да приписных к оным тридцать два. К моему, Спасскому, причли: Высокогорский, Троицкий да второй Троицкий на Пьяне-реке, ну и прежний твой — Введенский. Как же мне догляд держать за каждым? Из Спасского, что тут прежде скоплено было — все роздал на бедность прочих.

Посидели старики, повздыхали изрядно, да и как не вздыхать! Бывало, Русь Святая святостью своей на весь крещеный мир светилась… А теперь — патриарха нет, нет царя-надежи, нет и царства… Империя ныне… Первый император треть монастырей в России упразднил, во всем монахов поприжал, а дальше каких напастей ждать?

Хотел признаться, рассказать Иоасафу о всем случившемся в своей пустыни, да не попустил себе: зачем огорчать старца, у него и своих забот-хлопот боле чем надо. А потом, может статься, пронесет беду…

Из Спасского вернулся на Арзамасскую площадь. Прошелся Верхним базаром — ни единого, знакомого прежде, не встретил. Только старого сбитенщика углядел. Помнится: он, Иваша, в монахи, а Прошка Шубин на площадь со сбитнем. Чистый холщовый передник с крепким поясом, на поясу три висячие кружки и медный, на ремне, логушок с закрышкой: «Кому сбитня Горячева!»

Прокопий — тоже поседел, подошел под благословение, заулыбался, заторопился подать кружку сбитня — какие деньги, что ты, святой отец!

Тепло попрощались, оба — уж невольно, подумали: доведется ли свидеться…

Накануне отъезда из Красного, уже вечером, взошел на колокольню и удивился своей теперешней слабости. А как легко взлетал он, бывало, по истертым ступенькам деревянной

лестницы на третий ярус — будто кто возносил на крыльях!

Все так же с сухим треском крыльев рвали приглушенную синь неба сизые воркуны, и опять недвижимые облака висели над родным краем. В красивом уборе лежала внизу упокоенная сентябрьская земля: направо поля до горизонта, а налево зеленая луговина над Тешей, и далее, за речкой, притихшие осенние леса, рыжая горбушка Высокой горы…

Посидел на узенькой лавочке звонаря почти до темноты. А потом, уйдя в прошлое, медленно зашагал к Теше. Речка как-то долго не угадывалась, и уже Иоанн стал сомневаться: куда же зашел, старый? Ага, вот темная полоса сухой осенней осоки… Пахнуло тяжелой сыростью воды. Где же памятная ветла — та самая?! Его торопило знакомое, еще не угасшее, оказывается, душевное томление, притаенное радостно-заманное… Он пошел направо, но той давней его скрытни не было! Ведь тогда, в ту ночь… ветви, густая листва славно укрыли его с Улинькой. Какое великое таинство купальской ночи объяло их…

Старик в черной рясе едва не упал в скором шаге, а когда пригляделся — увидел лишь избитый скотом низенький пенек, ободранный, давно почерневший… Вот что осталось от тихого поверенного свидетеля его первой, давней-давней чистой любви… Монах сел у знакомого омутка, глядел на слабое мерцание воды в черных берегах, на далекий отгоревший закат, на потемневшие расплывчатые дали и мерцание редких огней в селе. Он был готов заплакать от внезапной жалости к себе за несбывшееся когда-то, но и от тихой радости, что его чистая юная любовь к девушке обратилась потом непреходящей любовью к Богу и никогда уже не оставляла его.

Не сразу, но вернулся в мыслях о себе и, прозревая о будущем, сказал: теперь готов к тому, что будет — все в руце Божьей! Он сказал это и разом успокоился, и медленными стариковскими шагами побрел к дому сестры.

На подходе к селу подумалось: а хорошо бы посадить весной у Теши, на том же месте, молодой ветельный колышек — приживется! Накажу Кате — она поймет. После будут каждый год пьянящие купальские ночи и кто-то из влюбленных уж обязательно найдет свою упрятку под пышной ветлой…

Екатерина знала куда и зачем ее брат и в этот его приезд ходил поздним вечером. Она тяжело вздохнула по-женски, но не пожалела Иоанна: он в ангельском чине, он выше ее человеческой жалости…

Объявилась нужда съездить в городок Темников: старая барыня обещала монастырю доброхотную лепту. Сильно занедужилось, вскинулась болезнь «зовомая» — дальше Иоанн не разобрал чужестранное слово, и вот с оказией передала просьбу немешкотно приехать за вкладом на вечный помин родителей и «нас грешных с благоверным супругом»…

Иоанн тотчас распорядился запрячь конька, взял молодого дюжего послушника и, благословясь, съехал со двора пустыни.

…Они возвращались уже обратно.

Стоял студеный октябрь, но в гуще леса еще чуток держалось летнее боровое тепло, даже слышался запах листовой прели. Верховой ветер бросал на дорогу сухие сосновые, иглы, кой-где невысохшие лужи, усеянные наносной листвой, теми же иглами и оправленные синью отраженного неба смотрелись причудливыми коврами.

Давно уж Иоанн стал уставать от дорог, а дорог этих выпало на его долю немало. Прежде, смолоду и охотило посмотреть на мир, на людское страдование в разных там градах и весях, теперь же в старости, когда поизбылось некогда устойчивое любопытство, к тяготам долгих путевых вёрст добавились непростые размышления о судьбах мира, о бесконечности и разнообразии людских путей на земле.

Это озирание на дальнее и ближнее прошлое неизменно вызывало тревожную заботу за будущее России.

Печально, что каждое новое поколение людей оставляет после себя мир духовно несовершенным. Но, наверное, в этом и есть высший Промысел Божий: всяк народившийся на земле и купно все человеки сообща, в свой черёд, должны много потрудиться над совершенствованием своей собственной души и мирской жизни. Знать, это и есть особый сокровенный смысл для землян в бесконечном ходе времени.

На путях и перепутьях человеческих немало возвышается и сияет имён тех, кто утверждал своим бытием святость Божьих заповедей. И в этом длинном перечёте святых он, Иоанн, видит имя и Никона — вся вторая половина прошлого века и треть нынешнего полны силой высокого творения этого патриарха, который не только свято возмечтал, но и горячо, неуступчиво принялся за трудный, но и радостный труд насаждения земного рая на родной земле. Патриарх, повседневно носивший железные вериги на теле, радел, трудился на величие России. Жаль, мало дал ему царь Алексей Михайлович до опалы времени на те великие труды. Россия, по мысли Никона и по словам тех немногих, кто был близок к патриарху, должна стать Ноевым Ковчегом для вселенского православия. Вот почему Никон и

начал строить в Подмосковье ярким символом обетованную Новую Палестину, на которой поднялись монастыри Иверский Валдайский, Кийский Крестный и на особицу Воскресенский Ново-Иерусалимский. Третий Рим в России — десно, радостно! Воссиявшая православная благодать — так ведь в прошедшем еще пятидесятом году Арсений Суханов провещал миру. И этот великий замысел патриарха был принят от Москвы и до последней избы пахотника! Как же славно мыслилось Никону: свою Палестину он строил десятицу лет, а в ней определял Иордан, Назарет, Вифлеем, Капернаум, Раму, Вифанию, Фавор, Ермон, Елеон и Гефсиманский сад — все святые места, освященные Христом! А в Ново-Иерусалимском монастыре — Воскресенский собор — это подобие храма Гроба Господня в подлинном Иерусалиме с Голгофою и Гробом Спасителя… Это ведь устроялся образ обетованной Палестины, Нового Иерусалима на российской земле… Глубоко, сокровенно прозревал великий Никон в заботе о грядущем величии и славе Отечества — сим он и остается на святых скрижалях наших…[76]

Проехали от городка уже верст девять-десять, как открылась справа давняя вырубка с густым березовым подростом, редким ярко-зеленым соснячком, среди которого могуче возвышался старый дуб с черными раскидистыми сучьями.

Как-то неожиданно громко в застоявшейся осенней тишине раздалось резкое карканье ворона. Пригляделись: птица как бы ждала саровцев, изгибала, тянула к ним шею, будто кто душил ее — кричала только для них: вещала с каким-то зловещим хриплым надрывом.

Послушник торопливо перекрестился и запахнул свою грубую сермягу. Не умолчал:

— Пронеси, Господи!

Иоанн очнулся от своих теперь постоянно невеселых мыслей и успокоил младшего:

— Слово Всевышнего осуждает страх суеверия. Суеверие — оно от слабости человеческой.

Послушник видно искал разговора с игуменом:

— А у нас в селе батюшка во время родов иной бабы открывает царские врата в церкви, поются тропари Божьей Матери «Милосердия двери» и «Не имамы иныя помощи…»

Послушник хлестнул конька и опять затих в передке телеги.

Странно, едва проехали вырубку с черным осенним дубом и черным вороном, как на Иоанна навалились какие-то тягостные мысли, стала одолевать налетная тоска. Впрочем все последние дни он жил в непреходящей тревоге; плохо спал ночами — мучился от ожидания того неизвестного, что, по его

предчувствию, долженствовало случиться.

…Проглянуло из туч робкое солнце, Иоанн порадовался тому, как сразу ожили на свету желтые сосновые стволы, как ярко вспыхнула багрецом развесистая осина у придорожной мочажины — не опали ее будоражливые листья тут, в затишке… Колеса телеги то увязали в песке, то постукивали о выпирающие корни деревьев — потряхивало и на соломе, и не сразу он услышал частое, настойчивое стрекотанье сороки — она, белобокая, рывками пролетела рядом, испуганно жалась к плотному сосняку.

Известно: сорока — это предвестье, кто-то близко идет или едет из людей, или уж это лось явился покормиться подсохшей травой у обочины дороги.

Конек трубно заржал, и послушник в передке телеги обернулся — лицо тревожное.

— Кто-то встречь. Не лиходеи?

— Господь с нами! — опять, едва скрывая волнение, успокоил Иоанн спутника.

И тут раздалось ответное ржание, и тотчас из-за поворота дороги показалась усталая пегая лошадь и двое солдат в темно-зеленых мундирах. Третий на подводе предстал человеком чиновного вида.

Иоанн успел шепнуть послушнику: под соломой — котомка, после Дорофею ее, он знает…

Солдаты проворно соскочили с телеги, еще проворней бросились к подводе Иоанна. Он осадил их насмешливым словом.

— Я думал, вы на приступ крепости ринулись. И сабли наголо…

Солдаты топтались у телеги.

Вперед выступил чиновный.

— Саровцы однако…

— Саровцы…

— По указу из Тайной канцелярии… Под караул!

Иоанн и опомниться не успел, как солдаты, тесня его, уселись по обе стороны грядки телеги.

— Трога-ай!

Испуганный конь забился в оглоблях, вытянулся, задергал телегу, и только знакомый ласковый голос послушника, успокоил его. Медленно потащились по твердой осенней дороге. Солдат, что сидел справа от Иоанна, то и дело тыкал саблей в спину перепуганного послушника и торопил, торопил:

— Гони, гони-и…

Иоанн прилег набок и затих. Все было ясней-ясного: явились-таки, подкатилась и под него та беда. Еще одно испытание… «Но не ропщу, Господи!» — сказал себе старый монах, закрыл глаза и

вспомнил, что на дворе 30 октября 1734 года.

Уже далеко отъехали от Темникова — дорогу Иоанн давно-давно знал, а по старой сосне, что стояла у крохотного озерка, определил, что до пустыни осталось версты три-четыре. Он поднялся, тронул за плечо чиновного, который пересел на монастырскую подводу, а солдаты тащились на своей телеге сзади.

— Позволь проститься с братией.

— Простишься, простишься! Но до покоя твоего не допущу, да там и не убрано: солдатики и мои копиисты малость пошарили…

— Это как так? Самочинно?!

— Зачем бы нам тащиться сюда самочинно… Наказ был такой!

Не знал первоначальник Саровской пустыни, что накануне в его пустынь нагрянуло шестеро солдат и чиновных из Москвы.

…Это ближе к вечеру сильно забухали в ворота. Перепуганный привратник едва откинул створы — мимо его на ямских подводах, с гиканьем пронеслись незваные гости: канцелярист Тайной Степан Яковлев, два копииста и три солдата.

На площадь перед церковью сбежались монахи. Ефрем не сдержал раздражения:

— Вы что, яко вороги свирепые врываетесь в святую обитель?! Что за свист разбойный подняли?! Ну да, теперь ведь монастыри не в чести…

Яковлев упер руки в бока, тоже едва не кричал:

— Первоначальник где?

— В Темникове. Завтра должен вернуться.

— Ты кто именем?

— Ефрем…

— Ты-то нам и надобен. В цепи ево! — рявкнул канцелярист, — А где Феофилакт?

— Вот он я…

— В цепи! — опять заорал Яковлев.

Солдаты загремели привезенными цепями, сноровисто заковали монахов.

— Под караул!

Перепуганные чернецы молча разбрелись по кельям. Дорофея в пустыни тоже не оказалось — уезжал на дальнюю мельницу.

Утром солдаты засуетились у конюшни, запрягли монастырскую пегую кобылу и скоро съехали со двора. «За Иоанном!» — догадались монахи и не ошиблись.

…Иоанна никто не встречал.

Его посадили в отдельную келью и держали до тех пор, пока

солдаты не отобедают.

Троих обречённых вывели из монастыря. Ефрем еще бодрился, нарочито громко гремел цепью, и Яковлев заорал:

— Успеешь, еще наслушаешься кандальных звонких песен. Аты, гривастый, чево тянешься как муха сонная… — шикнул чиновный на Феофилакта.

К воротам пустыни, откуда-то сбоку, вершне подъехал Дорофей и разом понял все. Озаботился, кинулся к Яковлеву.

— Умилосердись! Шубы, шапки позволь им взять — зима ж на носу. И дозволь, милостивец, проститься нам со святым отцом, с братьями…

Лесть монаха расслабила канцеляриста. Солдаты принесли из амбара нагольные шубы и шапки. Иоанн надел шубу, тихо порадовался: замерз же за долгую дорогу из Темникова.

Торопливо вышли из обители.

— Стоять! — тут же одернул Яковлев чернецов.

Иоанна, Ефрема и Феофилакта солдаты отвели от ворот шагов на десять. Взятые под арест стояли неподвижно.

На глазах провожающих виднелись тихие слезы.

Яковлев торопил.

Иоанн, гремя цепями, трижды поклонился до земли чернецам, широко перекрестил их. Поклонились первоначальнику, Ефрему и Феофиолакту остающиеся саровцы. Затем Иоанн также широким крестом осенил свою пустынь, передавая ее попечению братии и в заступление Божие и Царицы небесной. Он не выдержал и заплакал. Монахи скорбно опустили головы, Дорофей зарыдал.

Вывели за ограду запряженных ямских лошадей.

Загремели цепи. Заскрипели тележные оси — дорога спускалась к Сатису…

Ярко взблеснуло из-за туч высокое солнце на золоченом кресте Саровского храма. Ярким цветом осенних красок высветилась родная боровина — прощалась со своим старым пустынником.

Иоанн все оглядывался назад, жадно ловил глазами еще яркое сияние церковного креста и теперь, чему-то своему глубинному, открыто улыбался…

5.

После начальных допросов в Москве саровцев и берлюковцев перевезли в Петербург, в крепость.

Поскольку в дело попали монахи — «чины духовного ведомства», сперва допросить их решился первенствующий в Святейшем Синоде Феофан Прокопович. Такому высокому сану, конечно, не приличествовало являться в ушаковский ад — архиепископ допрашивал чернецов у себя на приморской даче в Ораниенбауме.

Феофан был очень заинтересован в исходе дела. К дознанию своему он привлек архимандритов Чудовского и Пацкого. Видимо, не совсем доверял Ушакову, глава Синода решил сам «распутать этот узел по предметам важности». Он скоро его распутал! После допроса несчастных подал Анне Иоанновне пространный, пугающий доклад, который императрица утвердила в середине августа, приказав «делать с арестованными что надлежит».

Начально и Иоанна коротко допросили в Москве в Синодальной канцелярии, а затем с Ефремом и Феофилактом увезли в Петербург. Там надолго как бы «забыли» о первоначальнике Саровской обители, но вспомнил о иеросхимонахе генерал Ушаков. Донёс служитель, что старец, похоже, сильно немоществует…

Андрей Иванович бегло прочел московский допросной лист Иоанна — он оказался кратким и не содержал ничего такого, за что можно было бы уцепиться и первому чиновнику политического сыска.

А из допросов саровцев следовало, что первоначальник «нравен» — то есть тверд в своих воззрениях, «состояния не коварного, только своего начальства над монастырем крепко держался» — крепко управлял, устав-то пустыни утвердили строгим… «В вещах, как-то книгах, которые при себе имеет — в тех братии не податлив». Последние слова, конечно же, нарочито сказаны для обеления своего аввы: не навязывал монахам запретное, ни в коем разе! В допросном листе объявлены личные труды Иоанна. Он сообщал, что наряду со всеми монахами, кроме того, что устав пустыни «содержит — несет послушание: лапти плетет и лестовки делает».

За ним пришли…

Он услышал тяжелые шаркающие шаги тюремщика и легкие летящие солдата, и разом понял кому и зачем надобен.

Замок заскрежетал, с грохотом откинулась железная накладка, и дверь со скрипом отворилась. Иоанн, гремя кандалами, встал, накинул на голову черный монашеский куколь, перекрестился и молча вышел в коридор, удивляясь как это еще держат его затекшие ноги — он так ослаб за последнее время, что и не чаял, что поднимется.

Допросная камора невелика. Голые пыльные стены, сырость по углам, местами щелястый пол. У оконной стены длинный стол, покрытый красным, давно вылинявшим сукном, на столе — зерцало,[77] трехрогие шандалы с оплывшими сальными свечами, бронзовые чернильницы, гусиные перья в тяжелых медных же стаканах, обязательная песочница для скорой сушки чернил.

Часто при допросах сидел секретарь Тайной — Хрущев, но на сей раз над столом возвышался только Ушаков. Никакого допроса не мыслилось и тот Хрущев без надобности.

Генерал внимательно оглядел старца и тут же заскучал. Ну, что проку мытарить этого высохшего схимника? За тетради Родышеского? Так их переписывают наверняка по всей Москве, кому в интерес. Разошлись эти тетради, эта книга по епархиям, монастырям, как и книга Стефана Яворского «Камень веры»… Тем паче и у вельможных книжников их не трудно бы сыскать, только кинься в домы… Что же причесть еще, какую вину добавить саровцу? Скупку земли, но все бумаги утверждены законным путем, а указ о закреплении угодий за монастырем сама императрица, по мнению Сената, высочайше утвердила… Передано из дворца: не лишать схимонаха ангельского чина — ну, в этом волен сам Господь Бог… И все же отпустить на все четыре монаха до окончания следствия нельзя — пусть сидит, спешить ему уже некуда…

И все же хотелось Андрею Ивановичу немного потрясти старца — падок генерал на откровения тех, кто попадал к нему в «пыточные горницы». Это пристрастие — вечная должностная слабина каждого сыскного служки.

Ушаков трубно высморкался, сдвинул было свой затасканный парик на сторону, но тут же опомнился — поправил и, как послушный школяр, выложил на потертое сукно свои пухлые ладони.

— Ведомо тебе, монах, о чем будет расспрос?

Иоанн слишко уж долго сидел в невольном затворе, давно понял, поскольку не «расстригли», значит не коснутся его и плети, пытки, что «забывают» о нем намеренно — сколько уж таких вот «забытых» прежде тихо угасало в крепостных узилищах…

— Ты, Андрей Иванович, небось, читал допросные листы. Позволь сесть, ноги не стоят.

— Садись и говори без утайки!

— А тайничать мне надобности нет, — Иоанн говорил тихо, но внятно. Голос у него давно сел, но не стал сиплым. — Вся вина моя в недосмотре за братией: долго я землю искал для монастыря, подолгу обретался в уездах и столицах. Вот за моей

спиной и содеялось, может, и осудное.

Генерал вскинул руки.

— Как же ты, пастырь, пригрел государственных воров, этих злыдней?!

— Нарекаешь меня… Так вот и вышло. Батюшка, Андрей Иванович, что я! На твоих памятях, при Петре Алексеевиче уж какие близкие к государю головы падали — кому в вину вменять, кто не углядел?! За что же меня порицавши, винишь столь? Без меня Иосия принимал, постригал приходящих — своеволия, он же в священническом чине был…

— Откуда ты его прилучил?

— Знать не знал! Его царевны в свою бытность определили ко мне. Ведь он прежде в Симоновом монастыре иеродиаконом — мог ли я усомниться в таком посланце! А Георгия Зворыкина опять же Иосия пригрел. Но тоже — дядья-то. Один — стольник, другой служитель двора царского. Сам Георгий в герольдии у графа Сантия…

Они сидели в каморе вдвоем, даже место караульного солдата у входа пустовало. Иоанн слабел от этого разговора с Ушаковым, ему показался тяжелым уже и куколь.

Андрей Иванович лениво — для виду перебирал на столе бумаги.

— В твоей келье найдены зловредные книги…

— Мы — духовные лица, взыскуем истины, глубин любомудрия, а истина часто рождается в споре. И то правда, генерал, что истина не всегда ходит по лощеным полам дворцов. Господь правду любит скорей в рубище… А если уж прямо, начистоту говорить, то Родышевский на защиту нашева православия вышел, обличил лицемерие греховное. Маркел и есть зерцало правды!

— Но-но! Не бери на себя многова, монах! — Ушаков угрожающе привстал за столом. — У тебя там, да и в берлюковской воровское гнездо, огнище к зажжению смуты и матежа!

Иоанн уже мучился этим напряженным разговором, но его надо было довести до конца. В глубоко запавших потемневших сейчас глазах старца давняя кроткая грусть. Усмехнулся в смятую бороду.

— Это новгородец, Феофанушко, мнит так. Неймется ему, все-то врагов выискивает да государыню на них наускивает. Ну что это за верховный пастырь, который то и дело своих пасомых к дыбе толкает — обмысли-ка, генерал!

— Блюдет государственные интересы!

— Ему бы Божье соблюдать с тщанием. Не бери греха на

душу, не отягощай совесть, Андрей Иванович! Какие мы мятежники, какие поджигатели?! Что Лопатинский, что Родышевский — они, повторяюсь, о православии ревнуют, о главном нашем! Ты же русский человек, нашей церкви, генерал. Обмысли-ка все до тово кореня истины — это тебе яко пастырь, сана не лишенный, глаголю!

Было, было! С годами все чаще задумывался Ушаков, все чаще кричала в нем укорная совесть и боли страдающей уже души. Вот и сейчас, уткнувшись в бумаги, забыв о монахе, выговаривал себе эту боль.

Почти двадцать лет прошло, как он, Толстой, Румянцев и Бутурлин задушили царевича Алексея — хотел, хотел того батюшка Пётр, а то разве бы посмели они… Душегуб — вот кто ты есть, дражайший Андрей Иванович! Ну, а кроме царевича, сколько за два десятилетия замучил ты в застенках народу разных чинов и званий, когда производил «кнутовое исследование», когда увечил людей на дыбе со встряской, приказывал травить спину, кнутом истерзанную, солью, жечь огнем… А скольких отправил на лютые казни, угождая трем венценосцам и высоким чинам, теперь вот немцам… Устал, устал от запального рвения вот тут, в этой преисподней. Да, изнемог, точно отяготился страшными грехами, отбывая свою жуткую пожизненную повинность… Теперь вот саровские и берлюковские монахи… И дела-то почти никакого нет, но упыри. Жаждут крови!

Генерал не сразу обнаружил себя в каморе, не сразу услышал голос Иоанна, а тот продолжал:

— Не усовершай зла! Коли и вправду какая вина на саровских — вот он я! Пытайте, казните! А чернецов моих верните назад в пустынь Богу молиться. И пусть радуется Прокопович, что меня, православного, поволокли на плаху или в Сибирь…

Андрей Иванович попытался, как прежде множество раз, оправдать вседневные труды свои тем, что неволен, что исполняет он высочайшие повеления, но глубинная, неподкупная совесть неизменно и сейчас напоминала, что чаша его грехов без останову тянет вниз и вниз…

— Отче… — Ушаков с трудом подавил в себе страшные мысли. — А ведь я тебя, пожалуй, и порадую. Прокопович-то, Феофанушка-то — помре…[78] Что мнишь? — генерал так и впился своими зоркими глазами в лицо Иоанна. — Ну-с…

И малой тени радости, «живства» не узрил генерал в бледном лице монаха.

— Господь ему судья! — Иоанн перебирал четки, они сухо постукивали в могильной тишине каморы. — В животе человека Бог волен — помнить надлежить нам об этом. О Прокоповиче же

скажу словами аввы Фелассия. Речено им: «Мнящийся быть мудрым ум, есть облако безводное, носимое ветром тщеславия и пустой гордости». Вот и Феофан: всю жизнь метался, какую веру выбрать — тщеславился, прихоти свои бессчетные ублажал. А еще-то что? Светильники православия гасил. Нет, не будет он почитаем в народе нашем!

— Ты бы полегче, мних! — почти взмолился Андрей Иванович. — Ведь и тут стены слышат…

— Тебе видней! — Иоанн распрямился на стуле, забыл о четках. — Не стращай, генерал. Монахам ли страшна смерть! Нас Бог призреет обоч Себя. Что меня касаемо — на краю могилы стою. Пусть боятся геенны распинатели. Кто у маммоны в услужении…

Ушаков понял явный намек, вскочил с кресла, рявкнул в дверь, позвал служивого.

Тотчас явился солдат.

— Увести!

Оставшись один, генерал обнаружил, что он вспотел, испугался: с чего бы это? Он устало вышел из-за стола и бодро поспешил к заветной шкапе со штофом водки. Пил Андрей Иванович теперь очень умеренно, а прежде… однажды, еще в царствие Петра Великого, опился на праздновании спуска корабля на воду. Так, времена были между прочим и всепьянейшие!

6.

Он выпросил лист бумаги и чернил.

Припал к листу как к бесконечно дорогому: бумага всегда для него больше чем бумага. На ней ведь писано и печатано явлено Слово Божие, видение человеком окружающего мира, на ней запечатлены века истории, жизнь великих людей и трепет отдельных человеческих сердец…

Иоанн вспомнил о своей библиотеке в пустыни, о своих рукописях. Жаль, как жаль, что не брать, видно, более ему в руки своих книг, не услаждать себя тихими вечерами чтением великих, непреходящих мудростей Святого писания, мыслями святых отцов церкви, житиями святых светочей православия… Как хорошо, что отдал сестре Кате житие Сергия Радоженского — в народе, в простом народе надлежит быть сей книге — явятся и еще на Руси вожди духовные…

Вдохнул в себя запах толстой голубоватой бумаги: в запахе

слышалась знакомая сырая прель застенка, а еще и острый дух трубочного табака караульных солдат. Странно, но табачная смоль поднимала воспоминания о воле… А не сидеть ему боле в своей обители над чистым листом, так много сказать бы надо.

Писал долго: кончался май, свет в глубоком косящем окне держался допоздна. На удивление скоро уставала рука, казалась как бы чужой. Это письмо, а точнее заповедание попросит отослать строителю Дорофею с братией. Что же легло на лист: братия, непопустительно блюдите принятый устав — он основа монашеского общежития. Пребывайте в мире и братской любви, безропотно несите принятые послушания и будет дано вам… Живите, возлюбленные высоким небом Господа. Не падайте духом: Христос — это радость, которая покрывает всякую скорбь. Не предавайтесь унынию: идет Божие смотрение о нас, смотрение о православной России. И храните уже добрую славу своей обители на страдомной саровской земле…

Иоанн несколько раз перечел написанное, повздыхал над помарками и успокоился: успел в ясном уме сказать напутное слово своим духовным чадам. Одно пощемило сердце, что не увидит он сам-то боле литых саровских сосен, взнесенного над ними креста монастырского храма, не увидит Арзамаса, родного Красного и остатних родичей в селе он тож не узрит…

Почти четыре года провел в заключении Иоанн.

Кормили скупо. В 1735 году выдавалось узникам Тайной кормовых денег: Маркелу Родышевскому, иеросхимонаху Иоанну, иеромонаху Ефрему, иеродиакону Боголепу и Феофилакту, крестьянам — братьям Максиму и Ивану Шелягиным, Александру Яковлеву — по три копейки на день. А расстригам Якову Самгину, Кучину, Викторову и Георгию Зворыкину по четыре копейки. Остальным колодникам: Протопопову, Родиону Никитину, Носову, Ивану Яковлеву, Роману и Ивану Никитиным, Барсову и Авраамову, причастным к делу, по две копейки на день. Позже и Иоанну урезали довольствие до двух копеек.[79]

Кончилось определенное Промыслом Божиим время испытаний подвижника веры и благочестия. Каждое утро и вечер на молитве стоя, Иоанн просил прощения у всех саровцев и берлюковцев — у тех, кто попал в Тайную и нес жестокое испытание.

Навязывалось прошлое, криком кричала неуемная память и почасту приводила к тихой печали: сколько же трудов и разных горестей пало на черного монаха, сколько разных невзгод, скорбей и туги сердца! Тяжким выпал для него ярем Господень… Однажды едва подумал об этом, тут же вспомнились слова из Евангелия, и он порадовался им, их спасительному смыслу:

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдите покой душам вашим ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко», «Легко, легко!..» — вскричала согласная душа и пусть смерть является в это узилище — слава Богу за все! Он подивился, как изначалу долго не мирился со своим заключением, с камерой, с тем унизительным своим положением затворника по людской злобе. Но теперь-то он знал: эти его страдания — они последним испытанием Господним, который возлюбил своего верного слугу! Недаром же сказано: «Многими скорбями подобает нам внити в царство небесное».

Иоанн упросил приходящего священника отправить оказией, с верным человеком, присылку в Саров.

Батюшка с кротким, навсегда печальным лицом тюремного служителя, кивал головой в легком венчике редких седых волос вокруг маленького, почти детского личика.

— Дойдет твое письменное слово, отче, несумнительно. И, понизив голос до шепота, повторил сказанное узником: — Купцу Серебрякову, что здесь у Сенной. Ужо передам!

…В эту ночь ему полегчало так, что он как-то обостренно почувствовал, что еще жив, что сидит узником мрачного застенка. А ведь для него уже давно смешалось суточное время: держалась ли за высоким зарешеченным окном светлая глазница очередного дня, серая всегда сырая муть позднего вечера, или ночная тяжелая темень с давящей глухой тишиной. И не помнил он о времени даже тогда, когда молчаливый служка приносил грубую, скудную еду и кружку холодной воды оттуда, из мира.

В эту самую ночь на какие-то короткие минуты в голове нежданно проступила ясность, будто чистая, сверкающая лазурь высокого неба вдруг выпросталась из плотной заволоки черных неоглядных туч. И нечаянной, мгновенной радостью вспомнилась своя пустынь в Сарове с высокой колоколенкой храма, архимандрит Павел из родного Арзамаса и томное личико той далекой Улиньки в светлом опоясье распущенных им волос… А каменная крепь его узилища зримо проявила широкое парное лицо от словесной натуги, лицо фискала Андрея Ушакова в его сивом затасканном парике.

Слишком многое разом обступило Иоанна, многое овладело им. Он давно приступил к короткому определению затаенной своей мысли, что и сейчас напрашивалась облечься нужными словами. Пугала мысль, пугали, оказывается, уже готовые сказаться слова из заветного заклада. Но будут ли даны ему еще хоть короткие минуты вот такого просветления, хватит ли сил предать огласке обмысленное. Нет, не должно пугаться явленного слова! Раз оно сказано, его уже не удержат никакие внешние

запоры — услыши же мир православный и вонми!

Тогда, в допросной каморе Ушаков лицом своим, вялыми словами, всем своим нутром явно винился не перед немощью представшего перед ним старика, но перед ангельской сутью монаха, правдой его слов. Да случись на тот час даже и сам царь в каморе… И он, поприжав бы гордыню, тож клонил бы свою повинную голову перед служителем Бога… Начал-то Алексей «тишайший», подзабывший, что и он ходит под Всевышним, а уж сынок-то его, Пётр, то и дело попиравший церковь и священство, кровью и огнем довел раскол народа до самого предела… Не знал, а если и знал он, то попирал в себе слова апостола Марка: «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И дом свой разделил первый император, когда сына родного отдал на смерть, когда и духовное единство народа разъял…»

Как тот оглушающий гром далеко-далеко валом катится по поднебесью, так и зло распада души народной ярится долгими годами — прокатится оно разными, все более страшными бедами для России. Церковь по себе, царь — до императоров дожили — по себе, и не едино тело, не едина душа и сила. Чем же будущие венценосцы станете одолевать врагов своих, кои всегда у границ православных. И останется несчастный царь-государь одиноким слабым столпом никакой беды не уймёт, и легко будет повержен врагами… Страшная конечная поруха забеснуется вотчине. Слышите, слышите?!!

Внутренне взволнованный до предела, Иоанн утомился.

Он подумал, сказал или даже прокричал свое — не все ли равно. Послушные еще уста вознесли его мысли, его слова, а как откроет завтра ключник железную дверь камеры умирающа — ринутся они коридорами, другими отпертыми дверьми на волю, а там воспримут крик его души токи воздушные и полнота тревоги монаха найдет души многих умных людей…

Иоанн не успел подивиться, испугаться, ужаснуться своему провидческому прозрению на судьбу дорогого Отечества — храни его, Господи, храни!.. Тот лазурный свет высокого православного неба разом погас и тотчас померкло в старой голове угасающего монаха, и опять наволочь полузабытья объяла его, как цепко, навально держал петровский Санк-Петербург тяжкий мрак этой долгой северной ночи…

Он умирал от истощения.

Уже отказывало сердце.

И настал день, когда Господь сподобил его принять напутствие Святыми Тайнами.

Знакомый священник, все с тем же грустным лицом, согласно

покачал легонькой седой головой. Свершил обряд и успокоил разрешительной молитвой: «Господь Бог Иисус Христос по благости и щедротам своего человеколюбия да простит тебя чадо, Иоанн, все твои грехи, я же, недостойный иерей, Его властью мне данной, прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь»!

Батюшка, свертывая епитрахиль, склонился над притихшим Иоанном и прошептал:

— Передал я твое Серебрякову. Скорбит он душой о тебе.

Остался один. Теперь, умиренным, он окончательно простился с земной жизнью, теперь уже ничто не связывало монаха с ней.

…Он лежал с закрытыми глазами долго, опять не знал ночь или день в столичном граде — ждал последнего для себя и дождался: увидел то давнее, что явилось к нему чудным видением еще до ухода в Введенский монастырь: икона, сама ли Мать Пресвятая Богородица сошла с небес, стоит она на белоснежном облаке, а потом тихо так опускается над ним и зовет к Себе…

И разом кончилась та тяжелая предсмертная тоска души, дух его более не томился, не страдал, куда-то избылось ощущение присутствия сени смертной, плоть затихла, он терял память о ней…

Иоанн вздрогнул, почувствовал, как потеплело у него в усталой груди, но потом наступило странное затмение и, очнувшись после этого, чернец окончательно освободился от бренного тела, весь устремленный в иные пределы.

В его последнее сознание ворвался какой-то яркий неземной свет, и он увидел себя вознесенным на высоченную белую колокольню — колокола мягко отливали чистым золотом и слышался тонкий нарастающий звон этого золота.

Он не узнал колокольни — увидел себя со стороны в белом широком облачении с воскрылиями.

…Захватывающая неземная радость рвалась в зовущую высь голубого неба. Угловые основы верха колокольни куда-то разом поплыли назад и растаяли, теперь теплая ветровая сила подхватила его — не то старца, не то давнего-давнего золотоволосого мальчика с большими светлыми глазами и понесла над изумрудной зеленью приречных лугов, над васильковой лентой родной Теши — он узнал ее! а потом и над темной синью такого знакомого соснового бора, знакомой поляны, родной пустынской церкви… Была ли под ногами какая твердь — он ни ног, ни тверди не чувствовал, взмахнул руками, белые, упругие воскрылья подчинились его взмаху, и захватила

неизреченная радость полета, которого он так ждал когда-то давным-давно еще в босоногом детстве, и видел во сне.

Необъятная, теплая голубизна легко развернулась перед ним и понесла туда, к горним пределам.

Громко, победно звонили вослед золотые купола.

Где-то совсем близко ворковали счастливые голуби…

Кончились земные временные скорби подвижника. Он преставился в жизнь не стареемую для получения венцов и почестей небесных.

Иоанн умер 4 июля 1737 года, ему шел шестьдесят седьмой.

Над бездыханным телом священник сказал:

«Праведницы хотя и муку примут в мире, упование же их бессмертия исполнено; и вмале наказаны бывшие велико облагодетельствованы будут. Потому Бог искушал их и обрел достойных себе, как золото в горниле искусил их и как всеплодие жертвенное приял их».

Первоначальника Саровской пустыни тихо предали земле на погосте ближайшей к Тайной канцелярии церкви Преображения Господня, что в Колтовской слободе. На этом кладбище в то время хоронили государственных преступников.

… Михаила Серебряков дознался, где упокоился его славный земляк, и долго ходил на место скорби, поклонялся праху монаха и раздавал милосердную милостыню на помин раба Божьего Иоанна.

Глава двенадцатая

1.

Веками складывался религиозный и бытовой склад жизни русского народа. Пётр I — во многом выученик Немецкой слободы в Москве, его «Ученая дружина», часть дворянства, преклоняясь перед Западом, начали грубо попирать в России церковный авторитет, обычаи и нравы православных.

Современный духовный писатель пишет:

«Как бы то ни было, весь XVIII век в русской душе шла тяжелая и изнурительная борьба с разорительным воздействием непродуманных петровских „новаций“. Во время „онемеченного“ правления императрицы Анны Иоанновны, например, этот вопрос стоял особенно остро. Проповедник при Елизавете, Амвросий Юшкевич, так вспоминал о том периоде: „На благочестие и веру нашу православную наступали, но таким образом, будто они не веру, но весьма вредительное христианству искореняют. О, сколь многое множество под таким предлогом людей духовных истребити, монахов порасстригли и перемучили! Спроси ж — за что? Больше ответа не услышишь, кроме того: суевер, ханжа, лицемер, ни к чему не годный. Сие же все желали такою хитростию и умыслом, чтобы вовсе в России истребили священство православное и завесть свою новомышленную беспоповщину“».

…Следствие по делу архимандрита Псковско-Печерского монастыря Маркела Родышевского, саровских и берлюковских монахов выявило одно: давно устоявшееся недовольство русских людей разного состояния церковной и светской реформами, наглым иностранным засилием в управлении государства. Надолго затянувшийся процесс, захвативший множество лиц, убил и надломил немало жизней.

Приговор по делу состоялся только 13 декабря 1738 года.

Горькая, тяжкая судьба выпала монахам.

Якова Самгина — иеромонаха Иосию приказано вместо смертной казни, бить кнутом «с вырезанием ноздрей» и навечно сослать на Камчатку, где несчастный страдалец впоследствии и остался навеки.

Григорию Зворыкину — монаху Георгию определили: вместо смертной казни, нещадно бить кнутом, «вырезать ноздри» и

отправить в вечную ссылку в Охотский острог.

Евдокима Короткого — иеромонаха Ефрема, лишили монашеского чина, безжалостно били кнутом и навсегда сослали в Оренбург.

Иеродиакону Боголепу — Борису Степанову в миру, указ определил: лишить монашеского чина, вместо кнута, учинить наказание плетьми и отослать в Военную коллегию для отдачи в солдаты.

Других, причастных к делу, секли плетьми и разослали по дальним монастырям: Никодима в Новгородскую епархию, а Пахомия в Вологодскую.

Ивана Кучина били кнутом и сослали на сибириские железоделательные заводы, Степана Викторова отослали писарем в военную коллегию.

Кабинет-секретаря при Петре I — А. И. Макарова — духовником у него был иеромонах Иосия, которому хотели приписать роль заводителя заговора, пришлось признать невиновным, его, больного, освободили из-под домашнего ареста. В 1740 году он скончался.

В 1743 году Саровский игумен Дорофей подал в Синод на Высочайшее имя прошение о возвращении бывших монахов в пустыни из мест отбывания наказания: иеромонаха Ефрема, иеродиакона Феофилакта, монаха Аарноа и переселившихся прежде — до следствия, в Берлюковскую пустынь иеромонаха Иосию, иеродиакона Боголепа и Иакова.

Синод потребовал от Тайной канцелярии сведений о названных монахах. Канцелярия указала место нахождения саровцев и берлюковцев, известила, что иеросхимонах, первоначальник Саровской пустыни Иоанн, иеродиакон Феофилакт и монах Георгий — Григорий Зворыкин, умерли. На этом поднятое дело заглохло.[80]

7 февраля 1745 года Московская Синодальная контора донесла Синоду, что в контору явились с паспортами Сибирской губернской канцелярии бывшие монахи Берлюковской пустыни Яков Самгин и Иван Кучин. Они просят возвратить им прежние монашеские чины и определить в какую-либо обитель. Явившихся временно поселили в Донском монастыре.

Синодальная контора одновременно обратилась в Тайную канцелярию с запросом: подлинно ли дано прощение наказанным монахам на основании общей амнистии, дарованной императрицей Елизаветой Петровной.

Все еще ведавший Тайной генерал А. И. Ушаков резко ответил, что монахов надлежит воротить на прежние места ссылки навечно, причем отвезти их назад за счет Сибирского

губернатора.

Вернуться из Сибири несчастным уже было не суждено.

…Шестнадцать лет иеромонах Ефрем — Евдоким Коротков, исполнял обязанности дьячка в Орской крепостной церкви. Его освободили только в 1754 году, хотя и до этого саровцы пытались вызволить Ефрема на волю, но власти оставались глухи. Тогда чернецы прибегли к испытанной уловке. Устроили так, что «совершенно случайно» Ефрем нашел большой клад и доброхотно передал его на нужды Орской крепости. Полковник и офицеры догадались спросить дьячка: какую награду хотел бы он? Ефрем, положа руку на сердце, признался: у вас я всем удоволен. Но ежели можете — хлопочите о возвращении меня в Саровскую пустыню, в том же монашеском чине, из которого я был истогнут. Большего желания у меня нет…

Тотчас отправили в Петербург прошение, подписанное всеми офицерами крепости. Скоро в гарнизон пришла ответная бумага с желанной резолюцией, и Ефрем вернулся в «первобытное состояние». Через три года братия избрала его шестым — уже шестым! строителем Саровской пустыни. Прозорливым умом и твердостью характера Ефрем со временем восстановил пошатнувшуюся славу родной обители.[81]

2.

В 1849 году в Сарове побывал духовный писатель А. Н. Муравьев[82]. История обители, трагическая судьба ее первоначальника Иоанна, других монахов, привлекли внимание известного в России литератора.

В северной столице, на Петербургской стороне, в Колтовской слободе Андрей Николаевич разыскал ветхую церковь Преображения, близ стены которой хоронили некогда тех, кто умирал в Тайной.

Могилы Иоанна писатель не нашел.

Муравьев объявил сбор пожертвований на строительство новой церкви. Возведение ее началось только в 1861 году.

Писатель зачастил к священнику храма. Тот открылся:

— Что мне от прежнего здешнева батюшки передано, то и вам сказываю: сидел в крепости Иоанн долго, много молился Господу и нашей Покровительнице… Похоже забыли о нем. Пища была скудна, едва человеку живу быть, но это молодому, здоровому. Что же говорить о старце, коево туги сердца угнетали.

Андрей Николаевич тихо вздохнул.

— Ждали, когда угаснет…

В те поры бироновские — да что говорить!

— Тогда это объясняли так: предать забвению…

— Вот-вот! Передано мне было и то, что долго ходил на могилу арзамасский родом человек, что прижился в Петербурге. После него и забылась тропа к праведнику Иоанну…

Рабочие копали рвы для фундамента церкви. То и дело попадались человеческие кости. Вдруг увидели скелет с ржавыми цепями на ногах. Сохранились длинные седые волосы некогда жившего.

Старый священник, надзиравший за работой, помнивший предания о «лежащих зде», и Муравьев скоро сошлись на том, что это и есть останки Иоанна.

— Видите, кандалы не сняли. С чево бы это? В те времена кандалы были очень нужными…

Андрей Николаевич договаривал:

— Значит, предугадывали: настанет время, будут перестраивать храм, станут копать и откроется…

— Вот так, кандалами и отличили саровского мученика… — догадался священник.

…Засияла новозданной красой церковь Преображения Господня. Мощи Иоанна бережно перенесли в нее, поместили в специальной раке, отслужили панихиду, и православные после долгие годы свято чтили их. Припадали к ним и саровцы новых времен.

Вознесся ввысь голубой купол храма, и российские небеса ласково припали к нему…

Библиография

К житию Иоанна

Порфирий, иеромонах. Житие и подвиги иеросхимонаха Иоанна, основателя и первоначальника Саровской пустыни. Муром, 1892.

Щегольков Николай. Достопримечательный арзамасец XVIII столетия иеромонах Исаакий в схиме Иоанн, настоятель Арзамасского Введенского монастыря, первоначальник и основатель Саровской пустыни и просветитель раскольников. Нижний Новгород, 1902.

Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. Спб., 1868.

Описание Сатисо-Градо-Саровской пустыни. М., 1866.

Описание общежительной Саровской пустыни. М., 1903.

Агапов А., Кожевников В., Подурец А. Настоятели Саровского монастыря. Саровская пустынь, 1991.

Исторический Саров. Москва — Саров, 1993.

Основные издания

Библия.

Башилов Борис. История русского масонства. Вып. III и IV, М., 1992.

Библиотека русского фольклора. Народная проза. М., 1992.

Дебольский Г. С. Православная церковь в ее таинствах, богослужении, обрядах и требах. М., 1994.

Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI–XVII столетиях. М., 1990.

Закон Божий для семьи и школы. Пермь, 1987.

За землю русскую. Памятники литературы древней Руси XI–XV веков. М., 1981.

Иоанн, высокопреосвященнейший, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Русь соборная. Очерки христианской государственности. «Наш современник», 1994, N 11–12.

Иоанн, высокопреосвященнейший, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Будь верен до смерти. (Православие

и современность). М., 1993.

Иконникова А. Царицы и царевны из дома Романовых. М., 1991.

История города Горького. Горький, 1971.

Исторические рассказы и анекдоты. «Русская старина», СПб, 1871, т. 4.

Кириллов И. К. Цветущее состояние Всероссийского государства. М., 1831.

Ключевский В. О. Исторические портреты. М., 1991.

Князьков С. Как начался раскол в русской церкви. СПб., 1911.

Козлов Ю. Ф. Страницы правления государства Российского. Йошкар-Ола, 1990.

Лебедев Лев. Москва патриаршая. М., 1995.

Макарий, архимандрит. История нижегородской иерархии. СПб., 1857.

Мельников П. И. (Андрей Печерский). Сочинения, т.7. СПб., 1909.

Малые жанры русского фольклора. М., 1986.

Мельников А. П. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. Нижний Новгород, 1917.

Мордовцев Д. Л. Сочинения в 2-х томах. М., 1992.

Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским. М., 1990.

Мусатов, иеромонах. Духовные псалмы. Киев, 1912.

Наставление правильно состязаться с раскольниками. М., 1815.

Памятники архитектуры Москвы. Белый город. М., 1989.

Полевой П. История русской литературы в очерках и биографиях. СПб., 1878.

Пространный христианский Катехизис православной кафолические восточные церкви. М., 1912.

Пушкарев С. Г. Обзор русской истории. Ставрополь, 1993.

Пушкарев Л. Н. Духовный мир русского крестьянина по пословицам XVII–XVIII веков. М., 1994.

Псалтырь.

Пыляев М. Н. Старое житье. СПб., 1897.

Романовы. Династия в романах. Анна Иоанновна. М., 1994.

Святая Русь или всенародная история великого Российского государства. IX–XIX вв. М.1994.

Сказание о миссионерских трудах Питирима, архиепископа Нижегородского. М., 1889.

Словарь исторический о русских святых. М., 1990.

Соловьев С. История России. Т. XV. М., 1865.

Требник православной церкви. Нижний Новгород, 1927.

Трехсотлетие дома Романовых (1613–1913). Исторические очерки. М., 1991.

Училище благочестия. СПб., 1891.

Филатов Н. Ф. Арзамас в XVII веке. Арзамас, 2000.

Христианская жизнь по добротолюбию. М., 1991.

Чистякова С. А. История Петра Великого. М., 1994.

Шишко Л. Рассказы из русской истории. М., 1991.

Щегольков Николай. Арзамасский Воскресенский собор. Арзамас, 1909.

Щегольков Николай. Исторические сведения об Арзамасе. Арзамас, 1911

notes

Примечания

1

Величальный «Таусень» записан священником И. Покровским в с. Красное Арзамасского уезда.

2

Чтец — член церковного причта. Кроме чтения из богослужебных книг, до 1869 года должен был следить за чистотой в храме.

З

Обавник — чародей, очарователь.

4

Кармазин — сукно алого или багрового цвета.

5

В старые времена, когда еще почти не существовало духовных учебных заведений, священники избирались прихожанами. Церковная служба познавалась «своим научением». Часто сан священника становился наследственным: батюшка «научал», готовил своего сына. Рукополагал в священники патриарх или митрополит с благословения патриарха.

6

К видениям Иваши. Они — не «литература», не придумка автора повествования. В своем «Сказании» первоначальник Саровской пустыни написал о них сам, как и о других незабываемых для него пророчествах. Автор книги передает видения во сне Иваши с тем убеждением, что чистому отроку была дана способность «прорывать будничный покров жизни»…

7

Особным монастырем назывался тот, в котором монахи имели свое особое жилье, пищу и одежду за собственный счет.

8

Брашно — еда, угощение.

9

Туга — печаль, горе.

10

666 — согласно Апокалипсису — имя зверя, означает антихриста.

11

Антифон(ы) — богослужебные напевы.

12

Здесь и далее летоисчисление даётся по новому гражданскому календарю, который введён в России Петром I с 1700 года от Рождества Христова.

13

Иоанн — благодать Божья. Исаакий — по евр. смех. Поскольку Исаакий в 1715 году при пострижении в схиму снова получил имя Иоанн, то мы и станем впредь называть его Иоанном. Это принято в ряде издании прошлого времени.

14

Оле — междометие, восклицание, выражавшее в то время удивление, скорбь.

15

Руга — деньги или съестные припасы тем церковным принтам, которые не имели земли и не получали платы за требы.

16

Никон — Никита Минов (1605–1681). Шестой патриарх России. Родился в семье крестьянина в селе Вельдеманово Нижегородского края. Рано проявил интерес к духовным знаниям. Был послушником Желтоводского Макарьевского монастыря на Волге, где многому учился, в том числе и строительству, архитектуре. Девять лет служил священником в Москве. Нес послушание и принял монашеский постриг в Анзерском скиту Соловецкого монастыря, а затем пребывал в Кожеозерской обители. После встречи с царем Алексеем Михайловичем умный богослов Никон становится архимандритом Новоспасского монастыря в Москве, а в 1648 году митрополитом Новгородским. С 25 июля 1652 года — патриарх Московский и всея Руси.

Начальная дружба с царем на духовной основе в 1658 году разрывается в связи с тем, что царь Алексей Михайлович начинает нарушать обоюдный договор о единстве власти церкви и государства — царь стал забирать бразды правления и церковными делами. Никон самоустраняется от патриарших дел, но не снимает с себя патриаршего сана. Большой Московский собор 1666–1667 годов осудил Никона, лишил его сана, бывшего патриарха сослали в Белозерский монастырь. Пятнадцать лет отбыл в тяжелой ссылке Никон, и только в 1681 году царь Федор Алексеевич освободил Никона от ссылки и призвал в Москву. Никон хотел вернуться в свой любимый Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, который он так любовно строил. По дороге в Москву, сопровождаемый народом, Никон умер в Кирилловом монастыре. Он был восстановлен в чине патриарха и погребен с соответственными почестями.

Разрыв патриарха Никона с царем Алексеем Михайловичем, другие важные факторы в гражданской и духовной жизни России и обусловили церковный раскол.

17

Патриарх Филарет — годы патриаршества 1619–1631. Родственник Рюриковичей, Ивана Грозного, двоюродный брат царя Федора Иоанновича. Человек высокообразованный для своего времени, государственного ума, любимый народом, мог претендовать после Федора Иоанновича на царский трон. Но пришедший к власти Борис Годунов удалил Романовых в ссылки, Федора Никитича и его жену принудительно постригли в монашество, чтобы оторвать от государственных дел.

После смерти Годунова монах Филарет возведен в сан митрополита Ростовского, а позднее, как его сына Михаила Романова народ избрал на царство, в июне 1619 года после польского плена Филарета избрали патриархом Московским и всея Руси.

18

Иларион. На четвертом году жизни научился читать. В монахи постригся в 1652 году. Строитель Флорищевой пустыни Гороховецкого уезда Владимирской губернии. Святость жизни старца привлекла к нему внимание царя Алексея Михайловича, который дважды побывал на богомолье во Флорищевой.

При царе Федоре Алексеевиче Иларион введен в сан митрополита Суздальского и Юрьевского. Скончался святитель 14 декабря 1707 года.

19

Дондеже — пока, доколе.

20

Позднее, вместо дубового, арзамасцы поставили каменный столб с образами. Место захоронения называлось «У стрельцов». Жители Выездной слободы в Семик служили у столба панихиду по «зде лежащим». Во время крестного хода 28 июля тут совершалась лития — служба вне церкви.

21

Перстный человек — человек, созданный из земли, персти, грязи.

22

Игумен Арзамасского Введенского монастыря Тихон скончался в 1692 году.

23

Братчина — здесь праздник монахов вскладчину.

24

Юфть — кожа, выделанная по русскому способу на чистом дегте, разных окрасов.

Впоследствии в Заволжье, при реке Санохте в Керженских лесах, при содействии Нижегородского епископа Питирима появился монастырь Рождества Богородицы, в который вошли тридцать скитниц старицы Мелании.

Алтын — 3 копейки.

27

Ветка. В 1675 году из Москвы в Новгород — Северскую землю — пришли ревнители «древнего благочестия», священник Кузьма и двадцать его сторонников. Под Стародубом они и основали свой скит. Вскоре окрест появилось 17 слобод числом более пятидесяти тысяч староверов. Московские власти начали преследования. Тогда слобожане и укрылись неподалеку в Польше в урочище, называемом Веткою. Тут старообрядцев насчитывалось до сорока тысяч — это до первой четверти XVIII века. После «двуперстников» разгромило войско Анны Иоанновны.

28

В начале раскола старообрядцы имели достаточно священства, даже архиереев. Но шло время — архиреи скончались, быстро уменьшалось число священников, а «никонские» священнослужители в леса не торопились. Дошло у скитников и до того, что некому стало у них крестить детей, венчать молодых, исповедовать, приобщать Св. Тайн. Вот при таком «оскудении священства» одна часть раскольников объявила себя «беспоповцами», опираясь на старое научение: «сами себя освящайте, сами себе священниками бывайте». Беспоповцы считали, что миром правит уже антихрист, что православие утрачено и нет церкви, нет священства, что для общения с Богом достаточно личной молитвы, прямого обращения к Богу. Для тех, кто признавал священство, начались трудные, бесконечные поиски «правильного» священства.

29

Максим Грек. Подлинное имя Грека по рождении Михаил Триволис. Родился около 1470 года. Умер в начале 1556 года, погребен в Троице-Сергиевой лавре.

Обучался в Париже, монах Доминиканского монастыря во Флоренции. В 1504 году навсегда покидает Италию с ее распущенностью нравов, направляется на Афон, принимает православие. В 1515 году по просьбе царя Василия III приезжает в Москву и занимается сверкой русских богослужебных книг с греческими изданиями. Много писал полемических и обличительных работ в защиту православия. Однако не все в Москве поняли и приняли Максима Грека. Его ссылают сперва в Волоколамский монастырь, последние годы Грек доживает в Троице-Сергиевом монастыре. Современники называли его великим учителем и пророком.

30

Рогозница — постель, подстилка, сплетенная из рогож.

31

Исайя — четвертый митрополит Нижегородский и Алатырский. Управлял епархией 1699–1707. Обвиняли митрополита в потворстве раскольникам и по указу Петра I удалили от управления, отправили в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь, где Исайя и скончался 24 ноября 1720 года.

32

Питирим (1665–1738). Все свои обширные знания, дар искусного полемиста Питирим вложил в книгу «Пращица против вопросов раскольнических», в которой дал убедительные ответы на 240 вопросов заволжских старообрядцев.

С 1719 года, будучи епископом Нижегородским, прибегал уже и к крутым мерам против раскольников, поскольку Пётр I издал указ, угрожающий смертной казнью всем, кто противится возвращению в лоно православной церкви.

Член Святейшего Синода.

Позже, в 1752 году, над источником построена церковь Иоанна Предтечи. В 1822–1824 годах на ее месте поднялся каменный великолепный храм, который предположительно проектировал арзамасский уроженец, известный поволжский архитектор, профессор Казанского университета Михаил Петрович Коринфский (1781–1851). Умер в Казани.

34

Абие — вдруг, тотчас, внезапно.

35

«Долгий ящик» — появился в Москве при царе Алексее Михайловиче для отпуска в него личных челобитий царю. Рассмотрение бесконечных просьб, жалоб обычно затягивалось, отсюда и появилась известная поговорка.

36

Быстрое закрепление земли в районе Старого Городища за князем Иларионом Кугушевым в Казанском приказе было обусловлено уже тем, что Кугушевы являлись потомками татарского князя Бехана (Бихана), владевшего городом Сараклыч, который разрушен рязанской ратью в 1365 году.

37

Антиминс — заменяет престол. Освященный плат с частицами св. мощей, на котором можно совершать богослужения. На антиминсе изображается положение Христа во гроб. Выдается антиминс при освящении новой церкви. Начально изготовлялись из льна, позднее из шелка размером 6–7 вершков. Антиминсы бывают подвижные и неподвижные. Подвижные находятся в церквах не постоянных «для свершения служб на всяком месте», неподвижные находятся во всех церквах. Новые полагаются при освящении храма, при осквернении церкви, ветхие заменяются новыми.

38

Феофан Прокопович (1681–1736). Закончил Киево-Могилянскую академию, уехал в Рим, перешел в католичество, обучался в иезуитской коллегии.

В 1704 году Пётр I пригласил Прокоповича в Петербург, в 1718 году поставил его епископом Псковским, позднее Феофан стал архиепископом Новгородским и вице-президентом Святейшего Синода.

Главный советник царя в духовном управлении Прокопович — бывший униат, почитатель философов-атеистов, в 1721 году подготовил «Духовный регламент», который ломал судьбу православной церкви. В произнесенной в Успенском соборе проповеди Феофан открыто заявил, что главой православной церкви является не Христос, а царь.

Прокопович с неприятием относился к народному пониманию религии, к обрядности русской православной церкви. Современники Феофана — протестанты — считали «Духовный регламент» как свою победу над православием. Пётр I всячески поддерживал своего ретивого помощника.

Против правой руки царя выступили все видные русские иерархи. После смерти Петра I подвижники православия открыто обвинили Прокоповича в еретизме, и в 1726 году дело его слушалось в Тайной канцелярии, но ловкий интриган с помощью немецких протестантов «выкрутился», а при императрице Анне Иоанновне, которая была плотно окружена «немецкой партией», вновь поднялся до первых советников императрицы в духовных делах и силой ее указов стал жестоко расправляться с православными иерархами, священством и монашеством.

39

Суторщина — вздор, глупость.

40

Цата — в русской древности медаль на золотой или серебряной цепочке. Позднее — мелкие деньги.

41

Сором — срам.

42

Тафта — гладкая, тонкая восточная ткань из камки.

43

Киндяк — привозная хлопчатобумажная ткань.

44

Стефан Яворский (в миру Симеон) (1658–1722). Закончил Киево-Могилянскую академию. Чтобы получить высшее католическое образование, перешел в католичество и учился во Львове, Люблине, Познани, Вильно. В 1687 году возвратился в Киев, отрешился от католичества, вернулся в православие, стал монахом.

Высокую ученость Стефана заметил Пётр I и пригласил в Москву. Яворский стал митрополитом Рязанским и Муромским, а после смерти последнего патриарха Адриана в 1700 году назначен местоблюстителем патриаршего престола. В этой должности Стефан и содействовал появлению Саровской обители.

Поначалу митрополит поддерживал церковную реформу Петра I, но вскоре оказался ее стойким противником.

Духовный писатель явил православному читателю работы: «Знамение пришествия антихриста», «Слово о хождении заповедей Господних», «Ответ Феофану Прокоповичу на слово об иге неудобоносимом», «Ответ Сорбонской академии о соединении церквей» и др. В своей проповеди 12 марта 1713 года в день именин царевича Алексея Петровича Яворский резко осудил реформу церковного управления на «протестантский манер».

В 1718 году появился трактат «Камень веры», который поднимал православную веру, доказывал ее верховенство над светской властью, «обличал западную культуру и протестантизм, угрожающий православной вере».

Царь не позволил издать книгу Стефана, попытался еще раз привлечь авторитетного церковного деятеля на свою сторону. В 1721 году он поставил его президентом Синода, хотя главную-то роль в нем отвел своим подручным Ф. Яновичу и Ф. Прокоповичу. Митрополит по-прежнему остался верен себе, православию. Он не принимал участия в заседаниях Синода и не подписывал его документов.

45

«На Верху» — в царских палатах.

46

Облам — бруствер, прикрытие на крепостных стенах высотой примерно по грудь человека, в котором просекались бойницы.

47

В 1635 году царь Михаил Федорович пожаловал подгороднюю Арзамасскую Выездную казачью слободу в вотчину боярину Борису Михайловичу Салтыкову за его «многую свою службу и правду» Московскому государству в Смутное время.

48

Тать — вор, разбойник.

49

Кат — палач.

50

Тарасы — деревянные срубы, забитые землей, камнями. Из них и составлялась крепостная стена.

51

Церковная политика Петра I еще при жизни императора и до сих пор подвергается обоснованной критике ученых гражданской и церковной истории.

25 января 1721 года царь подписал «Духовный регламент», составленный Феофаном Прокоповичем, напитанный протестантскими идеями, как сочло православное священство. Прокопович высмеивал русское благочестие, открыто считал, что Германия — это «духовная мать всех стран».

Когда в России опубликовали «Духовный регламент», то один из зарубежных авторов писал о русском царе: «Мы не ошибемся, если скажем, что Его Величество представлял себе истинную религию в виде лютеранской, что по примеру протестантских князей царь объявил себя самого верховным епископом всей страны».

Историк Л. Тихомиров писал в свое время, что «Духовный регламент» поставил русскую церковь в «Вавилонское пленение», это величайший акт абсолютистского произвола.

Профессор Зазыкин говорил, что Петру I «был противен сам институт патриаршества, как символ других основ жизни…» Царь перечеркнул национальную традицию, которая длилась семьсот лет, то есть разъединил прежнее единение двух сил — государственной и церковной власти.

Видный историк нашей церкви Е. Голубинский определил церковную политику Петра I «государственным еретичеством».

Перечислим некоторые «запрещения» царя на то, что бытовало в России до него.

Заставлял строить храмы не с куполами, а с острыми шпилями, как на Западе — купол в православии имеет важное, святое значение в храмостроительстве. Приказывал звонить по-новому. Писать иконы не на досках, как это делалось издревле, а на холсте. Настаивал на уничтожении часовен. Указывал «мощей не являть и чудес не выдумывать». Запрещал жечь свечи перед иконами вне церквей. Нищих велел ловить и бить батожьем, и отправлять на каторгу (эти деяния помним по истории «цивилизованной» Европы). Царь строго стоял на том, чтобы священники доносили в Преображенский приказ тайну исповеди, когда исповедуемый мог сказать что-либо нелестное о царе. Запрещалось посвящать храмы святым иконам. А по приходе в чей-либо дом, противу древнего обычая, должно было начально кланяться не святым иконам, а хозяину. Опале подвергся образ святого чудотворца Николая: являть его в доме запрещалось. И

т. д.

Монастыри царь называл «гангреной государства». Пётр I видел, что протестантство обходится без черного духовенства, и потому хотел покончить с монашеством. Указ от 26 января 1723 года запрещал «отныне впредь никого не постригать», а на убылые места определять отставных солдат. Разрешение на постриг в монашество мог дать только император…

Все эти и другие крутые меры Петра I привели к тому, что Синод в 1740 году, когда уже можно было говорить о погроме церкви, докладывал: «Много монастырей без монахов, церкви монастырские без служб, некого определить к службам».

В 1700 году скончался последний десятый патриарх Адриан. В 1721 году духовное управление от местоблюстителя патриаршего престола перешло к правительствующему Синоду в составе президента, двух вице-президентов, четырех советников и четырех асессоров. К Синоду был приставлен обер-прокурор, которому подчинялись прокуроры духовных приказов и духовные фискалы или инквизиторы, разосланные для надзора за управлением по городам и монастырям. В Нижегородской губернии последних насчитывалось семеро.

Писатель-историк М. П. Семевский писал в прошлом веке с многозначительной иронией: «Допетровская Русь (якобы) грубая и невежественная не взрастила у себя шпионов, не созрела до необходимости благодетельного учреждения фискалов».

Так вот попиралось монашество — цвет русского православия!

При Анне Иоанновне православие так и этак продолжали разрушать. Полемику против протестантства, объявление его ересью выдавали за государственное преступление. И опять появились запреты. Нельзя было появляться на улице с образами и святой водой, запретили крестные ходы, за рассказы о чудесах назначалось телесное наказание, вырывание ноздрей и ссылка на галеры.

Именно в это время был напечатан и первый Катехизис, провозгласивший культ «простого человека» — всечеловека без имени и национальности, государственной принадлежности и исповедывающий «естественную религию». Так-то!

Сторонники восстановления Патриаршества: Коломенский архирей Игнатий, Воронежский архирей Лев, Ростовский Георгий оказываются в опале.

Авраамова, подавшего Анне Иоанновне проект восстановления Патриаршества, переводят в Охотск, Харьковского архимандрита Платона Малиновского ссылают тоже в Сибирь, в Тайной канцелярии томятся непреклонные защитники

православия архирей Маркел (Родышевский) Ретилов, Маський, Чудовский архимандрит Ефимий, Черниговский архирей Иларион, Псковский — Варлаам, Новгородский Досифей.

Так после и вышло. Арзамасцы с благодарностью вспоминали своего гражданина более двухсот лет. Имя Ивана Масленкова попало на страницы истории города. Сказал о нем и Иоанн: «В разуме зело искусен и по премногу рассудителен и во всем полезен, паче же в делах духовных».

Уместно тут сказать и о другом Масленкове — Матвее, который после указа Екатерины II в 1767 г. о вынесении кладбищ за черту городов «своим иждивением» построил на новом Тихвинском кладбище Арзамаса две церкви. В Арзамасском зимнем Воскресенском соборе находится икона прекрасного письма (очевидно, написана живописцами Понетаевской женской обители) с изображением евангелиста Матвея, она, как гласит надпись, «написана в память» Матвея Степановича Масленкова. В явлении этой иконы, полагаем, принял деятельное участие историк города Н. М. Щегольков.

53

Саровский, как и все русские монастыри, отличался странноприимной любовью. Особенно в голодные и бедовые годы для отчей земли. Так, в 1775 году, когда голод мучил целые края — семь месяцев подряд обитель кормила тысячи голодающих. Но вот в житницах обители стало сильно пустеть, и братия посоветовала строителю Ефрему прекратить кормление приходящих. Ефрем возразил: «Лучше умереть вместе с народом, а не пережить народ», — заявил он. В 1830 и 1833 годах, когда к голоду добавилась эпидемия холеры, — каждый день в Саровской пустыни питалось по пятьсот и более человек.

54

Народная молва о явлении антихриста и конце света подготовлялась давно в ходе церковного раскола. Много добавила к суждению народа книга местоблюстителя патриаршего престола Стефана (Яворского), Рязанского митрополита, «Знамение пришествия антихристова и кончины века», она вышла в свет еще в 1703 году и выдержала несколько изданий.

«Зверь, вышедший из бездны», — решил народ. Писатель Галицкий за то, что назвал Петра I антихристом, был копчен на медленном огне над костром.

55

Получить разрешение на открытие нового монастыря в царствование Петра I было трудно. Саровский открылся, надо полагать, благодаря протекции царицы Прасковьи — жены царя Ивана Алексеевича, брата Петра I. Она была очень набожной женщиной, на нее большое влияние в этом, среди прочих, оказывал известный московский юродивый и провидец Тимофей Архипович, который еще в 1694 году провидел появление монашеской обители в саровских дебрях. Тимофей Архипович — он же Тимолай, поставил там часовню и водрузил крест, а через год прислал будущему первоначальнику Саровской пустыни Иоанну икону Иоанна Предтечи.

И позже, в 1730 году, когда Иоанн хлопотал в Москве и Петербурге о передаче новоявленному монастырю купленой и дареной земли — более 20 тысяч десятин, то и в этом случае сказалась память царицы Анны Иоанновны о своей родительнице Прасковье, которая столь радела о Саровском монастыре.

Стратемон В. «Феатрон, или позор исторический с описанием повсюдной истории». В переводе Г. Бужинского книга была издана по распоряжению Петра I в 1724 году.

57

Приводим это единственное, пожалуй, письмо Иоанна к духовному брату потому, что оно вполне раскрывает высокий нравственный мир игумена. Написанное простым бытовым словом, оно показывает и яркую выразительность языка первоначальника Саровской пустыни.

Синод по отбытию в Петербург в 1732 году оставил в Москве свою контору и канцелярию. Также и Тайная канцелярия, созданная вместо петровского Преображенского приказа, в 1731 году имела в Москве свое отделение.

59

Производное от выражения: «Не скажешь подлинной, так скажешь подноготную». В средневековой Руси, случалось, применяли пытку — вбивали деревянные, а то и железные гвозди под ногти. В XVIII веке эта пытка уже не практиковалась, но поговорка все еще жила.

Современные исследователи дела саровских и берлюковских монахов, говоря о россказнях Георгия — Григория Зворыкина, пишут: «…в этом случае есть место для версий и предположений. Вместе с иностранцами в Россию начали проникать тайные общества типа „вольных каменщиков“. Может быть, образованный Зворыкин из дворянского рода вступил в одну из масонских лож и ему пришлось отрекаться от Иисуса Христа в пользу Люцифера. В то время масонские ложи только начинали официально образовываться в России».

61

«Слово и дело!» — фраза, за которой следовал арест того, на кого показывал доносчик, фискал. Во времена Петра I за оскорбление «царского достоинства» или за нелестный отзыв о его деятельности следовала смертная кара. Наказание неотвратимо падало и на того, кто знал виновного и вовремя не доносил на него. «Слово и дело» оставалось в силе и во времена Анны Иоанновны.

62

Феофилакт (Лопатинский). Архиепископ Тверской и Кашинский.

В 1728 году, уже после смерти Петра I, возможному кандидату в патриархи — Феофилакту, человеку ученому, поручили издать книгу Стефана Яворского «Камень веры». Книга затем выходила в 1729 и в 1730 годах.

Против издания резко выступили протестанты зарубежья и те, что жили в России. «Немецкая партия» при Анне Иоанновне запретила книгу Яворского, а Феофилакта пытали на дыбе и заточили в замок Герман в Выборге.

После смерти Анны Иоанновны Елизавета Петровна сняла со страдальца железы и спросила: «Узнал ли ты меня?» «Ты — искра Петра Великого», — отвечал старец. Замученный пыткой, разбитый параличом, он вскоре после декабря 1740 года умер.

Феофилакт — автор полемических работ «Апокризис и возражения на письмо Буддея» и «О лютеранской и кальвинской ереси» и др.

Маркел (Родышевский), Псковский митрополит.

Начально разделял взгляды западника Феофана Прокоповича, но после резко отмежевался от него и написал разоблачительную книгу «Житие Новгородского архиепископа Феофана Прокоповича» (1731), которая раскрывала не только протестантские взгляды Прокоповича, но и неблагочестивую личную жизнь Феофана. Родышевский — автор и рукописной книги «О монашестве», которая имела большое хождение в церковных кругах России.

Прокопович донес на Маркела в Тайную канцелярию, и на сторонника православия обрушилось суровое наказание. Книга была строжайше запрещена, автор же сослан в Кирилло-Белозерский монастырь.

64

Ушаков А. И. (1672–1747). В 1714 году Пётр I возвел его в тайные фискалы. В 1730 году — сенатор. Граф (1744).

65

Одно время, после смерти Петра I, русское священство готово было избрать Варлаама патриархом.

66

Доподлинные слова Сильвестра в передаче Григория Зворыкина. Надо думать, монах вспомнил крестьянскую войну под предводительством С. Т. Разина.

67

Дыба или виска запрещена в России Александром I указом против пыток от 27 сентября 1801 года.

68

Граф Франциск Санти руководил разработкой гербов для губернских и уездных городов России. Участвовал в заговоре против коронации Петра Алексеевича (Петра II) на русский престол. А. Д. Меньшиков сослал Санти в Сибирь, оттуда он вернулся в 1742 году.

69

Один иностранец в 1718 году по дороге в Петербург через какое-то село — увидел толпу человек в триста. Поп, которого он спросил, что здесь происходит, отвечал ему: «Наши отцы и братья лишены бород, алтари наши — служителей, самые святые законы нарушены, мы стонем под игом иноземцев».

Не случайно эта «головка» «немецкой партии»: Остерман, Миних, Левенвольд, Бирон, Шемберг и другие при Елизавете Петровне — была предана суду за государственные преступления.

71

В первые дни царствования Анна Иоанновна полнилась самыми благими намерениями. Через месяц она издала указ о запрещении принимать всяческие доносы. Но не прошло и года, как добрый указ оказался забытым, и появилась Канцелярия тайных розыскных дел, с лихвой заменившая прежний страшный Преображенский приказ времен Петра I.

72

После смерти юного императора Петра II (1727–1730) «верховники» обсуждали, кого же избрать на царский престол. Были отринуты первая жена Петра I, долго прожившая в монастыре Евдокия Лопухина, освобожденная внуком, а также и его дочь от второго брака с Мартой Скавронской — дочери простого лифляндца Самуила Скавронского — Елизавета по причине ее «подлородной» матери — ливонской прачки. Выбор пал тогда на Анну Иоанновну — дочь брата Петра I — Ивана Алексеевича.

С. А. Салтыков высказал горькую правду. Вот последний пример его словам: Анна Иоанновна скончалась 17 октября 1740 года. В конце июня этого года она подписала смертный приговор Артемию Петровичу Волынскому и другим патриотам: Еропкину и Хрущеву. Процесс был спровоцирован «немецкой партией».

Правеж — взыскание долга с наказанием.

75

При Петре I собирались самые различные поборы. Народ платил сборы: корабельный, драгунский, уздечный, седельный… Брали за погреба, бани, дубовые гробы, топоры, за бороды… Историк Ключевский писал: «Шесть месяцев в году деревни и села жили в паническом ужасе от вооруженных сборщиков… среди взысканий и экзекуций».

Ко времени вступления на престол Анны Иоанновны в Государственной казне числилось недоимок около семи миллионов рублей. Учредили особый доимочный приказ, который попал в ведение Бирона. Поступления шли в особую секретную казну, которая опять же попадала в руки Бирона. Недоимки выколачивались строго. Брали под арест воевод, команды солдат забирали и продавали имущество должников, а как нечем было платить — били, секли, заковывали в кандалы. Звон цепей, барабанный бой и палочные удары слышались по всей России.

…Здесь автор напоминает читателю книгу: Кириллов И. К. «Цветущее состояние Всероссийского государства», изданную в Москве в 1831 году. Книга дает статистику экономического характера отдельных губерний петровского времени.

Падение Казанского и Астраханского ханств, начало освоения бескрайней Сибири при Иване Грозном окончательно подвели Россию к осознанию собственной силы, своего важного геополитического положения в тогдашнем мире. Православные народы Востока и Запада увидели в русских своего потенциального защитника.

Государственные умы, иерархи церкви вынашивали еще смутную, но грандиозную идею превратить Русь в «рай насажденный», который тогда связывался с Палестиной, Иерусалимом — местами евангельской проповеди Христа. Эти глубокие провидческие мысли находят свое наглядное выражение в практике церковного строительства. Так поднялся на Красной площади в Москве прекрасный Покровский собор (Василия Блаженного), в котором один из приделов посвящен Входу Господню в Иерусалим.

Дальше пошел патриарх Никон — умнейший человек своего времени. Он обдумывает и начинает строить не «по образу и подобию», как это было принято в средневековье, а воздвигает копию иерусалимской святыни. Великий замысел поддержал иерусалимский православный патриарх Паисий — он преподнес Никону кипарисовую копию храма Гроба Господня. Подарок был сделан с благой, далеко идущей мыслью: направить русских на освобождение Константинополя от турок.

Но царь Алексей Михайлович не торопился на войну, а Никон, хорошо зная основы строительного дела, стал энергично созидать Новоиерусалимский монастырь под Москвой у реки Истры. Для осуществления этого плана создания на русской земле центра Вселенского православия, патриарх послал в Палестину ученого монаха Троице-Сергиева монастыря Арсения Суханова для точного обмера храмов-святынь.

Собор Нового Иерусалима на Истре, высотой в 61 метр — вдвое выше оригинала в Палестине, вызвал неприятие у зарубежных православных иерархов, и это вскоре обернулось с их стороны гневными нападками на Никона и в конечном итоге, вместе с другими обвинениями, предопределило на Московском соборе 1666–1667 г.г. несправедливое лишение Никона патриаршего сана и ссылку его в Белозерские монастыри.

77

Зерцало — трехгранная пирамида — «стояло», с орлом наверху и тремя указами Петра I, на столе всякого присутственного места того времени.

78

Феофан Прокопович умер в своем доме на Карповке в Петербурге на 55-м году жизни 8 сентября 1736 года. Умирая в памяти, он коснулся лба указательным пальцем и произнес: «О, глава, глава! Разумом упившись, куда себя приклонишь?»

Будучи на смертном одре, православный епископ все еще не знал, к кому «приклониться». Истинно православный твердо помнит о Спасителе…

79

В России три года подряд был неурожай, возможно, потому и сокращали узникам тюрем кормовые деньги.

80

В 1741 году манифест императрицы Елизаветы Петровны вернул из мест заключения и ссылок тысячи тех, кто был репрессирован при Анне Иоанновне. Снято было обвинение и с Георгия — в миру Григория Зворыкина. Есть предположение современного историка, что он в своем прежнем монашеском чине вернулся-таки в Саровскую пустынь.

81

Ефрем — Евдоким Андреевич Коротков (1694–1778). Шестой настоятель Саровской пустыни. Вернувшись из ссылки в 1775 году вернул монашествующих в рамки той благочестивой жизни, которую заповедал в своем уставе первоначальник Иоанн. При Ефреме в пустыни выстроен великолепный Успенский собор (1770–1777). Ефрем оставил о себе светлую память у саровской братии и у всех, кто знал его. Не случайно в монастыре на портрете Ефрема была начертана такая надпись:

«*Не Сирин ты, но русский ты Ефрем,*
Саровской пустыни броня еси и шлем».

82

Муравьев А. Н. (1806–1874). Видный русский духовный писатель, мемуарист, автор многих книг церковной тематики. Некоторые книги Андрея Николаевича переиздавались по нескольку раз, переводились на европейские языки. Книгой «Путешествие по святым местам России» (1832) восхищался А. С. Пушкин, написавший: «С умилением и невольной завистью прочли мы книгу…» Лестно отзывался о писателе Н. С. Лесков, свои стихи А. Н. Муравьеву посвятили Ф. И. Тютчев и А. Н. Апухтин.